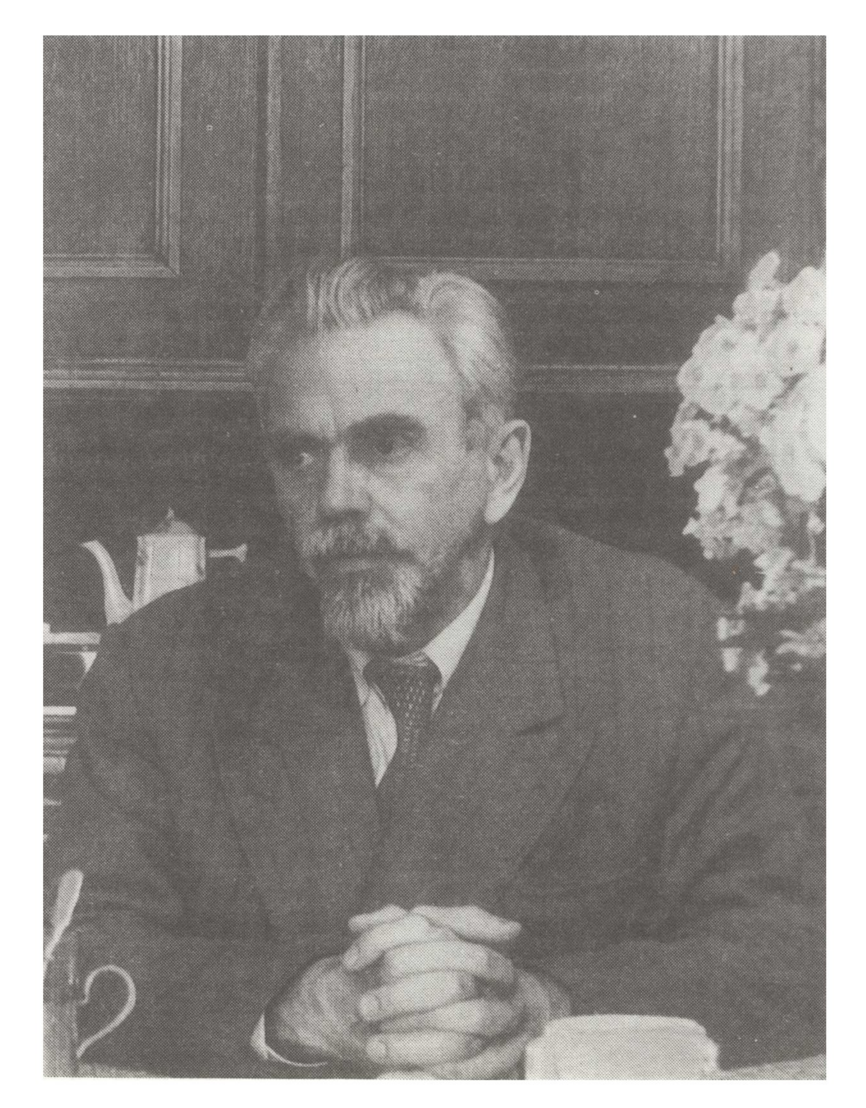
Б. А. Васильев



ДУХОВНЫЙ ПУТЬ ПУШКИНА

Москва
1994

КАТАКОМБЫ XX ВЕКА




Б.А.ВАСИЛЬЕВ
ДУХОВНЫЙ
ПУТЬ
ПУШКИНА
Sam & Sam
МОСКВА
1994

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЯ II

Издание осуществлено благодаря финансовой поддержке администрации зоны экономического благоприятствования (Ингушетия)

Васильев Б.А.
Духовный путь Пушкина. — (Катакомбы XX века). — М.: Sam & Sam, 1995. — 360 с.

Книга православного катакомбного священника, ученого-этнографа, историка и антрополога Бориса Александровича Васильева (1899-1976) открывает серию «Катакомбы XX века». В этой серии мы намерены ознакомить широкую читательскую аудиторию с творчеством российских христиан, сумевших в годы жестоких сталинских гонений сохранить не только веру и культуру, но и передать эстафету следующему поколению, воспитывая его в духе христианской любви. В книге Б.А.Васильева впервые на огромном биографическом и поэтическом материале прослеживается духовная эволюция великого русского поэта. Книга написана ясно и доступно, свободна от тенденциозности и предназначена как знатокам и исследователям творчества Пушкина, так и всем, интересующимся проблемами русской культуры.

ISBN 5-7248-0029-2

ВВЕДЕНИЕ

Взяться за перо меня побуждает долг русского человека перед памятью Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин был не только гениальным поэтом. Прежде всего он был выдающимся, благородным человеком. Сильный, глубокий ум, обширная память, блестящая образованность и одаренность в области *научных* (в особенности исторических) исследований характерны для Пушкина не менее, чем его поэтический гений.

Душа человека раскрывается *во времени*. Для того чтобы войти в богатство внутренней жизни поэта, необходимо следовать хронологическому порядку его биографии. Рассматривая этапы развития пушкинского мировоззрения начиная с юношеских лет, мы убедимся в том, что Пушкин постепенно пришел не только к признанию положительного значения христианства для культуры европейских народов, но и к живой личной вере во Христа. Свидетельство этому — собственные поэтические признания Пушкина, которые звучат особенно громко и убедительно, если читать его сочинения в хронологическом порядке. При этом надо взвешивать отдельные факты его жизни и творчества в свете конечной цели, к которой стремился его дух. Так кристаллизуется образ, или лучше — лик, открывшийся близким друзьям поэта на его смертном одре.

Конечно, далеко не для всех эта конечная цель была ясна. Вспомним, например, записку, полученную Пушкиным

перед смертью от Николая I: «Любезный друг, Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение»*.

Ясно, что сомнение в том, что Пушкин умрет христианином, появлялось у многих. Ведь такой совет многозначителен.

Итак, наша задача — попытаться выяснить, каков был духовный путь величайшего русского поэта на самом деле и к чему он привел.

---

* Цит. по кн.: Данзас К. К. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Пб. 1863. С.31.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

МУЗА

В младенчестве моем она меня любила...
А. С. Пушкин

Тайны своей духовной жизни в пору младенчества и отрочества открыл нам сам Пушкин в своих стихах. Его первые глубокие поэтические и религиозные переживания связаны с бабушкой Марией Алексеевной Ганнибал [1]. Мальчик называл ее «мамушкой» и был к ней привязан сильней, чем к родной матери. В стихотворении «Сон», написанном в Лицее в 1816 г., Пушкин говорил:

Забуду ли то время золотое,
Забуду ли блаженный неги час,
Когда, в углу под вечер притаясь,
Я призывал и ждал тебя в покое...
Я сам не рад болтливости своей,
Но детских лет люблю воспоминанье.
Ах! умолчу ль о *мамушке* * моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов *молитвой* уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шопотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног ни головы.

---

* Здесь и далее текст, набранный курсивом, выделен Васильевым. Текст, выделенный Пушкиным, набран вразрядку. — Изд.

Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец
. . . . и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало [2].

Итак, в памяти юноши Пушкина осталась усердная вечерняя молитва бабушки, крестное знамение, которым она его осеняла в кроватке перед сном, икона с засвеченной перед ней лампадой в святом углу. Эти религиозные впечатления детства тесно переплетались с поэтическим образом бабушки, замечательной женщины, владевшей прекрасной русской речью и хорошо знавшей русские народные сказки. Бабушке Пушкин был обязан радостью и счастьем детства.

Две-три весны, младенцем, может быть,
Я счастлив был, не понимая счастья;
Они прошли, но можно ль их забыть? [3]

Любовь к бабушке ребенок перенес и на село Захарово под Москвой, которое принадлежало Марии Алексеевне. Даже в зрелом возрасте Пушкина тянуло в Захарово: он провел в нем несколько дней пред женитьбой.

Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено [4].

Вероятнее всего, именно образ бабушки Марии Алексеевны стоял в 1822 г. перед мысленным взором Пушкина, когда он писал стихотворение «Наперсница волшебной старины». В нем говорится о первом посещении поэта музой еще в детстве:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой,
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила [5].

Не меньшее влияние на формирование личности поэта имела его няня Арина Родионовна. Это была русская женщина с твердыми религиозными устоями, добрым сердцем и незаурядной поэтической одаренностью. Она оказывала нравственное влияние на Пушкина не только в детстве, но и в пору расцвета его гения, в годы михайловской ссылки.

Бывало,
Ее простые речи и советы
И полные любови *укоризны*
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой... [6]

Так поминал Пушкин няню после ее смерти в 1835 г., отдавая поэтическую дань любви к ней. Содержание и смысл няниных советов становятся понятны в живом контексте пушкинских черновых вариантов стихотворения «Вновь я посетил тот уголок земли». В них Пушкин открывает нам тайные чувства и думы, волновавшие его в годы михайловской ссылки.

Здесь, погруженный в . . . .
Я размышлял о *грустных заблужденьях,*
Об испытаньях юности моей,
О строгом заслуженном осужденьи,
О мнимой дружбе, сердце уязвившей
Мне горькою и ветреной обидой.

В другом варианте того же стихотворения:

Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная младость,
И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть и грезы мести бледной [7].

Многое из пережитого было открыто Пушкиным няне: на многое она откликнулась с любовью, а иногда с укоризной. Кроме автобиографических стихов [8], при жизни Пушкина не печатавшихся, о характере его отношений с няней мы

узнаем из ее собственных писем к нему: «Любезный мой друг, Александр Сергеевич, я получила ваше письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем сердцем благодарна, вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только, когда засну, то забуду вас и ваши милости ко мне... Ваше обещание побывать к нам летом меня очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю... Прощайте, мой батюшка, Александр Сергеевич. *За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится.* Я, слава Богу, здорова, целую ваши ручки, и остаюсь вас многолюбящая няня ваша Арина Родионовна.

Тригорское. Марта 6. 1827 г.» [9].

Арина Родионовна имела не меньшее, чем бабушка, влияние на *направление* поэтического творчества Пушкина. Не только от бабушки, но и от няни Пушкин узнал, а позднее и записал многие народные песни и сказки [10]. Вспоминая любимую няню, Пушкин, посетив в 1835 г. Михайловское, писал:

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.
И вечером при завываньи бури
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет, но всё приятных сердцу... [11]

Мальчик подрастал. Влиянию бабушки и няни противостояли книги из библиотеки отца — Сергея Львовича. С детских лет эти книги воспринимались Пушкиным как живые люди. С одними он дружил, с другими спорил, иными безгранично восхищался. По количеству прочитанных книг юный Пушкин наверное далеко опередил всех своих сверстников по Лицею. Но влияние прочитанных авторов не всегда было полезно. Мальчику открылся мир мыслей и чувств, весьма далекий от того, с которым его познакомили няня и бабушка. Ему открылся мир античного политеизма и античной мифологии. Он познакомился со скепсисом

Вольтера и его насмешкой над всем святым для человеческого сердца. Детская душа погрузилась в ранее неведомые ей эротические чувства при чтении таких французских авторов XVIII в., как Парни, Вержье, Грекур. Познакомился он (в доме ли отца, в Лицее ли?) и с творениями русского писателя-порнографа XVIII в. И. С. Баркова. Направить чтение мальчика было некому. Эротика и легкомыслие были благосклонно приняты в семье отца и дяди Василия Львовича. Эротическая поэзия Батюшкова, Вольтера и Парни оказала сильное влияние на миросозерцание Пушкина лицейских лет, на ту его музу, которую он называл «вакхической» то есть угодной Вакху.

Наряду с этими авторами Пушкин уже с отроческих лет понимал и любил классиков — античных, французских и русских XVIII в. Дмитриева и Жуковского он видел и слышал в доме отца, перед Державиным и Карамзиным благоговел. Мольера, Расина, Лафонтена и других французских авторов он читал в подлиннике, греческих и римских с детства знал по французским переводам.

Пушкину дано было чувствовать красоту слова еще в младенческие годы:

Я лирных звуков наслажденья
Младенцем чувствовать умел... —

признался он по окончании Лицея своему ближайшему другу Дельвигу. Муза стала посещать Пушкина уже с первых месяцев его лицейской жизни. Вспоминая в 1830 г. в Болдине свое отрочество, он писал:

В те дни — *во мгле дубравных сводов*
Близ вод, текущих в тишине,
В углах лицейских переходов
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья,
Доселе чуждая веселья,
Вдруг озарилась — *муза в ней*
Открыла пир своих затей... [12]

Какова же была эта муза и какими были отношения поэта с ней? Об этом Пушкин нам поведал следующее:

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила.
. . . .
С утра до вечера *в немой тиши дубов*
Прилежно я внимал урокам *девы тайной,*
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен *божественным дыханьем*
И сердце наполнял святым очарованьем [13].

В самом раннем стихотворении, в котором Пушкин говорит о своей музе, в пьесе 1815 г. «Мечтатель», он рисует ее теми же нежными чертами:

На слабом утре дней златых
  Певца ты осенила,
Венком из миртов молодых
  Чело его покрыла,
И, горним светом озарясь,
  Влетела в скромну келью
И чуть дышала, преклонясь
  Над *детской колыбелью* [14].

Появление этой девственной богини — музы подобно ангелу; она является отроку в озарении горнего (небесного) *света*, она наклоняется над детской колыбелью и осеняет его венком из миртов. Образ музы Пушкин свято хранил в своем сердце. После окончания Лицея, во время тяжелой болезни, она опять явилась поэту в образе «нежной девы» но теперь в «одежде ратной» (возможно, впечатление событий 1812 г.).

Ты ль, дева нежная, стояла надо мной
В одежде воина с неловкостью приятной?
Так, видел я тебя; мой тусклый взор узнал
Знакомые красы под сей *одеждой ратной:*
. . . .
Под грозным кивером твои *небесны очи,*
  И плащ, и пояс боевой,
И бранной обувью украшенные ноги [15].

То была, по-видимому, Афина Паллада. Глаза ее были полны слез, грудь тяжело дышала.

Казалось, тяжкая тоска приподнимала
Накинутый на перси доломан [16].

Эта муза в ратной одежде, в образе покровительницы республики древних эллинов Афины — девственницы с *небесными глазами* была исполнена жалости к «страдальцу чувственной любви» [17] и *плакала* [18]...

Итак, по свидетельству Пушкина, явление музы с лицейских лет (с 1815 г.) озаряло его келью *горним светом.* В 1819 г. он называет себя учеником, «школьником неприлежным парнасских девственниц-богинь» [19]. Эти богини, живущие на высоком Парнасе, имели очи *светлые, как небеса.* Пушкин ощущал, что *процесс его творчества протекает* в чистоте и в *свете.* Это имеет громадное значение для понимания его духовной жизни.

Однако значительно чаще в лицейские годы муза посещала Пушкина в другом образе — как «прелестница», «вакханочка», «резвая болтунья», за которой волочились Анакреон, Тибулл, Вольтер, Парни. Эта муза внушила Пушкину «вакхические» стихотворения, количественно значительно превосходившие творения нежной музы.

Эти два образа отражают глубокое противоречие, раздвоенность в душе поэта в дни юности.

ГЛАВА II

В ЛИЦЕЕ

Много, слишком много ветрености...
А. С. Пушкин

Может быть, самым ранним дошедшим до нас поэтическим произведением Пушкина является стихотворение «Мой портрет». Оно не датировано, но из содержания его ясно, что написано оно в Лицее. На раннюю его дату указывает и то, что оно написано по-французски. Французские стихи Пушкин писал только в самом начале своего литературного

пути. В этом стихотворении ярко выражена характерная для пушкинского автобиографического творчества черта: полная правдивость, отсутствие лицемерия, стремление говорить о себе только правду, без самооправдания, без прикрас.

Вы просите у меня мой портрет,
Но списанный с натуры;
Мой милый, он быстро будет готов,
Хотя и в миниатюре.

Я молодой повеса,
Еще на школьной скамье;
Не глуп, говорю не стесняясь
И без жеманного кривлянья.

Никогда не было ни болтуна,
Ни доктора Сорбонны —
Надоедливее и крикливее,
Чем собственная особа.

Мой рост с ростом самых долговязых
Не может равняться;
У меня свежий цвет лица, русые волосы
И кудрявая голова.

Я люблю свет и его шум,
Уединенье я ненавижу;
Мне претят ссоры и препирательства,
А отчасти и учение.

Спектакли, балы мне нравятся,
И если быть откровенным,
Я сказал бы, что я еще люблю...
Если бы не был в Лицее.

По всему этому, милый друг,
Меня можно узнать:
Да! *таким, как Бог меня создал,*
Я и хочу всегда казаться.

Сущий бес в проказах,
Сущая обезьяна лицом,
Много, слишком много ветрености.
Да, таков Пушкин [1].

Итак, Пушкин, на четырнадцатом или пятнадцатом году жизни отмечал, что у него «много, слишком много ветрености». Биографические сведения о его веселых лицейских проделках заставляют нас как будто согласиться с данной им себе характеристикой. Но уже самые ранние его литературные произведения показывают, что неудержимая веселость и «ветренность» совмещались в нем не только с умом, но и с глубокомыслием.

Самая ранняя его поэма «Монах» написана в четырнадцатилетнем возрасте. По содержанию она представляет собой антиклерикальную пародию на житие Иоанна Новгородского. Это едкая сатира, обильно сдобренная галльским юмором, в стиле Вольтера и Парни. В ней много места уделено эротическим пассажам, стоявшим на грани цензурности, но... эта задорная фривольная поэма имеет неожиданно серьезное, более того, проникнутое духовной мыслью заключение, которое отнюдь нельзя рассматривать только как необходимый для этого жанра дидактический эпилог.

Монах Панкратий — мишень сатиры четырнадцатилетнего Пушкина, — которому удалось преодолеть все блудные бесовские наваждения, попался, однако, на последнюю приманку диавола (Молока) — обещание поездки в Иерусалим. Путешествия, и в том числе за границу, были мечтой Пушкина с отроческих лет!

Старик, старик, не слушай ты Молока,
Оставь его, оставь Йерусалим.
Лишь ищет бес поддеть святого с бока,
Не связывай ты тесной дружбы с ним.
Но ты меня не слушаешь, Панкратий,
Берешь седло, берешь чепрак, узду.
Уж под тобой бодрится чорт проклятый,
Готовится на адскую езду.
Лети, старик, сев на плеча Молока,
Толкай его и в зад и пóд бока,
Лети, спеши в священный град востока,
Но помни то, что не на лошака
Ты возложил свои почтенны ноги.
Держись, держись всегда прямой дороги,
Ведь в мрачный ад дорога широка[2].

Каков же смысл авторского совета Панкратию? Что значит «держись всегда прямой дороги»? Это значит: никогда не криви душой, никогда не заключай сделок с совестью из-за каких-либо житейских невзгод. Да, этого правила держался автор, и то же он советует Панкратию: *не идти ни на какие компромиссы со злом.*

В том, что таких взглядов держался сам Пушкин, что в заключительной части поэмы мы слышим его авторский голос, нас убеждает сравнение «Монаха» с последующими лицейскими стихотворениями 1814—1816 гг.

В апреле 1814 г., то есть когда ему не исполнилось еще пятнадцати лет, Пушкин написал стихотворение «К другу стихотворцу» где раскрыл свое понимание служения поэта. Истинному поэту нужно талант соединить со «здравым смыслом». Творчество поэта должно быть национальным и общественным служением. Поэт призван учить, и это призвание опасное и трудное. Стихотворец, от имени которого написано стихотворение, убеждает некоего молодого поэта Ариста серьезно призадуматься над своим будущим, прежде чем избрать «опасную стезю». Он не советует ему дружить с «глупой музой» указывает на «горестную» участь большинства поэтов. Уделом их была нищета. Жан Батист Руссо, Камоэнс, Костров были бедняками... Не говори, что поэтов ждет слава: «слава — сон».

На все эти доводы Арист, однако, отвечает:

.... не трать излишних слов;
Когда на что решусь, уж я не отступаю,
И знай, мой жребий пал, я *лиру избираю.*
Пусть судит обо мне, как хочет, целый свет,
Сердись, кричи, бранись, — а я таки поэт[3].

Словами Ариста говорил молодой Пушкин. Примером поэтического служения для него были Дмитриев, Державин, Ломоносов —

Певцы бессмертные, и честь, и слава россов...

«К другу стихотворцу» было первым произведением Пушкина, появившимся в печати. В нем он изложил свое поэтическое credo. Мысли Ариста (Пушкина) об «опасной

стезе» стихотворства представляют дальнейшее развитие мысли в заключительной части «Монаха». «В жизни надо следовать прямой дорогой — а "широкая", но хотя бы в чем-то не прямая дорога ведет в погибель, в "мрачный ад"».

Эти же мысли, одновременно бывшие и решениями доброй воли, мы видим в послании «К Жуковскому». Оно писалось в 1816 г., когда приближался срок окончания Лицея, и юноше надлежало избрать дорогу в жизни. Это стихотворение — быть может, самое значительное из всех лицейских творений Пушкина.

Пушкин опять ставит себе в пример Карамзина, Дмитриева, Державина, Жуковского, вновь говорит о том, что на поэтическом пути его ждут гонения и невзгоды, снова употребляет образ пути-дороги. Решение принято.

Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел.
. . . .
Нет, нет! решился я — без страха в трудный путь,
Отважной верою исполнилася грудь.
Творцы бессмертные, питомцы вдохновенья!..
Вы цель мне кажете в туманах отдаленья,
Лечу к безвестному отважною мечтой,
И, мнится, гений ваш промчался надо мной!
. . . .

Но вижу: возвещать нам истины опасно,
. . . .
Гонения терпеть ужель и мой удел?
Что нужды? смело в даль дорогою *прямою*...[4]

Таким образом, идейная преемственность между поэмой «Монах», пьесой «К другу стихотворцу» и посланием «К Жуковскому» представляется несомненной. Юноша Пушкин отвергает легкие пути в жизни и избирает «путь трудный» и «дорогу прямую». Решение, принятое им перед лицом Жуковского, по своему моральному содержанию близко к тому, что заповедано в Евангелии: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель» (Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13)[5]. Наверное, этими словами Спасителя и навеян сам образ «широкой дороги» в ад: широкой именно пото-

му, что она не пряма, но избегает трудов и препятствий, обходит их.

Б. В. Томашевский предполагает, что в послании «К Жуковскому» «дело идет не об одной внутренней решимости, но и о каком-то замысле вполне определенного порядка» [6]. Таким «замыслом», как он полагает, была подготовка Пушкиным первого издания своих лицейских стихотворений, которые он хотел отдать на отзыв и редакцию Жуковскому. Томашевский, как это характерно для его критических этюдов, снижает этим замечанием духовный уровень пушкинского послания. Между тем о высоте полета духа Пушкина свидетельствует торжественная форма обращения к Жуковскому в начале послания: «Благослови, поэт». Это — перифраза́ возгласа перед началом литургии: «Благослови, владыко!» Означает ли это, что юноша Пушкин руководствовался в жизни Евангелием? Отнюдь нет. Этому решительно противоречит идейное направление его лицейского творчества.

Мы видим, что самое раннее произведение Пушкина «Монах» имеет резко выраженное антиклерикальное направление, хотя автор оговаривается, что «бесить попов не наше ремесло» [7]. Такое же направление мы видим в «Городке». Воспринятое Пушкиным в родной семье неуважительное отношение к духовному сословию, к представителям русского духовенства мало чем отличалось от отношения нашей буржуазии и дворянской интеллигенции к «попам» в конце XIX и начале XX вв. Хотя надо заметить, что сам термин «поп» еще далеко не имел в пушкинскую эпоху того уничижительного значения, которое утвердилось за ним полувеком позднее. Это отношение имело, конечно, свои глубокие исторические и психологические корни.

Но, Боже, виноват!
Я каюсь пред Тобою,
Служителей Твоих,
Попов я городских
Боюсь, боюсь беседы,
И свадебны обеды
Затем лишь не терплю,
Что сельских иереев,

Как папа иудеев,
Я вовсе не люблю...[8]

Эти стихи конца послания свидетельствуют о большой наблюдательности и знании русского быта. О хорошем знакомстве Пушкина с внешней стороной богослужения говорят и стихи в начале послания:

Не ведал я покоя,
Увы! ни на часок,
Как будто у налоя
В великий четверток
Измученный дьячок[9].

Здесь речь идет об усталости дьячка, то есть того чтеца, на которого на Страстной неделе падает большая нагрузка: чтение Псалтири и других книг Ветхого Завета за богослужением. Пушкин подметил эту усталость и нашел подходящий эпитет: «измученный дьячок».

В послании «К Пущину» того же года находим следующий выпад:

Ты вовсе не знаком
С зловещим Гиппократом,
С нахмуренным попом...[10]

В этих словах Пушкин имеет в виду христианское таинство Елеосвящения (называемое в просторечии соборованием), которое совершается над тяжело больными и сопровождается молитвами об их выздоровлении. Отсюда и эпитет «зловещий Гиппократ».

В пьесе «Блаженство» (1814) пятнадцатилетним Пушкиным ясно сформулированы его взгляды на жизнь. Это гедонизм в его вульгаризированном в «век просвещения» аспекте. Вот основные черты этого мировоззрения, выраженного словами Сатира:

— «Слушай, юноша любезный,
Вот тебе совет полезный:
М и г блаженства в е к лови;
Помни дружбы наставленья:
Без вина здесь нет веселья,
Нет и счастья без любви...»[11]

Само название пьесы заключает в себе скрытый вызов христианской морали, так как в пьесе идет речь о *наслаждении*, а отнюдь не о евангельском блаженстве. Учение о блаженстве составляет центральный пункт христианского благовестия, но Пушкин нарочито дает и своей пьесе заглавие «Блаженство».

Нет! мне, видно, не придется
С богом сим в размолвке жить,
И покамест жизни нить
Старой Паркой т а м прядется,
Пусть владеет мною он!
Веселиться — мой закон.
Смерть откроет гроб ужасный,
Потемнеют взоры ясны.
И не стукнется Эрот
У могильных уж ворот![12]

Миросозерцание литературного героя послания «(К ***)» («Городок») определенно эпикурейское. Он бежит из столицы в захолустный городок, «безвестностью счастливый», и живет здесь

Философом ленивым,
От шума вдалеке...[13]

Ничто не мешает ему беспечно лениться и нежиться в кровати — мечтать, читать, писать. В эротических мечтах он как наяву видит свою «милую». Правда, он не стесняется признаться другу, что любовные утехи — только мечта, а настоящий удел его — «напрасно пламенеть» и «лить навеки слезы». В этих стихах, безусловно, очень много автобиографических черточек. Творческий (отнюдь не только ученически-подражательный) характер этого раннего произведения Пушкина виден из того, что в нем заключены *зерна* двух наиболее зрелых поэтических творений последних лет его жизни: «Вновь я посетил» и «Памятник». Не удивительно ли, что шестнадцатилетний юноша заглядывает в даль будущего и пророчески говорит о своем «просвещенном правнуке», что тот в своем творчестве будет вдохновляться поэзией прадеда?

С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,
Мой правнук просвещенный,
Беседовать придет
И мною вдохновенный
На лире воздохнет [14].

Не должны ли мы отметить перекличку с пушкинским стихотворением, написанным двадцать лет спустя:

. . . . Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет [15].

Столь же пророчески связан «Городок» с «Памятником». В «Городке» Пушкин пишет:

Как знать, и мне, быть может,
Печать свою наложит
Небесный Аполлон;
Сияя горним светом,
Бестрепетным полетом
Взлечу на Геликон.
Не весь я предан тленью... [16]

А через двадцать лет он скажет:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и *тленья убежит* —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит [17].

Наивная, мальчишеская философия наслаждения жизнью достаточно хорошо выражена уже в произведениях Пушкина 1814 г. Более определенное и конкретное выражение этой «философии» мы видим в произведениях 1815—1817 гг. Особенно ярко этот «эпикуреизм» проявляет себя в тех произведениях, которые сам Пушкин называл «вакхическими посланиями». Эти послания, адресованные друзьям и приятелям, в первой части заключают обычно яркие реа-

листические портреты адресатов. Не приходится сомневаться поэтому в том, что мысли и чувства второй половины посланий правдиво выражают не только взгляды Пушкина, но иногда и конкретные черты его мировоззрения. Вакхических, эпикурейско-гедонистических посланий, веселых или с большим или меньшим налетом пессимизма, вольных, а иногда и непристойных, насчитывается с 1814 по 1819 г. около шестнадцати. Эти послания по духовному своему уровню стоят в поразительном, парадоксальном противоречии с его юношескими произведениями, написанными на исторические и политические темы. В самом деле, какая пропасть между посланиями «Князю А. М. Горчакову», «К Н. Г. Ломоносову» с одной стороны, и «Воспоминаниями в Царском Селе» — с другой! Все они написаны в 1814 г.! Или между посланиями «К Пущину» (4 мая 1815), «К Галичу», «К Дельвигу» (1815) и пьесами историко-политического содержания, как «Лицинию» и «Наполеон на Эльбе». А между тем эти две последние также написаны в 1815 г.

Вакхические послания и песни Пушкин писал и в последующие годы лицейской жизни и продолжал писать в петербургский период. Философский фундамент под эти произведения был им подведен в 1816 г. в «Послании Лиде».

Здесь он высказывает свои философские симпатии и антипатии с достаточной систематичностью и полнотой. Отрицательно он относится к системам Платона, стоиков (в лице Зенона, Эпиктета, Катона, Сенеки и Цицерона) и киников (в лице Диогена). Его по преимуществу интересует морально-практический аспект философии, а отвлеченные спекуляции не привлекают. Так было и в ранней юности, и в зрелом возрасте. В пьесе 1814 г. «Пирующие студенты» он восклицает:

Под стол холодных мудрецов,
. . . .
Под стол ученых дураков![18]

В пьесе 1816 г. «Послание Лиде» он говорит:

Дороже мне хороший ужин
Философов трех целых дюжин...[19]

В письме Дельвигу из Москвы (1827) Пушкин пишет о своем отношении к немецкой метафизике: «Ты пеняешь мне за Московский Вестник — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее...» [20]

Но эта нелюбовь к умозрительным рационалистическим философским системам вовсе не означает отрицательного отношения к философии, как науке о мудрости. В поэтических произведениях лицейского и петербургского периода Пушкин не только часто говорит о себе, как о «философе», он пишет такие произведения, как «Усы. Философическая ода» (1816) и «Послание Лиде» (1816). Этого мало — его поэзия тех лет является *проповедью* вполне определенного миросозерцания — философского эпикурейства. В «Послании Лиде» он не только критикует различные течения эллинистической мысли, но говорит о своих философских симпатиях. Прежде всего, он с похвалой отзывается о Сократе, который, как известно, был приговорен афинским судом к смерти за безбожие, то есть за неуважительное и скептическое отношение к греческим богам; упоминает также ученика Сократа Аристипа — основателя Киренской философской школы, развившей этическую сторону учения Сократа и подготовившей почву для эпикурейства. Эта школа учила, что познание мира достигается только через чувственные восприятия — субъективные ощущения. Целью жизни является наслаждение, к которому приводит практическая деятельность и господство над своими желаниями. Это моральное философское учение получило название гедонизма (от греческого слова «гедоне» — наслаждение). Гедонизмом пронизана вся ранняя лирика Пушкина.

Люблю я доброго Сократа!
Он в мире жил, он был умен;
С своею важностью притворной
Любил пиры, театры, жен... [21]

Послание Пушкина нарочито обращено к некоей Лиде, которая «служила наслажденью»:

Тебе, наперсница Венеры,
Тебе, которой Купидон
И дети резвые Цитеры

Украсили цветами трон,
Которой нежные примеры,
Улыбка, взоры, нежный тон
Красноречивей, чем Вольтеры,
Нам проповедуют закон
И Аристипов, и Глицеры, —
Тебе приветливый поклон,
Любви венок и лиры звон [22].

Итак, эпикурейское отношение к жизни получает свое философское обоснование... Рассмотрим теперь «вакхические послания» в хронологическом порядке, начиная с 1814 г.

В послании своему старшему собрату по Парнасу Батюшкову [23] Пушкин называет его «философом резвым», то есть философом-эпикурейцем; «певцом радости», «другом Вакха». Он ценит в поэтическом творчестве Батюшкова его внутреннюю близость с древним Анакреоном и современным ему французским поэтом Парни. «Парни российский» — вот высшая похвала в устах отрока Пушкина.

Отдавая должное гражданским мотивам в поэзии Батюшкова, Пушкин грустит, что эпикурейские струны его лиры умолкли, и дает ему следующий совет:

Я песни продолжать не смею.
Прости — но помни мой совет:
Доколе музами любимый,
Ты пиэрид горишь огнем,
Доколь, сражен стрелой незримой,
В подземный ты не снидешь дом,
Мирские забывай печали,
Играй: тебя младой Назон,
Эрот и грации венчали,
А лиру строил Аполлон [24].

Заметим, что если в пьесе «Блаженство» эпикурейские советы дает сатир, то в послании «К Батюшкову» — сам Пушкин. Духовный кризис, пережитый Батюшковым после походов Отечественной войны 1812—1814 гг., отход его от плоской вольнодумной «просветительной» философии XVIII в., сближение с Жуковским, поворот к религии — все это было не по душе Пушкину. Раздражал этот перелом в

мировоззрении Батюшкова также и кн. П. А. Вяземского, с которым он состоял в активной переписке.

После личного знакомства с Батюшковым в следующем, 1815 г., Пушкин в новом послании к нему отмечает расхождение с умонаправлением своего любимого поэта. Он не принимает совета Батюшкова отказаться от гедонической тематики радости и наслаждения жизнью.

Бреду *своим путем*:
Будь всякий при своем[25].

Собственную философию Пушкин выразил в стихотворении «Гроб Анакреона»:

Смертный, век твой привиденье:
Счастье резвое лови;
Наслаждайся, наслаждайся;
Чаще кубок наливай;
Страстью пылкой утомляйся,
И за чашей отдыхай![26]

Несмотря на то, что режим закрытого учебного заведения не позволял в полной мере на опыте познать эпикурейское учение, «безвестных наслаждений ранний голод» проник в самое сердце юноши. В послании Галичу, преподавателю словесности, заменявшему одно время больного профессора Кошанского, Пушкин мечтает не только о пирах, но и о «подруге долгих наслаждений»:

О Галич, *верный друг бокала*
И жирных утренних пиров,
Тебя зову, *мудрец ленивый*,
В приют поэзии счастливый,
Под *отдаленный неги кров*.
Давно в моем уединеньи,
В кругу бутылок и друзей,
Не зрели кружки мы твоей,
Подруги долгих наслаждений,
Острот и хохота гостей[27].

Послание воспевает поэзию непринужденных дружеских собраний и младого веселья под крышей... помощника надзирателя по хозяйственной части Лицея! «Милыми подружками» на этих тайных встречах были пивные кружки!

Здесь, в дружеской обстановке, лицеисты делились со своими преподавателями пробами пера:

Тогда послания, куплеты,
Баллады, басенки, сонеты
Покинут скромный наш карман...
. . . .
О Галич, Галич! поспешай!
Тебя зовут и *сон ленивый*,
И друг ни скромный, ни спесивый,
И кубок полный через край![28]

Обстановка этих встреч была крайне проста и существенно отличалась от роскошных пиров, воспетых в поэтическом послании. Невинные пирушки лицеистов доходили иногда до сведения высшего начальства. За гогель-могель, организованный Пущиным, Пушкиным и Малиновским 5 сентября 1814 г., «трое провинившихся присуждены были к тому, чтобы в течение двух недель (!) стоять на коленях во время вечерней молитвы»[29]. Кто насаждал безверие в душах лицеистов, спросим мы, не министр ли просвещения Разумовский?

Второе послание к Галичу, написанное после окончания им чтения лекций лицеистам, близко по содержанию к первому, но эпикурейские мотивы выражены в нем более определенно. Вот эпитеты, которыми наделяет Галича Пушкин: «любовник наслаждений», «друг мудрый», «мудрец любезный». В послании воспевается Вакх — «сей бог младой», — и перед нами опять встает картина непринужденной встречи молодых поэтов со своим профессором:

И все к тебе нагрянем —
И снова каждый день
Стихами, прозой *станем*
Мы гнать печали тень.

Рефрен этого послания вполне эпикурейский:

Нам жизни дни златые
Не страшно расточать.
Поделимся *с забавой*
Мы веком остальным,
С волшебницею-славой
И с *Вакхом молодым*[30].

Год 1816 богат элегиями, грустное настроение которых так или иначе относится к предмету несчастной любви.

И юности уж возраст наступил...
Подайте мне Альбана кисти нежны,
И я мечту младой любви вкусил [31].

Из мрака элегий этого года ярким языком пламени вырывается эпикурейская по своему основному настроению пьеса «Любовь одна — веселье жизни хладной»:

Любовь одна — веселье жизни хладной,
Любовь одна — мучение сердец.
Она дарит один лишь миг отрадный,
А горестям не виден и конец.
Стократ блажен, кто в юности прелестной
Сей быстрый миг поймает налету;
Кто к радостям и неге неизвестной
Стыдливую преклонит красоту!
. . . .

Наследники Тибулла и Парни!
Вы знаете бесценной жизни сладость;
Как утра луч, сияют ваши дни.
Певцы любви! младую пойте радость,
Склонив уста к пылающим устам,
В объятиях любовниц умирайте;
Стихи любви тихонько воздыхайте!..
Завидовать уже не смею вам [32].

Может быть, еще более яркое художественное выражение философия эпикурейства лицейского периода нашла в послании офицеру гусарского полка поэту П. П. Каверину:

Прослыть апостолом Зенонова ученья,
Быть может, хорошо — но ни тебе, ни мне.
Я знаю, что страстей волненья
И шалости, и заблужденья
Пристали наших дней блистательной весне.
. . . .
Всему пора, всему свой миг,
Все чередой идет определенной:
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.

Насытясь жизнию у юных дней в гостях,
Простимся навсегда с веселием шумливым,
С Венерой пылкою и с Вакхом прихотливым,
Вздохнем об них, как о друзьях,
И старость удивим поклоном молчаливым.
Теперь в беспечности живи...
. . . .
Минуту юности лови
И черни презирай ревнивое роптанье.
Она не ведает, что можно дружно жить
С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,
Что резвых шалостей под легким покрывалом
И ум возвышенный и сердце можно скрыть [33].

В этом послании сформулирована эпикурейская мудрость: жизнь быстротечна, поэтому:

Пока живется нам, живи,
Гуляй в мое воспоминанье;
Молись и Вакху и любви
И черни презирай ревнивое роптанье...[34]

Пользуйся теми наслаждениями, которые дает каждый возраст, каждый шаг жизни... В последней редакции 1828 г. эпикурейско-гедонистическое содержание этого послания усилено по сравнению с 1817 г. Заострено и его жало безверия: «Гуляй в мое воспоминанье». Не пародирует ли Пушкин слова Иисуса на Тайной Вечере: «Сие творите в Мое воспоминание» (Евангелие от Луки, глава 22, стих 19).

Строгому критику своих «вакхических посланий» профессору Кошанскому Пушкин ответил в 1815 г. (если только верна датировка) прекрасным по форме и смелым посланием [35]. Он не скрывает в нем своего эпикурейства, отстаивает свободу поэтического творчества, а некоторую эротическую вольность своих стихов защищает ссылкой на пример Анакреона, Шолье, Парни, которые:

Не так, бывало, в прежни дни
Своих любовниц воспевали [36].

Но в качестве основного довода для защиты своих дружеских «летучих посланий» Пушкин выдвигает то, что они не суть «дары поэзии трудолюбивой», но:

Плоды веселого досуга,
Не для бессмертья рождены,
Но разве так сбережены
Для самого себя, для друга,
Или для Хлои молодой [37].

Действительно, в те же годы, когда сочинялись эти послания, писались и другие, глубокомысленные, внушенные «девственными музами» послания, как например, Жуковскому и Чаадаеву [38].

Свое лицейское творчество Пушкин закончил агностическим произведением — стихотворением «Безверие», читанным им на выпускном экзамене по русской словесности 17 мая 1817 г. Его содержание объясняет в значительной степени общую духовную направленность творчества Пушкина этого периода.

Однако и здесь надо отметить, что Пушкин отнюдь не выставляет как идеал состояние

. . . . того, кто с первых лет
Безумно погасил отрадный сердцу свет...
. . . .
Увы! он первого лишился утешенья!
. . . .
Настигнет ли его глухих судеб удар,
Отъемлется ли вдруг минутный счастья дар...
. . . .
Лишенный всех опор отпадший веры сын
Уж видит с ужасом, что в свете он один,
И мощная рука к нему с дарами мира
Не простирается из-за пределов міра...[39]

Кажется, в дальнейшем у Пушкина уже не встречается эта игра рифмованными славянизмами (мира — міра), здесь же она уместна, ибо вера здесь мыслится в самом прямом значении церковной веры. Однако не изображает ли Пушкин в «том, кто» самого себя? Ведь это у него «ум ищет Божества, а сердце не находит». И далее он прямо переходит на первое лицо:

Несчастия, страстей и немощей сыны,
Мы все на страшный гроб родясь осуждены.

И дальше, как бы борясь с собой, Пушкин приводит доводы против атеизма:

Ужасно чувствовать слезы последней муку —
И с миром начинать безвестную разлуку!
. . . .
Но, други! пережить ужаснее друзей!
Лишь вера в тишине отрадою своей
Живит унывший дух...

На этой двойной ноте — стремления к Божеству и глубокосердечного скепсиса — и обрывается лицейский период.

ГЛАВА III

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЭПИКУРЕЙСТВА

Мне страшен мир, мне скучен дневный свет...
А. С. Пушкин

Эпикуреизм Пушкина отнюдь не был безоблачен. Несмотря на непрерывные призывы к веселью и наслаждению, тоска, печаль, тяжелые думы о быстротечности жизни и неизбежном для всех конце, начиная с 1814 г., часто посещали его. Более того, они никогда его не оставляли. Очень многие из вакхических его посланий кончаются темой смерти, мысленным предстоянием «ужасному гробу». Послание Горчакову (1814), в котором Пушкин дает другу ряд эпикурейских советов, заканчивается напоминанием о «Стигийском бреге» и неизбежной переправе на *тот* берег в «мрачном челне Харона». Послание Батюшкову 1814 г. также заканчивается напоминанием о неизбежной смерти:

Доколь, сражен стрелой незримой,
В подземный ты не снидешь дом,
Мирские забывай печали,
Играй...[1]

В послании «К Н. Г. Ломоносову» (1814) Пушкин прямо говорит о *своей* смерти:

Когда ж пойду на *новоселье*
(Заснуть ведь общий всем удел),
Скажи: «Дай Бог ему веселье!
Он в жизни хоть любить умел»[2].

В пьесе «Городок» (1815) тема смерти и «тления» составляет органическую часть всей композиции.

В стихотворении «Мечтатель» Пушкин, обращаясь к Музе, слетевшей с его детской колыбели, просит:

О, будь мне спутницей младой
До самых *врат* могилы![3]

В 1815 г. он пишет «Мое завещание. Друзьям».

Хочу я завтра умереть
И в мир волшебный наслажденья,
На тихий берег вод забвенья,
Веселой тенью отлететь...[4]

Это эпикурейское прощание с жизнью, которую поэт покидает *самовольно*. Это обманчивый гимн самоубийству. Это зерно будущих «Египетских ночей» и рассказ о самоубийстве Петрония:

Певец *решился* умереть.

Решение принято, завещание написано, готова и надпись для мраморной гробницы:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,
Питомец нег и Аполлона».

В том же году он пишет четырехстишье «Моя эпитафия». По своему настроению и содержанию оно близко к «Завещанию», но надпись здесь не безымянна:

Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою,
С любовью, леностью провел веселый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей Богу, добрый человек[5].

Смерть и тление — основная тема пьесы «Сраженный рыцарь» того же года[6].

Унынием, тоской, думами о смерти, о быстротечности жизни особенно богат элегический 1816 г.

Пьеса «Наездники» имеет темой предчувствие смерти:

«Певец угрюмый, что с тобою?
Один пред боем ты уныл...» [7]

Поэт отвечает:

«Глубокий сон в долине бранной;
Одни мы *мчимся в тьме ночной*,
Предчувствую конец желанный!
Меня зовет последний бой!»

В этой пьесе не только зерно будущих произведений, в ней больше: пророчество о собственной жизни:

«О братья! вспомните певца,
Его любовь, его мученья
И славу грозного конца!»

В 1816 г. написана элегия «Я видел смерть»:

Я видел смерть; она в молчаньи села
У мирного порогу моего;
Я видел гроб; открылась дверь его;
Душа, померкнув, охладела...
Покину скоро я друзей,
И жизни горестной моей
Никто следов уж не приметит;
Последний взор моих очей
Луча бессмертия не встретит,
И погасающий светильник юных дней
Ничтожества спокойный мрак осветит [8].

В этой элегии, которую в 1825 г. он из цензурных соображений озаглавил «Подражание», Пушкин недвусмысленно сказал о своем неверии в бессмертие души, а следовательно, в будущую жизнь воскресения. Своих друзей он просит передать «ей», что «взят он вечной тьмою». Расставаясь с жизнью, он говорит:

Прости, печальный мир, где темная стезя
Над бездной для меня лежала —
Где вера тихая меня не утешала...

В стихотворении «Безверие» (1817) Пушкин говорит о «мрачном безверии», не относя, как мы уже упоминали, в полной мере открыто этого образа мыслей и этого состояния сердца к самому себе, но «Элегию» 1816 г., не предназначавшуюся для печати, он пишет от своего имени. «Элегия» бесспорно подтверждает автобиографичность «Безверия».

Открытое разочарование в смысле бытия выражено в пьесе «Желание» (1816):

О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, *пустое привиденье*...[9]

Онтологический смысл бытия утерян, вся жизнь предстает перед взором как «пустое привиденье». В январе 1817 г., возвратясь с рождественских каникул в Лицей, Пушкин писал:

Веселие рассталося с душой.
. . . .
Перед собой одну печаль я вижу!
Мне страшен мир, мне скучен дневный свет...[10]

Таким образом, по прямому свидетельству Пушкина, вера была им безусловно потеряна уже в 1816 г. Он пришел к убеждению, что бессмертия не существует, дух человека умирает в «изнеможении» вместе с телом, и «спокойный мрак ничтожества» (то есть небытия), а затем «вечная тьма» охватывает то, что было живым человеком. Однако приведенные выше стихи свидетельствуют о потере веры уже в 1814 г. Содержание посланий и элегий 1814—1816 гг. не только антиклерикально («Городок», 1815), но стоит в непримиримом противоречии с христианством. На потерю веры еще в отрочестве намекают начальные стихи пьесы «Безверие»:

О вы, которые с язвительным упреком,
Считая мрачное безверие пороком,
Бежите в ужасе того, кто *с первых лет*
Безумно погасил отрадный сердцу свет...

В прощальном лицейском послании Илличевскому юный Пушкин иронически и в насмешку называет себя «православным христианином»:

Мой друг! неславный я поэт,
Хоть христианин православный[11].

В этой пьесе он не в первый раз выдвигает дилемму: «Или поэт, или христианин» и, в сущности, признается в своем неверии в бессмертие души, хотя и выражает свою мысль в иронически утвердительном обороте:

Душа бессмертна, слова нет —

и высказывает твердо сложившееся желание обеспечить себе «бессмертие», пускай вполне земное и, следовательно, временное, в своих поэтических творениях:

Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.

ГЛАВА IV

БЕЗВЕРИЕ

Ум ищет Божества, а сердце не находит
А. С. Пушкин

Стихотворение «Безверие» в своей основной части, как мы видели, написано от лица юноши, который

. . . . с первых лет
Безумно погасил отрадный сердцу свет [1],

то есть отпал от веры. Если вера в сердце человека — свет, который дает радость, то потеря веры — мученье:

Увы! он первого лишился утешенья!

Написал ли Пушкин эту пьесу по предложению профессора Лицея или нет, во всяком случае вывод ее совпадает с тем, который Пушкин позднее вынес из длительных и серьезных разговоров на юге России с «глухим философом», англичанином, который в тот период своей жизни был атеистом [2]. Пушкин дал следующий отзыв о богоотрицательном мировоззрении этого англичанина: «Система не столь

утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная» [3].

Другая очень важная мысль пьесы «Безверие»:

Ум ищет Божества, а сердце не находит —

также вполне отвечает убеждениям Пушкина. В 1821 г. он встретился с Пестелем, одним из крупнейших идеологов декабризма, и записал в своем дневнике: «9 апреля. Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. "Сердцем я материалист, — говорит он, — но мой разум этому противится". Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» [4]

Таким образом, Пестель сказал Пушкину о своем безверии то же, что написал Пушкин четырьмя годами раньше в стихотворении на французском языке, прочитанном на выпускном акте Лицея: «В моем сердце, то есть в глубине души, в моих чувствах я Бога не чувствую, не нахожу, но ум мой с этим согласиться не может...»

Человека, потерявшего веру, охватывает чувство полного *одиночества* в мире. Утрачена вера в Верховное Существо, стоящее выше природы — в Существо Премирное. Такой человек лишен духовной опоры на жизненном пути, беспомощен и слаб перед лицом неизбежно постигающих каждого человека личных потерь и страданий.

Лишь вера в тишине отрадою своей
Живит унывший дух и сердца ожиданье.

Ум человека противится мировоззрению, в котором нет места для Бога, — но... «ум ищет Божества, а сердце не находит», — признается Пушкин.

Острее всего эту холодность души и сердца Пушкин испытывал в переполненном молящимся народом храме:

Во храм ли Вышнего с толпой он молча входит,
Там умножает лишь тоску души своей.
При пышном торжестве старинных алтарей,
При гласе пастыря, при сладком хоров пенье,
Тревожится его безверия мученье.

Он Бога тайного нигде, нигде не зрит,
С *померкшею душой святыне предстоит*,
Холодный ко всему и чуждый к умиленью,
С досадой тихому внимает он моленью.

В померкшую, не согретую светом веры душу незаметно вползает уныние и отчаяние, и человек видит избавление в одной лишь смерти, которую мыслит себе как полное уничтожение:

И что зовет его в пустыне гробовой —
Кто ведает? но там лишь видит он покой.

Особенно выразителен стих: «С померкшею душой свя́тыне предстоит», который по содержанию своему более всего относится к предстоянию пред Евхаристическою чашей. 27 марта 1816 г. Пушкин писал П. А. Вяземскому: «...недавно говел и исповедывался — все это вовсе незабавно» [5].

Таким образом, «Безверие», хотя и агностическое по своим выводам, является *не апологией атеизма*, а грустным и тяжким раздумьем об утраченной сердцем вере.

Внутренний отход души от Церкви продолжался и по окончании Лицея. Если «Царскосельского пустынника» «дергал бешеный демон бумагомарания», то после выхода из «заточения» он подвергся нападению лютейших бесов. Поэтому, если в лицейский период в отношении Евхаристического таинства можно еще говорить *о сомнении*, то в 1821 г. речь идет о явном кощунстве, на которое (скажем в оправдание Пушкина) его толкала царская администрация, не признававшая свободы совести. Она принуждала Пушкина говеть и приступать к таинствам вопреки его внутреннему располо́жению.

ГЛАВА V

ПОСЛЕ ЛИЦЕЯ

Язычество

После окончания Лицея Пушкин тотчас уехал в глухое Михайловское.

«Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но все это нравилось мне не долго. Я любил и доныне люблю шум и толпу и согласен с Вольтером в том, что деревня est le premier...» [1]

Мировоззрение Пушкина в этот период — вполне языческое, и употребление многочисленных мифологических имен отнюдь не было только «заимствованием у французских классиков XVIII в. системы поэтического аллегорического языка» [2]. Нет! За этими именами Пушкин воспринимал реальные духовные силы. Вспомним, впрочем, что язычество было вполне живо в русской дворянской культуре начала XIX в.: усадьбы были полны статуями языческих богов, грифонов, кентавров и т. д., поэзия и живопись насыщены образами античной мифологиии. Особенностью Пушкина было, пожалуй, то, что он перенес языческое восприятие на христианские священные изображения (православные иконы). Святой угол с иконами в православном доме воспринимается им, как уголок пенатов в античном жилище:

Стоит богов домашних лик
　　В кивоте небогатом,
И бледный теплится ночник
　　Пред глиняным Пенатом [3].

Это отношение Пушкина к почитанию «домашних божеств» — пенатов, выраженное в юношеском стихотворении (1815), находит подтверждение в произведении зрелого возраста. В 1828 г. на пути в Москву из самовольной поездки в действующую армию, исполненный тревожных дум об

устройстве семейного очага, Пушкин опять возвращается к теме античных пенатов и делает новое признание:

.... О нет, вовек
Не преставал молить благоговейно
Вас, божества домашние.

Пушкин читает в подлиннике английского поэта Р. Саути и переводит его «Гимн пенатам», который так гармонировал по содержанию с его собственными чувствами и думами этих дней:

.... Еще единый гимн —
Внемлите мне, *пенаты,* — *вам пою*
Обетный гимн...
....
Примите гимн, таинственные силы!
Хоть долго был *изгнаньем удален*
От ваших жертв и тихих возлияний,
Но вас любить не остывал я, боги,
И в долгие часы пустынной грусти
Томительно просилась отдохнуть
У вашего святого пепелища
Моя душа — .... зане там мир [4].

Античному культу пенатов соответствует у восточных славян культ домового. В свое второе по окончании Лицея посещение Михайловского Пушкин посвятил домовому стихотворение, которое может быть названо *молитвой*:

Поместья мирного незримый покровитель,
   Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой
   И скромную семьи моей обитель! [5]

Если домовой воспринимался в народном сознании как незримый покровитель и тайный страж, то русалки были враждебными человеку существами, населявшими озера. Пьеса «Русалка» написана Пушкиным в тот же приезд в Михайловское в 1819 г. [6] Тема «Русалки» — искушение монаха-отшельника образом «прекрасной девы», русалки. Эта тема бесовского искушения преемственно связана с темой самой ранней пушкинской поэмы 1813 г. «Монах». Но в «Русалке» женский образ имеет яркие черты язычес-

кого народного верования, и поэтическое описание таинственного существа составляет основное содержание произведения.

В 1819 г. в родовом своем поместье в Михайловском Пушкин написал следующие строки послания Орлову:

Под сенью дедовских лесов;
Над озером, в спокойной хате...
. . . .
Я буду петь моих богов...[7]

Каких «богов» имел в виду Пушкин? Одно несомненно, что не того Бога, от лица Которого Моисей сказал: «Я — Бог твой и пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня». Это был не Бог с большой буквы, Которого еще до тяжелого перелома в своей судьбе (в связи с декабрьским восстанием) пел Кюхельбекер[8], и не Бог Ломоносова, Державина, Жуковского, Грибоедова. Но это не мешало Пушкину называть себя и своих приятелей людьми «набожными», так как они были «поклонниками» Вакха, Венеры, Аполлона, Марса (Веллона) и других богов — олицетворений сил природы, общества и страстей[9].

Религиозные темы продолжали волновать Пушкина и после окончания Лицея. О вере он беседует с Н. И. Кривцовым и В. В. Энгельгардтом:

С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
. . . .
Насчет *небесного царя*,
А иногда насчет земного[10].

После пережитого Пушкиным в 1828—1829 гг. духовного кризиса[11], когда поэт уже твердо стоял на другом берегу, он рассказал о тех *религиозных* чувствах, которые внушили ему в лицейские годы античные боги и мраморные кумиры царскосельского парка (или Юсуповского сада?):

Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Другой — женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось — холод
Бежал по мне и кудри подымал [12].

Отметим, что тяготение Пушкина к языческим образам в этот период может быть полностью понято только на фоне всеобщего увлечения образованного общества позднеалександровской России языческой, в особенности, греческой и славянской, мифологией. Это уже особая тема; но отметим, что развитие языческих мотивов могло идти в сторону монотеизма, воспроизводя реальный историко-религиозный процесс. Вспомним перевод гимна Зевсу Клеанта, опубликованный в 1825 г. Мерзляковым:

О Ты, под разными всечтимый именами,
Единый, той же сын!.. Верховный Бог Отец! —
Всего созданного начало и конец!

. . . .

Великий Зевс! — какой из праха ум дерзает
К непостижимому возвыситься, к Тебе? —

. . . .

Я землю призову, я вознесусь до неба,
Низыду в глубины Эреба;
Внедрюсь в себя, чтоб жить с Тобой!.. *

Но путь Пушкина к монотеизму был иным.

* Урания. Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности, изданная М. Погодиным. М. 1825. С. 1—2.

Брат Пушкина Лев записал в своих «Воспоминаниях»: «По выходе из Лицея Пушкин вполне воспользовался своей молодостью и независимостью. Его по очереди влекли к себе то большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны. Он жадно, бешено предавался всем наслаждениям. Круг его знакомств и связей был чрезвычайно обширен и разнообразен...» [13]

Ф. Ф. Вигель, близко знавший Пушкина, так дополняет Льва Сергеевича: «Пушкин числился в иностранной коллегии, не занимаясь службой. Сие кипучее существо, в самые кипучие годы жизни, можно сказать, окунулось в ее наслаждения... Он был уже славный муж по зрелости своего таланта и вместе милый остроумный мальчик не столько по летам, как по образу жизни и поступкам своим. Он умел быть совершенно молод в молодости, то есть постоянно весел и беспечен» [14]. Таким — веселым и беспечным — Пушкин показался Вигелю при первом знакомстве, но чем короче они сближались, тем более открывалась ему глубина мысли и богатство души поэта.

Письма Пушкина, сохранившиеся от петербургского периода жизни, документально подтверждают характеристику, данную в этих мемуарных отрывках. Письма 1817—1819 гг. брызжут весельем, остроумием, бодростью. Они полны беззаботности, но беззаботность эта, скорее, чисто наружная. В этих эпистолярных произведениях постоянно встречаются выпады против религии, христианства и Церкви.

Вернувшись из Михайловского, Пушкин посылает в одном конверте письма П. А. Вяземскому и дяде своему Василию Львовичу в Москву. Обращает на себя внимание адрес на конверте: «Их *высокопреосвященствам* Василию Львовичу и Петру Андреевичу». Вяземскому он пишет: «С нетерпением ожидаю твоих новых стихов и *прошу у тебя твоего благословения*» [15]. Вяземский меньше всего склонен был благословлять кого бы то ни было, а Пушкин по своему внутреннему состоянию меньше всего нуждался в благословении!

В письме А. И. Тургеневу[16], писанному перед второй поездкой в Михайловское в июле 1819 г., Пушкин ходатайствует перед старшим другом за приятеля Соболевского (в то время воспитанника университетского пансиона), которому грозили крупные неприятности со стороны директора университета Д. А. Кавелина. Соболевский, как и Пушкин в те годы, отличался религиозным свободомыслием, если не сказать больше. Пушкин просит Тургенева, который служит в департаменте духовных дел, заступиться за приятеля «*хоть ради вашего Христа*». Он кончает письмо тем же насмешливым оборотом, что и письмо Вяземскому два года назад: «Препоручаю себя вашим молитвам». В письме он выражает пожелание, чтобы министр духовных дел и народного просвещения, всесильный в то время фаворит Александра I кн. А. И. Голицын, под началом которого служил Тургенев, забыл его (Пушкина) и не интересовался его взглядами и поведением: «прошу камергера Don Basile забыть меня по крайней мере на три месяца»[17]. Для такой просьбы были все основания. Грозные тучи уже собирались над головой Пушкина. Министр духовных дел имел к этому самое прямое отношение.

И между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!..[18]

В письме Вяземскому из Петербурга, которое было написано Пушкиным незадолго до его высылки из столицы, он решается задеть даже ближайшего, старшего друга В. А. Жуковского — за его религиозные убеждения. Он спрашивает мнения Вяземского о появившемся в печати стихотворении Жуковского «Голос с того света»: «Читал ли ты последние произведения Жуковского, *в Бозе почивающего*? слышал ли ты его Голос с того света — и что ты о нем думаешь?»[19] С Вяземским он мог откровенно говорить о религии.

Образцом озорства, веселья и беспечности в эпистолярном творчестве Пушкина может служить его письмо П. Б. Мансурову в Новгород от октября 1819 г. Оно откровенно эротично и пестрит в издании Академии Наук цензурными пропусками, заполненными многоточиями.

Поэтические произведения Пушкина этих лет: послания друзьям, гимны Вакху, автобиографические строфы в поэме «Руслан и Людмила» (1817—1820) — воспевают наслажденье, опьянение сладострастием, вином, безумием вакхических оргий. Пушкин решительно отклоняет все призывы старших друзей к благоразумию. Он и слышать не хочет о том, что ему должно серьезно и ответственно относиться к своему поэтическому дару. Он не стесняясь признается, что не хочет противиться страстям, которые владеют им.

В послании А. И. Тургеневу (1817) он говорит:

Душой предавшись наслажденью,
Я сладко, сладко задремал.
. . . .

Не вызывай меня ты боле
К навек оставленным трудам,
Ни к поэтической неволе,
Ни к обработанным стихам.
Что нужды, если и с ошибкой
И слабо иногда пою?
Пускай Нинета лишь улыбкой
Любовь беспечную мою
Воспламенит и успокоит![20]

О том же он говорит в автобиографическом отрывке в шестой песне «Руслана и Людмилы»:

Твой друг, *блаженством упоенный*,
Забыл и труд уединенный,
И звуки лиры дорогой.
От гармонической забавы
Я, *негой упоен*, отвык...
. . . .
Любовь и жажда *наслаждений*
Одни преследут мой ум[21].

Пушкин вполне отдает себе отчет в характере любовного чувства, которое владеет им. Это чувство, писал он в 1818 г.:

. . . . . . и нежит и томит,
В трудах, в заботах и в покое

Всегда не дремлет и горит;
Оно мучительно, жестоко,
Оно всю душу в нас мертвит,
Коль язвы тяжкой и глубокой
Елей надежды не живит...[22]

Пушкин себя не обольщал! Это чувство он всегда называл *страстью*, пускай и «нежной страстью». Он никогда не смешивал его с любовью, хотя и называл часто «*безумием* любви», «*мрачной* любовью».

Характер этого чувства он изобразил более развернуто в стихотворении, написанном в 1818 г. Обращаясь к неопытному юноше, который находил наслаждение в тоске по предмету своей воображаемой любви, он говорит:

О если бы тебя, унылых чувств искатель,
Постигло страшное безумие любви;
Когда б весь яд ее кипел в твоей крови;
Когда бы в долгие часы бессонной ночи,
На ложе, медленно терзаемый тоской,
Ты звал обманчивый покой,
Вотще смыкая скорбны очи,
Покровы жаркие рыдая обнимал
И сохнул в бешенстве бесплодного желанья, —
Поверь, тогда б ты не питал
Неблагодарного мечтанья!
Нет, нет! в слезах упав к ногам
Своей любовницы надменной,
Дрожащий, бледный, исступленный,
Тогда б воскликнул ты к богам:
«Отдайте, боги, мне рассудок омраченный,
Возьмите от меня сей образ роковой!
Довольно я любил; отдайте мне покой!».
Но *мрачная любовь* и образ незабвенный
Остались вечно бы с тобой[23].

Это исполненное силы описание безумной любовной страсти, в отличие от эротических пьес лицейского периода, несомненно, основано на личном опыте.

В ряде стихотворений послелицейского, петербургского, периода Пушкин говорит о холодной страсти, о страсти без любви[24].

Я хладно пил из чаши сладострастья [25] —

так определяет он это чувство. В послании «Юрьеву» (1820) он раскрывает эту тему:

А я, повеса вечно-праздный,
Потомок негров безобразный,
Взрощенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний... [26]

О всех стихотворениях этого цикла Пушкин в свои зрелые лета сказал: «простительно мне было (их) написать на 19 году, но непростительно признать публично в возрасте более зрелом и степенном (например, Послание к Юрьеву)» [27]. В 1826 г. Пушкин исключил из сборника своих стихов, подготовлявшегося к печати, стихотворение «Платонизм», сделав следующую пометку: «Не нужно, ибо я хочу быть моральным человеком» [28].

Но все же многие стихи, которые Пушкин не хотел предавать гласности [29], были против его желания так или иначе напечатаны. В 1820 г. в «Московском зрителе» было напечатано стихотворение «Прелестнице», написанное в 1818 г. Автор его стоит как будто на страже нравственности. Пушкин рисует яркий образ служительницы корыстной, «на злато купленной любви», от которой поэт с негодованием отказывается:

Не привлечешь питомца музы
Ты на предательную грудь! [30]

К сожалению, поэзия в данном случае жестоко расходилась с действительной жизнью. А. Н. Тургенев, с грустью следивший за жизнью Пушкина после окончания Лицея, описывает в письме к П. А. Вяземскому следующее происшествие: «Пушкин очень болен. Он простудился, дожидаясь у дверей одной..., которая не пускала его в дождь к себе для того, чтобы не заразить его своей болезнью. Какая борьба благородства, любви и распутства!» [31]

Через месяц Тургенев писал к нему же: «Вообрази себе девятнадцатилетнего юношу, который шесть лет живет *в*

виду дворца и в соседстве *с гусарами,* и после обвиняй Пушкина» [32].

Что же сказать о духовной жизни Пушкина этих лет? Мы не ошибемся, если ответим его собственными стихами из «Евгения Онегина», написанными в Болдине в 1830 г.:

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С *толпою* чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей [33].

«Добыча вредных заблуждений»

Какие же это страсти, следовать которым Пушкин вменял себе в закон? Их было немного. Одни из них очень рано сам Пушкин оценил, как «гибельные», смертоносность других он осознал значительно позднее. В 1822 г. Пушкин имел твердое намерение исповедать их брату Льву, «как бы дорого эта исповедь ни будет стоить моему самолюбию» [34], чтобы предостеречь того от заблуждений тяжким отрицательным опытом своей жизни. Переоценка основ закончилась к 1828—1829 гг. В 1830 г. Пушкин смотрел на свою жизнь уже с другого берега.

Кающемуся важно нащупать основную греховную страсть в своей духовно-телесной жизни. Такой страстью сам Пушкин осознавал в 1818 г. «страсть блудную». Но это вовсе не означало, что в 1818 г. он в этой страсти каялся, хотя она часто его тяготила:

Вот страсть, которой я сгораю!..
Я вяну, гибну в цвете лет,
Но исцелиться не желаю...[35]

Владело Пушкиным также духовное «нечувствие»[36], порождавшее «бесстрашие», страсть, которую он в юности своей, конечно, не осознавал. Этот вид внутреннего отчаяния вполне может совмещаться с внешним разгулом, наигранной веселостью. Неизбежность смерти юношу не страшит, скоротечность жизни не тревожит, искание смысла жизни не обременяет. В послании Кривцову, с которым он часто встречался в доме Карамзина, Пушкин пишет:

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг[37].

Н. М. Карамзин называет Кривцова «добрый esprit fort», а Тургенев определенно находит, что Кривцов развращает Пушкина своими разговорами, направленными против религии. В незаконченной пьесе, адресованной, весьма вероятно, тому же Кривцову, Пушкин пишет:

Не угрожай ленивцу молодому.
Безвременной кончины я не жду.
В венке любви к приюту гробовому
Не думав ни о чем, без робких слез иду[38].

Пушкин страдал в юные годы также болезненным самолюбием, тщеславием, духовной гордостью (учителем которой еще в Петербурге становится Байрон), крайним индивидуализмом, питавшимся отрицанием и непониманием ценности соборного сознания.

Пересмотр взглядов юности и прежнего образа жизни Пушкин начал на юге в 1823 г. Эта переоценка нашла отражение в откинутых строфах второй главы «Евгения Онегина». Не может быть никаких сомнений в автобиографичности признаний, сделанных поэтом в этих стихах.

В 1823 г. в Михайловском Пушкин, работая над образом Ленского, отбросил в окончательном тексте второй главы «Онегина» несколько строф, в которых противопоставляет

4. Зак. 1211

романтической музе Ленского эротические стихи Пирона и Парни. Он не скрывает, что «певцы слепого наслажденья» ему «милы», хотя он и не может оправдать духа эротической направленности их поэзии. Более того, читая строфы, в которых Пушкин подвергал критике стихи этих поэтов, мы ясно чувствуем, что она относится и к его собственным юношеским эротическим стихам. Потому что не только Пирон написал в юности пьесу — «Ода к Приапу», такую же пьесу написал и Пушкин в 1818 г.[39] Для нас не столь существенно, является ли стихотворение Пушкина переводом кого-либо из античных авторов или вольным переводом того же Пирона. Важно то, что тема интересовала Пушкина, и он подверг ее художественной обработке. Что же писал Пушкин об этих поэтах в беловой рукописи второй главы «Евгения Онегина»? Ленский:

Не славил сетей сладострастья,
Постыдной негою дыша,
Как тот, чья жадная душа,
Добыча вредных заблуждений,
Добыча жалкая страстей,
Преследует в тоске своей
Картины прежних наслаждений
И свету в песнях роковых
Безумно обнажает их[40].

Эти стихи, позднее отброшенные Пушкиным, заставляют вспомнить его юношеские произведения, не предназначенные для печати. Здесь мы видим и прямые параллели, и одинаковое словоупотребление, что не позволяет сомневаться в автобиографичности этих стихов.

В этом нас убеждают не только X, но и XI и XII строфы второй главы.

Певцы слепого наслажденья,
Напрасно дней своих блажных
Передаете впечатленья
Вы нам в элегиях живых...[41]

В 1830 г. Пушкин высказался в теоретическом (философском) плане о том, что следует считать аморальным в поэзии. «Безнравственное сочинение, — писал он, — есть то,

коего целию или действием бывает потрясение правил, на коих основано счастие общественное или человеческое достоинство. — Стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию, превращая ее божественный нектар в воспалительный состав, а музу в отвратительную Кандидию. Но шутка, вдохновенная сердечной веселостию и минутной игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие»[42].

Приведенные мысли из статьи 1830 г. «Опровержение на критики» были продуманы раньше. Пушкин руководствовался ими в 1823 г., когда работал над второй главой «Онегина». В опущенной строфе XII читаем:

Несчастные, решите сами,
Какое ваше ремесло;
Пустыми звуками, словами
Вы сеете разврата зло.
Перед судилищем Паллады
Вам нет венца, вам нет награды,
Но вам дороже, *знаю сам*,
Слеза с улыбкой пополам.
Вы рождены для славы женской,
Для вас ничтожен суд молвы —
И жаль мне вас... и милы вы;
Не вам чета был гордый Ленской...[43]

Итак, перед «судилищем» Мудрости и Правосудия ремесло поэтов, писавших эротические стихи, будет осуждено. Обратите внимание на вводное предложение Пушкина — «знаю сам», то есть все сказанное имею основание отнести к себе самому. Это подтверждают также строфы четвертой главы «Онегина», отброшенные в печати:

Я жертва долгих заблуждений,
Разврата пламенных страстей
И жажды сильных впечатлений
И бурной юности моей
. . . .

Провел я много лет,
Утратя жизни лучший цвет [44].

Из четвертой главы Пушкиным была исключена и еще одна не менее автобиографическая строфа:

Страстей мятежные заботы
Прошли, не возвратятся вновь!
Души бесчувственной дремоты
Не возмутит уже любовь.
Пустая красота порока
Блестит и нравится до срока.
Пора проступки юных дней
Загладить жизнию моей! [45]

Так думал Пушкин в 1824 г. Автобиографический характер выпущенных строф четвертой главы подтверждает, между прочим, сам Пушкин в письме Вяземскому от 27 мая 1826 г.: «В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь» [46]. Общая направленность главы подчеркивается ее эпиграфом: «Нравственность лежит в природе вещей. Неккер» (с французского). На наличие автобиографических признаний в романе в целом Пушкин нарочно указал в начальном эпиграфе: «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особой гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, — следствие чувства превосходства, может быть, мнимого» (с французского) [47].

Роман был закончен в 1830 г. в Болдине. В эту же осень написана «Элегия», в которой Пушкин вспоминает свои юные годы:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней [48].

Еще решительнее, чем в «Онегине», Пушкин осуждает свой образ жизни и поведение в юности в пьесе «Когда в объятия мои»:

Кляну коварные старанья
Преступной юности моей
И встреч условных ожиданья

В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей любовный шопот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот [49].

В этой чудной пьесе Пушкин, ничем себя не оправдывая, называет юность свою «преступной». Нужно было глубокое, бесповоротное сознание своей моральной нечистоты, чтобы найти духовные силы и мужество написать эти строки. От них исходит аромат искренности и покаяния.

Заметим, что последняя глава «Онегина» имеет следующий эпиграф из Байрона: «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай» [50]. Пушкин прощается со своим прежним кумиром — с его гордыней, восстанием против Неба и эгоистическим культом собственных страстей.

ГЛАВА VI

ПОЛУДЕННЫЙ БЕРЕГ

«Пламенный демон...»
Пушкин и Байрон. 1820 —1835

После высылки из Петербурга в духовный мир Пушкина могучим бурлящим потоком вливается английская литература. На смену влиянию французских авторов приходят английские, и прежде всего Байрон. Встреча с Н. Н. Раевским, путешествие с ним на Кавказ и в Крым способствовало быстрейшему освоению английского языка. Вся семья Раевского хорошо его знала, а сочинения Байрона, несомненно, были у них при себе и в дороге. В годы южной ссылки Пушкин, по его словам, от Байрона «с ума сходил» [1]. В критическом очерке о собственных произведениях, который он писал в 1830 г., сидя в карантине в Болдине, он, как объективный критик, отметил, что «Бахчисарайский

фонтан» слабее «Кавказского пленника» и *«отзывается чтением Байрона»* [2]. Готовя в 1825 г. в Михайловском первый сборник стихов к печати, Пушкин намеревался дать стихотворению «Погасло дневное светило», написанному в 1820 г., эпиграф из Байрона: «Good night, my native land. Byron» [3]. В предисловии к первой главе «Евгения Онегина», вышедшей отдельным изданием в 1825 г., Пушкин отмечал, что она «напоминает Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона» [4].

После смерти Байрона в письмах к друзьям Пушкин сделал критические замечания чуть ли не на все его произведения [5]. Не соглашаясь в большинстве случаев с литературными приемами Байрона, Пушкин как художник не мог им не восторгаться и никогда не скрывал этого. Он называл его «поэтом мучительным и милым», «властителем наших дум», «волшебником», «пламенным демоном», а поэзию его — «мрачной, богатырской, сильной» [6]. Несмотря на то, что он ясно видел все недостатки поэмы Байрона «Мазепа», он все же говорил: «Какое пламенное создание, какая широкая и быстрая кисть!» «Что за чудо Дон-Жуан!» — восхищался Пушкин, но одновременно справедливо отрицал всякую связь между «Дон Жуаном» и «Евгением Онегиным». К «Полтаве», которая была задумана, в противовес «Мазепе» Байрона, строго историческим произведением, он все же поставил эпиграф из «Мазепы» [7].

В годы южной ссылки Пушкин живо чувствовал личную связь с Байроном, который находился так близко, в восставшей Греции. Пушкин как будто даже ревновал Байрона к гречанке, которую встретил и воспел в Кишиневе:

Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу... [8]

Пушкин думал о Байроне до последнего года своей жизни. В 1835 г. он начал статью-биографию о Байроне. Рукопись имеет пометку: «Черная речка, дача Миллера, 25 июля». Он считал недопустимым, чтобы никто из русских писателей не откликнулся серьезной статьей на смерть и творчество великого английского поэта. Он рассчитывал на Вяземского и, не дождавшись, начал писать сам.

Увлечение Пушкина Байроном в юности нет причин игнорировать. Как мог столь восприимчивый ко всему прекрасному Пушкин не увлечься поэзией Байрона, бывшего властителем дум Западной Европы, а позднее и России? Как мог Байрон не быть близок Пушкину при таком большом сходстве их судеб? Также как Пушкин, он был фактически сослан, выслан с Британских островов по причине глубокого социально-политического конфликта с правящими кругами английского общества; также как Пушкин в молодости, он был человеком свободомыслящим в религиозных вопросах, резко антиклерикальным; он был сторонником как английской, так и французской революций; также как Пушкин, он любил Вольтера и других писателей, подготовивших революционный взрыв во Франции; с оружием в руках он участвовал в итальянском и греческом национально-освободительном движении. Байрон был чрезвычайно независим, смел и оригинален во всех своих поступках, личность его имела необыкновенное очарование; он ненавидел ханжество, лицемерие, всякое крепостничество и вместе с тем высоко ценил свое древнее дворянство и никогда не забывал о принадлежности к английской знати. Не только аристократическая, но и духовная гордость привела его творчество на край демонизма, между тем как душа его до конца жизни была полна глубоких и искренних религиозных сомнений и исканий. Недаром еще более радикальный английский поэт — Шелли, друг Байрона, высказывал сожаление, что «не может освободить столь великий ум от заблуждений христианства»!

На смерть Байрона Пушкин тотчас откликнулся стихотворением «К морю». Он поставил Байрона в жизни рядом с Наполеоном, а посмертную тень его «близ Данте». Пушкин писал о Байроне:

Другой от нас умчался *гений*,
Другой *властитель наших дум*.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан? [9]

Таким образом, оспаривать влияние Байрона на духовный мир Пушкина, особенно в годы южной ссылки, невозможно. Однако на смену безусловному увлечению английским поэтом еще на юге пришло критическое отношение к его мировоззрению и творчеству. В Одессе Пушкин пришел к выводу, что творческий путь Байрона зашел в тупик. В письме Вяземскому он так откликнулся на известие о смерти Байрона: «...тебе грустно по Байроне, а я так *рад его смерти*, как высокому предмету поэзии. Гений Байрона *бледнел* вместе с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уже не тот пламенный демон, который создал Гяура и Чильд Гарольда. Первые две песни Дон Жуана выше следующих. Его поэзия видимо изменялась. Он весь создан был навыворот; постепенности в нем не было, он вдруг созрел и возмужал — пропел и замолчал; и первые звуки его уже ему не возвратились...» [10]

Четырьмя строками ниже Пушкин отрицательно высказывается об активном участии Байрона в греческой революции. Не называя Байрона прямо, он говорит: «...Греция мне огадила. О судьбе греков позволено рассуждать, как о судьбе моей братьи негров, можно тем и другим желать освобождения от рабства нестерпимого. Но чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией — это *непростительное ребячество*» [11].

Наиболее развернутый критический и притом неблагоприятный отзыв о драматургии Байрона (в сравнении с драматургией Шекспира) Пушкин дал через год в письме Н. Н. Раевскому-сыну: «...до чего изумителен Шекспир! Не могу придти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон-трагик! Байрон, который создал всего-навсего один характер... этот самый Байрон распределил между своими героями отдельные черты собственного характера; одному он

придал свою гордость, другому — свою ненависть, третьему — свою тоску и т. д., и таким путем из одного цельного характера, мрачного и энергичного, создал несколько ничтожных — это вовсе *не трагедия*» [12].

Неприятие Пушкиным драматургии Байрона отразилось в драме «Борис Годунов»; отрицательное отношение к романтическим поэмам Байрона — в «Цыганах» и «Полтаве». И хотя Жуковский в письме 1825 г. [13] назвал Пушкина полушутя-полусерьезно «Байрон Сергеевич», в творчестве Пушкина с конца 1824 г. заметно прямое и сознательное отталкивание от творческого метода Байрона. То же следует сказать и об отношении Пушкина к религиозным и политическим взглядам Байрона. В этой связи отметим то внимание, которое начиная с 1829 г. Пушкин уделяет антиподу Байрона — английскому поэту Саути.

Роберт Саути (Robert Southey, 1774—1843) находился вместе с Кольриджем во враждебном Байрону литературном лагере. Когда в 1817 г. он получил звание королевского поэта-лауреата, Байрон бросил ему открытое обвинение в продажности. Это обвинение было глубоко несправедливым. Подобно Байрону, Саути в юности сочувствовал французской революции, но позднее занял резко враждебную ее идеологическим принципам позицию. Столь же убежденно он изменил свое отношение к Вольтеру и религиозному вольномыслию века Просвещения.

Пушкин в 1829 г. делает два перевода из Саути. Из поэмы «Медок» [14] он взял описание переживаний возвращающихся на родину из дальнего плавания моряков. Второй перевод — из упоминавшегося уже «Гимна пенатам» («Еще одной высокой, важной песни») [15], в котором Саути доносит до нас благоговейную любовь человека античного мира к семейному очагу и его божествам-покровителям. Оба перевода отражают глубокое желание Пушкина создать собственную семью.

Позднее Пушкин сделал еще один перевод (или свободное переложение) из Саути, а именно из его поэмы «Roderic», написанной на сюжет борьбы христиан с маврами в Испании. В неоконченном и необработанном стихо-

творении Пушкина «Родрик» особенно ярко проявилась его интимная духовная связь с английским поэтом. В этом сочинении Пушкин пророчески предсказал не только свою кончину, но и ту духовную атмосферу, в которой она произойдет:

Чудный сон мне Бог послал —
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
Скоро странствию земному
Твоему придет конец...»
. . . .

Сон отрадный, благовещный —
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь...[16]

В последний раз Пушкин с глубоким уважением упоминает Саути в предсмертном публицистическом произведении «Последний из свойственников Иоанны д'Арк», разоблачающем нравственную беспринципность Волтера[17].

В этой замечательной статье Пушкин дает высокую оценку поэме Саути «Жанна д'Арк»:«Поэма лауреата (Саути. — *Б. В.*) не стоит конечно поэмы Вольтера (т. е. «Орлеанской девственницы» — *Б. В.*), в отношении силы вымысла, но творение Саути есть *подвиг честного человека и плод благородного восторга*».

Таким образом, зрелый Пушкин не только не побоялся быть причисленным к лагерю поэта, к которому Байрон относился с такой враждебностью, но, более того, счел свои долгом выразить ему глубокое уважение[18].

О глубоко интимном личном отношении Пушкина к Байрону-человеку свидетельствует тот факт, что в первую годовщину его смерти, 7 апреля 1825 г. Пушкин заказал по нем заупокойную службу местному священнику в селе Тригорском.

Он принял от него просфору, вынутую об упокоении души раба Божия Джорджа (Георгия). Это была, быть может, единственная заупокойная служба, совершенная по Джорджу Гордону Байрону в Европе. Известно, что Вестминстерское аббатство отказалось принять для погребения его тело, когда оно было привезено в Англию. Заупокойная служба в церкви села Тригорское, совершенная по православному обряду, была не только публичным политическим жестом Пушкина, русского собрата Байрона по перу; она показательна как симптом поворота Пушкина к русскому национальному быту и русским народным религиозным обычаям.

О совершенной по его заказу заупокойной службе Пушкин в тот же день известил Вяземского: «Нынче день смерти Байрона[19] — я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба Божия боярина Георгия. Отсылаю ее к тебе»[20].

Брату он в тот же день писал: «Я заказал обедню за упокой души Байрона (сегодня день его смерти). Анна Николаевна также, и в обеих церквах Тригорского и Воронича происходили молебствия. Это немножко напоминает обедню Фридриха II за упокой души Вольтера. Вяземскому посылаю вынутую просвиру отцом Шкодой — за упокой поэта»[21].

Пушкин сравнивает совершенную по его заказу службу с мессой, отслуженной по заказу короля прусского Фридриха II по Вольтеру, потому что его отношение к Байрону имело некоторые черты, общие с отношением Фридриха к Вольтеру. Прусский король покровительствовал Вольтеру, когда тот писал свою антицерковную поэму «Орлеанская девственница». Пушкину в юности также импонировали мрачный демонизм Байрона, политическая оппозиционность и революционность английского аристократа.

Эта обедня была также духовным прощанием Пушкина с бывшим «властителем его дум», решительным переходом на почву русских духовных традиций.

«Гордый мой рассудок...» «Гавриилиада». 1821

6 сентября 1820 г., по приезде Пушкина в Кишинев, начинается его переписка с петербургскими друзьями, которая с каждым месяцем становится все интенсивнее. Письма Пушкина — неоценимый источник для исследований. Количество их из года в год возрастает, особенно после ссылки поэта в Михайловское (осенью 1824 г.). На юге Пушкин усиленно пополняет знания, расширяет их чтением и личным общением с рядом высокообразованных, литературно одаренных людей. Многие из них были связаны с тайным политическим обществом.

Вот картина жизни поэта в Каменке, имении Давыдовых, осенью 1820 г. им самим описанная в письме Гнедичу:

«Вот уже восемь месяцев, как я веду странническую жизнь, почтенный Николай Иванович. Был я на Кавказе, в Крыму, в Молдавии и теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. — Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов» [22].

Вернувшись в Кишинев, под кров генерала Ивана Никитича Инзова, Пушкин, по обязанности службы, с наступлением Великого Поста должен был посещать церковные богослужения. Более того, он обязан был говеть, то есть после ежедневного посещения всех церковных служб в течение недели пойти на исповедь к священнику, а на другой день — к причастию. Все это было Пушкину очень не по

душе, тяготило его. Свое говение он описал Давыдову в стихотворном послании:

Хочу сказать тебе два слова
Про Кишинев и про себя.
. . . .
Я стал умен, я лицемерю —
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что Бог простит мои грехи,
Как государь мои стихи.
Говеет Инзов, и намедни
Я променял парнасски бредни
И лиру, грешный дар судьбы,
На часослов и на обедни
Да на сушеные грибы.
Однако ж *гордый* мой рассудок
Мое раскаянье бранит...
. . . .
Но я молюсь — и воздыхаю...
Крещусь, не внемлю сатане... [23]

Впечатление от великопостного богослужения нашло легкомысленно-шутливое отражение в письме Пушкина к Дельвигу от 23 марта 1821 г. Он шлет пожелания бывшему лицеисту, поэту Кюхельбекеру, который в это время сопровождал Нарышкина (по приглашению последнего) в его путешествии по Европе: «Желаю ему в Париже дух целомудрия, в канцелярии Нарышкина дух смиренномудрия и терпения, об духе любви я не беспокоюсь, в этом нуждаться не будет, о празднословии молчу — дальний друг не может быть излишне болтлив» [24]. Под пером гения эта перифраза молитвы Ефрема Сирина звучит весело и остроумно, но по существу она, конечно, чрезвычайно легкомысленна, чтобы не сказать большего.

24 марта 1821 г., то есть в канун Благовещения [25] — двунадесятого торжественного праздника, посвященного благовестию архангелом Гавриилом Деве Марии зачатия и рождения Ею Христа, Спасителя мира (Евангелие от Луки, глава 1, стихи 24-38), — Пушкин пишет письмо в Петербург, в котором ярко отражено его антицерковное направ-

ление ума и сердца: «Не скоро увижу я вас; здешние обстоятельства пахнут долгой, долгою разлукой! *молю Феба и Казанскую Богоматерь*, чтоб возвратился я к вам с молодостью, воспоминаньями и еще новой поэмой; — та, которую недавно кончил, окрещена Кавказским пленником»[26].

Пушкин нарочито подчеркивает свою антицерковность, так как в его «молитве» Аполлону и Казанской Богоматери содержится скрытое пренебрежение к церковным праздникам и в том числе к наступающему празднику Благовещения, уже тысячу лет высоко чтимому русским народом. Он не мог не знать и того, что священное событие этого праздника — одна из излюбленных тем древнерусского искусства, фрески и иконописи. Может быть, именно во время благовещенской обедни, за которой читаются стихи Евангелия от Луки о священном событии, Пушкин задумал поэму-сатиру на этот праздник — печальной памяти «Гавриилиаду».

6 апреля 1821 г. в среду на Страстной неделе, после говения, Пушкин набросал план «Гавриилиады»[27]. Намек на основную тему этой злосчастной поэмы уже имеется в 21-ой строке послания Давыдову[28]. Весьма символично, что поэма была осуществлена Пушкиным тотчас после говения.

Согласно христианскому преданию, всякая обедня (литургия) есть повторение по завету Христа Тайной Вечери, совершенной Им перед Своими страданиями. Иоанн Богослов повествует, что когда ученики возлежали на Вечери, Иисус, обмакнув кусок, подал Иуде Искариоту. И после сего куска вошел в Иуду сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее».

Поэма «Гавриилиада» была закончена Пушкиным в кратчайший срок, в течение апреля.

Я намеренно не читал «Гавриилиады» из уважения к памяти великого национального поэта. Пушкин уничтожил рукопись поэмы не только по политическим соображениям (ему грозила за нее тяжелая кара), но и потому, что после своего обращения стыдился своего юношеского озорства, «глубоко горевал и сердился при всяком, даже нечаянном, напоминании об этой *прелестной пакости*»[29]. Это — сви-

детельство близкого приятеля Пушкина еще по первому петербургскому периоду его жизни. Соболевский делает сообщение со специальной оговоркой, что он говорит с полным сознанием ответственности за свои слова [30].

Но «*прѐлестной*», как назвал ее Соболевский, эта «пакость» была только в старославянском смысле слова: «прелестью» в духовной письменности называется омраченное духовное состояние, исполненное гордости и отпадения от евангельской истины под прямым влиянием диавола.

Об окончании злосчастной «Гавриилиады» Пушкин сообщает А. И. Тургеневу в игривом, блестящем по форме письме, но написанном в том же вызывающем тоне, как и первое послание Тургеневу.

В письме из Кишинева от 7 мая 1821 г. читаем: «В руце твои предаюся, отче! (неточное цитирование слов, произнесенных Спасителем на кресте: «Отче, в руки Твои предаю дух Мой». Евангелие от Луки, глава 23, стих. 46. — *Б. В.*) ...не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней (однако ж не более) с моего острова Пафмоса? Я привезу вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу вам, христолюбивому пастырю поэтического нашего стада...» [31] Здесь опять речь идет о «Гавриилиаде». Он сопоставляет (!) свою поэму с «Апокалипсисом» Иоанна Богослова, который, согласно преданию, написан на острове Патмосе. Пушкин намерен посвятить нецензурную вещь А. И. Тургеневу, занимавшему видное место в министерстве духовных дел, которое возглавлял князь А. И. Голицын!

Пушкин посылает поэму также и Вяземскому со следующей припиской: «Посылаю тебе поэму в мистическом роде — я стал придворным» [32]. В комментарии на эти слова Пушкина Томашевский предполагает, что поэма была «литературным и политическим протестом Пушкина против мистических увлечений императора Александра и его фаворита министра духовных дел и народного просвещения А. И. Голицына и других лиц при дворе» [33]. Это вполне возможно. Пушкин не любил Голицына. Это чувствуется уже в письме А. И. Тургеневу в 1819 г. [34]. В 1823 г. поэма дошла до Бестужева, и Пушкин, не скрывая своего авторства,

спрашивает: «Тебе, кажется, более нравится *благовещение* (то есть «Гавриилиада». — *Б. В.*), однако ж Елисей (поэма поэта В. И. Майкова, юмор которой нравился Пушкину. — *Б. В.*) смешнее, следственно, полезнее для здоровья» [35].

Во всех этих письмах нельзя не заметить какой-то нарочитой бравады. Пушкин как будто хотел убедить и себя и других, что речь идет о чем-то маловажном, между тем как совесть его ясно свидетельствовала о грандиозности предмета, который он, как верный ученик Вольтера, низвел на площадь и подверг осмеянию. Еще раз вспомнишь А. И. Тургенева, который близко наблюдал юного Пушкина после окончания Лицея и находил, что «волокитство» его и «вольнодумство» (в том числе религиозное) по своему стилю «площадное, восемнадцатого столетия» [36].

В свете изложенного приобретает значительность тот факт, что последнюю публицистическую статью, направленную против моральной беспринципности Вольтера и его «Орлеанской девственницы» [37], Пушкин пожелал прочесть А. И. Тургеневу (с которым он к концу жизни любил серьезно беседовать на политические и религиозные темы). 9 января 1837 г. А. И. Тургенев сделал об этом чтении запись в дневнике: «Я зашел к Пушкину; он читал мне свой pastische (подделку. — *Б. В.*) на Вольтера и на потомка Жанны д 'Арк» [38].

Это произведение Пушкин написал не только для читателей своего «Современника». Он написал его в те дни, когда события его личной жизни, закончившиеся дуэлью, стремительно развивались. Пушкин хотел высказаться с полной ясностью, чтобы его отношение к Вольтеру и к предмету, осмеянному Вольтером, более не могло вызвать никаких кривотолков. А. И. Тургенев назвал эту статью «подделкой», так как Пушкин избрал для нее оригинальную литературную форму. Она написана в виде переписки двух лиц: Вольтера и французского дворянина Дюлиса. Дюлис требовал у Вольтера удовлетворения за клевету, возведенную им на Жанну д' Арк, которая приходилась ему отдаленной родственницей. Эта вымышленная переписка сопровождалась вымышленным комментарием английского журналиста.

Каждое из этих трех лиц отражает оценку Пушкиным поэмы Вольтера, его суждение о Вольтере как о человеке и его отрицательную оценку тенденций французской литературы конца XVIII в. Написав эту статью, Пушкин сделал то, что требовала его совесть: в печатном произведении высказал свое отношение к Вольтеру и к той теме, которая когда-то была им самим, бывшим учеником Вольтера, подвергнута кощунственному осмеянию.

Много воды утекло после того злосчастного 1821 г., когда была написана «Гавриилиада»! Наступил самый тяжелый, может быть, в жизни Пушкина переломный 1828 г. Его миросозерцание глубоко изменилось. Ссылки кончились. Он был знаменитый национальный поэт, написавший «Цыган», «Бориса Годунова» и «Полтаву», а между тем юношеское его произведение «Гавриилиада» распространялось в рукописных копиях по всей России. В 1828 г. у штабс-капитана Митькова была обнаружена такая копия. В июне началось политическое следствие, имевшее целью установить автора этого кощунственного произведения. Вызванный на допрос Пушкин от авторства отрекся. Но император велел снова допросить поэта. В присутствии всех членов комиссии под председательством графа Толстого Пушкин просил разрешения написать объяснение по этому делу непосредственно царю. Ему это разрешили. Письмо, написанное в присутствии комиссии, было опечатано передано лично императору. 31 декабря Николай написал резолюцию: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено»[39]. Следствие прекратилось. Позднее А. Н. Голицын говорил, что Пушкин в этом письме признался царю в своем авторстве. Само письмо не сохранилось. Очень вероятно, что царь, по просьбе Пушкина, уничтожил его по прочтении.

Также как и в первом разговоре с царем после вызова им Пушкина из Михайловского в 1826 г., Александр Сергеевич сказал ему правду, сообщил, что сожалеет о своем поступке, стыдится его, раскаялся в нем и постарается загладить дальнейшим творчеством. Ставить в вину взрослому человеку грехи его юности царь не стал. Такое гипотетическое восстановление содержания письма Пушкина царю не голос-

ловно. Оно основывается на пушкинском наброске статьи «Опровержение на критики», написанной им в Болдине в 1830 г. В этой статье мы читаем: «Кстати: начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени. Многое желал бы я *уничтожить*, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное *тяготеет, как упрек*, на совести моей» [40]. В этом же разделе статьи он говорит о своих произведениях, «которые простительно мне было написать на 19 году, но непростительно признать публично в возрасте более зрелом и степенном...».

В этом наброске Пушкин не делает прямого намека на «Гавриилиаду». Было еще много другого, написанного рукой Пушкина, что он хотел бы «уничтожить», что было бы «непростительно признать публично». О многом другом Пушкин мог сказать, что оно «тяготеет, как упрек, на совести моей».

Статья «Опровержение на критики» написана два года спустя после благополучного окончания дела с «Гавриилиадой», когда Пушкин секретно открыл свое авторство царю, как верховному судье по уголовным делам. Но более никогда и никому он в этом не признавался [41]. Это гробовое молчание свидетельствует об искренности раскаяния и о значительности того духовного поворота, который произошел в душе Пушкина.

«Спасенный чудом уголок...»
М. Н. Раевская (кн. Волконская) и Пушкин. 1820—1829

Если для духовной жизни Пушкина (в широком смысле этого понятия) на юге России очень важным моментом было знакомство с английской литературой, о чем уже говорилось, а также с Кораном и Библией, то не меньшую, может быть, роль сыграла в ней встреча с Марией Николаевной Раевской. Это глубокое чувство Пушкина до последнего времени принято было называть в пушкинистике «сокровенной, тайной любовью Пушкина». О предмете ее много

гадали. В настоящее время вопрос этот можно считать выясненным, но значение этого чувства для творчества Пушкина, для дальнейшего развития его духовной жизни (в особенном смысле этого слова) и в его личной судьбе далеко не достаточно уяснено биографами поэта.

Мария Николаевна, когда с ней познакомился Пушкин у Раевских, была еще совсем, совсем молодая девушка — «дева юная», воспитанная, как было принято в дворянской семье, в строгих традициях православия. Она выросла в передовой, европейски образованной семье, связанной с декабристскими кругами. Отец ее, Николай Николаевич Раевский (старший), герой войны 1812 г., и ее брат, Николай Николаевич (младший), знавший Пушкина с лицейских лет, были значительными одаренными русскими людьми. Вся семья нравилась Пушкину, не знавшему тепла в родном доме. «Мой друг, — писал он брату Льву из Кишенева, вернувшись из поездки по Кавказу и Крыму с Раевскими, — *счастливейшие* минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского. ...Старший сын его будет более нежели известен [42]. Все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная [43]. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу *милого* семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался — *счастливое,* полуденное небо; *прелестный* край; природа, удовлетворяющая воображение — горы, сады, море; друг мой, *любимая моя надежда* — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского» [44].

О младшей сестре Марии Пушкин, естественно, в письме умолчал. Сердце его осталось в плену. Не к Марии ли обращены выпущенные Пушкиным стихи из «Кавказского пленника»?

Я полюбил — и сны младые
Слетели с изумленных вежд,
С тех пор исчезли дни златые,
С тех пор не ведаю надежд...

О, милый друг [45], когда б ты знала,
Когда бы видела *черты*
Неотразимой красоты,

Когда бы их воображала, —
Но нет... словам не передать
Красу души ее небесной.
О, если б мог я рассказать
Ее улыбку, глас чудесный!
Ты плачешь?.. Но зачем об ней
Тревожу я *воспоминанья*?
Увы, тоска *без упованья*
Осталась от любви моей [46].

О своем отношении к Марии Николаевне Пушкин, не называя ее, писал Бестужеву за четыре месяца до помолвки ее с кн. С. Г. Волконским: «Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики» [47]. Любовь Пушкина не встретила взаимности. В 1824 г. Мария Николаевна вышла замуж за кн. С. Г. Волконского, который известил Пушкина официальным (хотя и дружеским) письмом о помолвке [48].

Мария Раевская вдохновила Пушкина на создание чудесного образа пленной Марии из «Бахчисарайского фонтана». Он бы не смог создать этого образа, если бы не повстречал Марии Раевской. В этой поэме впервые появляются в поэтическом творчестве Пушкина религиозные мотивы.

Всё в ней пленяло: тихий нрав,
Движенья стройные, живые
И очи томно-голубые.
. . . .
Гарема в дальнем отделеньи
Позволено ей жить одной:
И, мнится, в том уединеньи
Сокрылся некто неземной.
Там день и ночь горит лампада
Пред ликом Девы Пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Там упованье в тишине
С смиренной верой обитает,
И сердцу всё напоминает
О близкой, лучшей стороне;
Там дева слезы проливает
Вдали завистливых подруг;

И между тем, как всё вокруг
В безумной неге утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасенный чудом уголок.
Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений
Хранит один святой залог,
Одно *божественное* чувство...

. . . .

Мгновенья жизни дорогие
Давно прошли, давно их нет!
Что делать ей в пустыне мира?
Уж ей пора, Марию ждут
И в небеса, на лоно мира,
Родной улыбкою зовут.

. . . .

Промчались дни; Марии нет.
Мгновенно сирота почила.
Она *давно-желанный свет,*
Как *новый ангел*, озарила [49].

Так Пушкин-художник поднимается над личным своим легкомысленным отношением к религии и к христианству, столь резко проявлявшимся в письмах к друзьям и в стихотворных посланиях этих лет.

В конце поэмы Пушкин делает лирическое отступление, относящееся к Марии Николаевне:

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...

Эти четыре стиха Пушкин распорядился выпустить в печатном тексте поэмы. На этом настаивал Вяземский, который, есть основания думать, знал, к кому направлялись чувства его друга. Так, в 1824 г. он справлялся в письме к Пушкину и, думается, неспроста, о приезде в Одессу кн. Сергея Волконского. Вероятно, Вяземский знал о готовящейся помолвке Волконского с Марией Раевской, находившейся в это время в Одессе [50].

О симпатии, испытываемой Пушкиным к таким волевым и собранным религиозным девушкам, свидетельствует также его стихотворение 1820 г. «Дочери Карагеоргия». Карагеоргий был главой национального восстания сербов против турецкого ига. Он был убит за три года до создания стихотворения. Его семья жила неподалеку от Кишинева. Возможно, что Пушкин, прекрасный ходок, лично встречался с его дочерью, и стихотворение написано под непосредственным впечатлением ее прекрасного образа. Привлекшие поэта черты, как и у Марии Раевской, коренились в исконных христианских традициях двух братских славянских народов, почерпнутых из одного источника.

Гроза луны, свободы воин,
Покрытый кровию святой,
Чудесный твой отец, преступник и герой,
И ужаса людей, и славы был достоин.
Тебя, младенца, он ласкал
На пламенной груди рукой окровавленной;
Твоей игрушкой был кинжал —
Братоубийством изощренный...
Как часто, возбудив свирепой мести жар,
Он, молча, над твоей невинной колыбелью
Убийства нового обдумывал удар —
И лепет твой внимал, и не был чужд веселью...
Таков был: сумрачный, ужасный до конца.
Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
Смиренной жизнию пред небом искупила:
С *могилы грозной к небесам*
Она, как сладкий фимиам,
Как чистая любви молитва, восходила [51].

Образ Марии Николаевны, княгини Волконской, вторично возник перед духовным взором Пушкина много лет спустя после написания «Бахчисарайского фонтана», в конце 1828 г., когда он работал над «Полтавой». Облик Марии Кочубей имеет много общих черт с Марией Раевской:

Она стройна...
. . . .
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.

Звездой блестят ее глаза;
Ее уста, как роза, рдеют.

Ее движения напоминают «лани быстрые стремленья». О духовном облике Марии Кочубей Пушкин говорит:

Везде прославилась она
Девицей скромной и разумной.

Это черты, характерные для Марии Раевской. В посвящении «Полтавы», обращенном к Марии Николаевне Волконской, Пушкин отмечает те же черты:

Поймешь ли ты *душою скромной*
Стремленье сердца моего?

Связь внешнего и внутреннего облика Марии Кочубей с Марией Волконской становится еще убедительней, если сравнить его с образом Марии из «Бахчисарайского фонтана».

Признания, сделанные Пушкиным в посвящении «Полтавы», с несомненностью говорят о том, что высокое чувство к Марии Раевской с полной силой жило в его сердце и в 1828 г. Этого чувства не вытеснили многочисленные увлечения ни на юге России, ни позднее в Михайловском и Тригорском.

Вот это посвящение:

Тебе — но голос музы тёмной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?

Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная *пустыня*,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей [52].

Мы можем быть уверены в том, что «посвящение поэта» коснулось слуха Марии Николаевны, что голос музы был ею услышан в ее нерчинской «печальной пустыне». Она была тесно связана с Петербургом через Веру Федоровну Вяземскую, которая посылала ей все новые книги и поддерживала с ней переписку.

С новой силой — в последний раз — чувство Пушкина обратилось к Марии Николаевне весной следующего, 1829 г., когда по пути в действующую армию он проезжал те места, которые впервые видел, путешествуя с семьей Раевских в 1820 г.

Здесь, на Северном Кавказе, он пишет стихотворение «Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла», обращенное к Марии Николаевне. Это стихотворение вплоть до настоящего дня исследователи Пушкина рассматривают только как вариант (сокращенный) его стихов, адресованных Наталии Николаевне Гончаровой. Д. Д. Благой показал, что в нем следует видеть совершенно самостоятельное произведение пушкинской лирики, причем *позднейшим* вариантом этих стихов следует считать стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла» [53]. Между тем, последнее стихотворение в собраниях сочинения Пушкина публикуется как основное, а стихотворение «Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла» понимается как его черновой предварительный вариант. Не может быть спора о том, что первый вариант, помеченный 15 мая 1829 г., с художественной стороны сильнее второго и значительно полнее, ярче выражает переживания и чувства поэта:

Всё тихо — на Кавказ идет ночная мгла,
Восходят звезды надо мною.
Мне грустно и легко — печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою —

Тобой, одной тобой — унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оно не может.

. . . .

Я твой попрежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний [54].

Единственная и самая глубокая любовь Пушкина была трагична. Она была совершенно «без надежд» и не позволяла никаких «мечтаний» о совместной жизни. Она была чиста и целомудренна, как пламя огня, на котором в Ветхом Завете сжигалась приносимая Богу жертва. Подобно готовой погаснуть свече, огонь юношеской любви вспыхнул в Пушкине в последний раз под влиянием охвативших его на Северном Кавказе воспоминаний. В глубине души уже горела другим пламенем, но также жертвенно, реальная любовь к той, которая вскоре станет невестой и женой.

Любовь к Н. Н. Гончаровой не вытеснила, однако, из души Пушкина любви к женщине, добровольно избравшей в жизни крестный путь страданий. В том же 1829 г. Пушкин пишет эпитафию ребенку Марии Николаевны — двухлетнему младенцу князю Николаю Сергеевичу Волконскому, скончавшемуся в Петербурге в семье его деда Раевского. На этот знак уважения, сочувствия и любви Мария Николаевна откликнулась глубоким дружеским чувством к поэту: «Как же я должна быть благодарна автору! дорогой папа, возьмите на себя труд выразить ему мою признательность» [55].

Эти строки были написаны 11 мая в Нерчинске, а 15 мая сердце Пушкина отвечает: «Я твой попрежнему, тебя люблю я вновь...»

В бурной юности Пушкина, исполненной заблуждений, многих страданий, Мария Раевская занимала тот святой уголок его сердца, из которого началось возрождение (воскресение) души поэта, откуда забил новый ключ творчества, о котором ее отец сказал: «Подобного Пушкин на своем веку еще не писал».

«Какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня...»

Проблема сильной личности, противопоставляющей себя обществу, «гордого человека» намечена Пушкиным (не без влияния Байрона) уже в образе Пленника [56].

В письме В. П. Горчакову, который считал, что главным героем поэмы является черкешенка, и что назвать поэму следовало ее именем, Пушкин сам раскрывает содержание образа своего Пленника: «Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века» [57].

Действительно, Пушкин не годился «в герои романтического стихотворения», у автора «Кавказского пленника» не было ни «равнодушия к жизни», ни «преждевременной старости души», несмотря на проникнутые разочарованием элегии лицейского периода и преемственно связанные с ним элегии, написанные в период южной ссылки.

Не угодил Пушкин своим Пленником и Чаадаеву. В письме Вяземскому Пушкин признавался, что «он (Чаадаев. — *Б. В.*) вымыл мне голову за пленника, он находит, что он недовольно blasé (то есть пресыщенный. — *Б. В.*); Чаадаев по несчастию знаток по этой части; оживи его прекрасную душу, поэт! ты верно его любишь...» [58].

И все же в образе Пленника были и некоторые автобиографические черты: в душе Пленника мы видим духовное состояние уныния, разочарованности, усталости — состояния, часто посещавшие самого поэта в южной ссылке. Мы не ошибемся, если отождествим эти состояния души с теми, которые Пушкин называл в южных письмах *хандрой*.

В ноябре 1822 г. он признавался в хандре Плетневу: «...если б знал, как часто бываю подвержен так называемой хандре. В эти минуты я зол на целый свет, и никакая поэзия не шевелит моего сердца» [59]. 25 августа 1823 г. он опять признается в хандре брату Льву: «Прощай, душа моя — у

меня хандра — и это письмо не развеселило меня» [60]. Позднее (уже после женитьбы и своего обращения) Пушкин смотрел на хандру как на очень опасное душевное состояние. В 1831 г. он старался вывести из этого состояния своего друга Плетнева и подбодрить его: «Письмо твое от 19-го крепко меня опечалило. Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу» [61]. Пушкин знал это по собственному опыту. В 1822 г. он в стихотворном автобиографическом послании В. Ф. Раевскому рассказал, как постепенно мертвела его душа:

Душа час от часу *немеет*;
В ней чувств уж нет. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет [62].

Эта «немота» (бесчувствие души), или духовное уныние [63], поселилось в душе Пушкина как прямое следствие его образа жизни в годы после окончания Лицея. В стихотворении «В. Ф. Раевскому» Пушкин рассказывает:

Я дружбу знал — и жизни молодой
Ей отдал ветреные годы,
И верил ей за чашей круговой
В часы веселий и свободы,

Я знал любовь, не мрачною тоской,
Не безнадежным заблужденьем,
Я знал любовь прелестною мечтой,
Очарованьем, упоеньем.

Младых бесед оставя блеск и шум,
Я знал и труд и вдохновенье,
И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье.

Если в послании «Чаадаеву» 1821 г. Пушкин кратко говорит: «прешел я мрачный путь» [64], то в послании «В. Ф. Раевскому» он показывает все этапы своего пути. Он говорит, что в нем рано, еще в Лицее, проявился поэтический дар, он «знал досуг, беспечный муз удел»; в петербургский период жизни его пленили «красы лаис» и «заветные пиры», он искренне верил чувствам друзей «за чашей круговой», он

верил любви как «прелестной мечте», он видел в ней «очарованье, упоенье»; на юге, в ссылке, он, «оставя блеск и шум», «знал и труд и вдохновенье». «Но все прошло! — остыла в сердце кровь», и он увидел изнанку своих идеалов. «И свет, и жизнь, и дружба, и любовь» предстали взору «в их наготе». Душа стала бесчувственна, «окаменела», как каменеет дубовый лист «в ключах кавказских»:

Но все прошло! — остыла в сердце кровь,
В их наготе я ныне вижу
И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь,
И мрачный опыт ненавижу.

Пушкину казалось в то время, что он увидел жизнь и лучшие ее проявления — дружбу и любовь — вполне объективно, без прикрас. Но это была ложная картина — зрение вещей в очень субъективном освещении. Его разочарование в браке и в дружбе не имело под собой серьезных, объективных оснований.

Во время часто посещавших Пушкина в южной ссылке приступов хандры, или духовного уныния, его душу, по собственному признанию, стал тайно навещать «какой-то злобный гений». Пушкин говорит о нем в стихотворении 1823 г. «Демон».

Встречи Пушкина со злобным гением, происходившие тайно, в самых глубинах души, многие читатели понимали как свидания и разговоры с Александром Николаевичем Раевским. Когда в 1828 г. «Демон» был напечатан, Пушкин счел нужным дать объяснение этому стихотворению. Он нарочито подчеркнул идейное (духовное) его содержание, указав на широкую, даже общечеловеческую распространенность подобных духовных состояний человеческой души. Имея целью преградить дорогу узко автобиографическому пониманию «Демона», он писал: «В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия существенности (бытия. — *Б. В.*) рождают в нем *сомнения, чувство мучительное*, но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души. Недаром великий Гёте назы-

вает *вечного врага* человечества духом отрицающим»[65].

Однако толкование, данное Пушкиным своему стихотворению, отнюдь не исключало того, что оно сложилось на основе его собственного духовного опыта. Об этом с полной несомненностью свидетельствуют как вторая часть послания майору В. Ф. Раевскому, так и другое, неопубликованное при жизни Пушкина и необработанное стихотворение «Мое беспечное незнанье», написанное в том же 1823 г., что и «Демон». В послании В. Ф. Раевскому Пушкин, не называя демона прямо, переходит к разоблачению этого «пленительного кумира». Он видел в нем «величие» и «красоту» и поэтому боготворил его. Но душа, преодолев это искушение, увидела лишь «призрак» красоты, и притом «безобразный»:

Разоблачив пленительный кумир,
Я вижу призрак безобразный.
Но что ж теперь тревожит хладный мир
Души бесчувственной и праздной?

Ужели он казался прежде мне
Столь величавым и прекрасным,
Ужели в сей позорной глубине
Я наслаждался сердцем ясным!

Что ж видел в нем безумец молодой,
Чего искал, к чему стремился,
Кого ж, кого возвышенной душой
Боготворить не постыдился![66]

Более ясно и определенно Пушкин говорит об этом «лукавом демоне» в стихотворении «Бывало в сладком ослепленье»:

Мое беспечное незнанье
Лукавый демон возмутил,
И он мое существованье
С своим навек соединил.
Я стал взирать его глазами,
Мне жизни дался бедный клад,
С его неясными словами
Моя душа звучала в лад.

Взглянул на мир я взором ясным
И изумился в тишине;
Ужели он казался мне
Столь величавым и прекрасным?
Чего, мечтатель молодой,
Ты в нем искал, к чему стремился,
Кого восторженной душой
Боготворить не устыдился? [67]

Идейная, тематическая и чисто формальная (словесная) связь этого отрывка с посланием В. Ф. Раевскому не может вызывать сомнений. В том и другом речь идет о разоблачении демона, который «тайно» навещал Пушкина.

Окончательное художественное завершение этот образ получает в стихотворении 1823 г. «Демон». Это философское стихотворение созревало в душе Пушкина с 1821 г., закончено оно в 1823 г., напечатано в 1824 г. и истолковано Пушкиным в 1825 г. Попытки современных пушкинистов дать «Демону» узко социальное толкование, как олицетворению сомнений в удаче подготовлявшегося в России восстания, крайне односторонни. Нельзя объяснить «Демона» и в чисто психологическом аспекте: «Демон» отнюдь не является, как полагает Д. Д. Благой, «самым ярким выражением "*настроений*" Пушкина этого времени» [68] (то есть по существу социально-психологическим явлением). Нет! Проблема «Демона» не психологическая, а *онтологическая*. Так ее всегда понимали великие поэты, начиная с «сурового Данте», вплоть до Байрона и Гете. Пушкин в своем «Демоне» сделал гениальную попытку показать и осмыслить наличие в мире духовной личной силы «злобного гения» (или ангела), который вводит человека в обман, сбивает с пути, «клевещет» на Бога, «искушает Провидение». Это злобный гений — «обольститель». Он «осеняет» человека тоской, смотрит на жизнь «с насмешкой» и не видит в ней ничего достойного благодарения и славословия ее Творцу.

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья, —

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то *злобный гений*
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел [69].

Жуковский откликнулся на «Демона» письмом. Он правильно понял его, так как имел собственный духовно-религиозный опыт. «Обнимаю тебя за твоего "Демона". К черту черта! Вот пока твой девиз». Как много сказано в этих трех коротких фразах! Здесь видим и глубокую сердечную радость за своего любимца, который открыто поворачивает на другую дорогу; и тонкий религиозно-философский критический анализ; и дружеский, если не отеческий, совет утверждаться на избранном пути. «Ты создан попасть в боги — вперед! Крылья у души есть, *вышины* она не побоится; *там* настоящий ее элемент. Дай свободу этим крыльям, и небо твое. — Вот моя вера. Когда подумаю, какое можешь состряпать для себя будущее, то сердце разогреется надеждою за тебя.

Прости, чертик, будь ангелом» [70].

Это вещее письмо было написано Жуковским накануне дня ангела Пушкина (то есть именин). Жуковский не мог быть у родителей Александра Сергеевича, которые отмечали этот день и приглашали его, но послал им свой тост: «Быть сверчку орлом и долететь ему до солнца!»

Сам Пушкин относился к своему «Демону» очень серьезно. Пускай в шутливой форме, но вполне веско он велел брату Льву не давать больше стихов Кюхельбекеру: «Не стыдно ли Кюхле напечатать *ошибочно* моего демона! *моего* демона! после этого он и Верую напечатает ошибочно. Не давать ему за это ни Моря, ни капли стихов от меня» [71].

«Свободы сеятель пустынный...»
1821—1823

Самое раннее свидетельство Пушкина о сомнениях в правоте своих политических взглядов в успехе борьбы за свободу находим в послании декабристу В. Л. Давыдову около 5 апреля 1821 г. В имении Давыдовых Каменке Пушкин переписывал набело в феврале 1821 г. «Кавказского пленника»; здесь он вел жаркие политические споры об итальянском и греческом освободительном движении. В послании явно выражено неверие в его успех:

Но *те* в Неаполе шалят,
А *та* едва ли там воскреснет... [72]
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет [73].

Таким образом, уже в начале 1821 г. Пушкина мучили сомнения в заговорщических замыслах и в начавшихся за границей революционных движениях. В этом послании впервые сформулированы те отрицательные политические выводы, к которым Пушкин придет в 1823—1824 гг. В нем также заключено зерно основной мысли стихотворения «Свободы сеятель пустынный», написанного в 1823 г.

В послании 1821 г., помимо сомнения в успехе народно-освободительных движений, Пушкиным высказано и открытое вольномыслие относительно главного христианского таинства — Евхаристии. В пасхальные дни в стихотворении «Христос воскрес» он пишет:

Христос воскрес, моя Ревекка!
Сегодня следуя душой

Закону Бога-Человека,
С тобой целуюсь, ангел мой [74].

«Христос воскрес», — говорит Пушкин Ревекке с насмешкой над христианским праздником праздников — Пасхой; «Христос воскрес», — скажет он Давыдову, если в России победит дворянская революция.

Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся —
И я скажу: Христос воскрес [75].

В послании «В. Ф. Раевскому» (1822) Пушкин развивает подробные мысли, впервые высказанные в послании В. Л. Давыдову о добровольном ярме народов. Он пишет:

Я говорил пред хладною толпой
   Языком истины святой,
Но для толпы ничтожной и глухой
   Смешон глас сердца благородный.

Везде ярем, секира иль венец... [76]

Такую же тематическую концовку имеет пьеса «Бывало в сладком ослепленье» (1823):

И взор я бросил на людей,
Увидел их надменных, низких,
Жестоких ветреных судей,
Глупцов, всегда злодейству близких.
Пред боязливой их толпой,
Жестокой, суетной, холодной,
Смешон глас правды благородный.
Напрасен опыт вековой.
Вы правы, мудрые народы,
К чему свободы вольный клич!
Стадам не нужен дар свободы,
Их должно резать или стричь,
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич [77].

Это стихотворение отражает полное разочарование Пушкина в политической активности народных масс, его неве-

рие в их способность построить свободное общество; более того, неверие в то, что народные массы *желают* свободы.

Пушкин послал это стихотворение А. И. Тургеневу вместе с двумя отрывками из оды «Наполеон», где он обличает Наполеона в тирании, в захвате власти.

И обновленного народа
Ты буйность юную смирил,
Новорожденная свобода,
Вдруг онемев, лишилась сил;
Среди рабов до упоенья
Ты жажду власти утолил...[78]

Последняя строфа оды, написанная после получения известия о смерти Наполеона, содержит предостережение тем, кто решится осуждать великого человека за его самовластие и забудет его заслуги:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала! он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Таким образом, все три пушкинские произведения 1821— 1823 гг. имеют единый тематический стержень. Эти раздумья Пушкина о политической пассивности народных масс, о бесплодности среди них революционной пропаганды, о неизбежности тирании, которую побеждает победившая революция, находят свое завершение в стихотворении «Свободы сеятель пустынный»:

Изыде сеятель сеяти семена своя[79]

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —

Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич[80].

В письме А. И. Тургеневу в конце 1823 г. Пушкин, посылая ему строфы из оды «Наполеон», писал о последней строфе, которая кончалась стихами «И миру вечную свободу Из мрака ссылки завещал»: «Эта строфа ныне не имеет смысла[81], но она писана в начале 1821 г. — впрочем это мой *последний либеральный бред*, я закаялся и написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа (Изыде сеятель сеяти семена своя)...»

Из этого письма видно, что политические симпатии Пушкина резко изменились. Его отношение к французской революции и к ее «родному сыну» Наполеону было уже не то, что раньше. Надежда на способность восставших греков завоевать независимость от турок и приобрести себе подлинную политическую свободу также исчезла.

Летом 1824 г., откликаясь на письмо Вяземского, который тяжело переживал смерть Байрона (постигшую его в самый разгар организованных им военных операций, направленных на поддержку греческой революции), Пушкин пишет: «Твоя мысль воспеть его смерть в 5-ой песне его Героя (то есть продолжить поэму Байрона «Чайльд Гарольд», имевшую четыре песни. — *Б. В.*) прелестна — но мне не по силам...»[82]

В этом письме мы слышим голос историка и трезвого политического деятеля. Несмотря на горячее сочувствие греческому освободительному движению, отношение Пушкина к греческой революции и к участию в ней Байрона в корне изменилось.

Приблизительно в тех же числах он пишет В. Л. Давыдову, которому адресовал три года назад свое послание, горевшее революционным желанием «кровавой чаши причаститься»:

«С удивлением слышу я, что ты почитаешь меня врагом освобождающейся Греции... ты не должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое недоброжелательствовало благородным усилиям возрождающегося народа». Сделав эту оговорку, он в другом черновом письме тому же Давыдову рисует объективную картину происходящих в Греции событий. О греческой революционной армии, о ее создателях и офицерах Пушкин пишет: «...толпа трусливой сволочи, воров и бродяг, которые не могли выдержать даже первого огня дрянных турецких стрелков, составила бы забавный отряд в армии графа Витгенштейна. Что касается офицеров, то они еще хуже солдат. Мы видели этих новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинева — со многими из них лично знакомы, мы можем удостоверить их полное ничтожество — они умудрились быть болванами даже в такую минуту, когда их рассказы должны были интересовать всякого европейца — ни малейшего понятия о военном деле, никакого представления о чести, никакого энтузиазма — французы и русские, которые здесь живут, высказывают им вполне заслуженное презрение; они все сносят, даже палочные удары, с хладнокровием, достойным Фемистокла. Я не варвар и не проповедник Корана, дело Греции вызывает во мне горячее сочувствие, именно поэтому-то я и негодую, видя, что на этих ничтожных людей возложена священная обязанность защищать свободу» [83].

Итак, это не разочарование в идеале свободного общества, а разочарование в людях, которые взялись строить его с оружием в руках, но в ходе борьбы за свободу показали полную свою неспособность и несостоятельность. Это пророчество о том, что внешняя свобода без внутренней (в душе человека) невозможна.

Проблема рождения тирании в ходе народной революции, моральная проблема восстания против наследственной монархии, освященной религией, и отношение к императорской власти, вытекающей из власти полководца, будет волновать Пушкина и позднее, в Михайловском.

«Где нет внутренней свободы, там нет и внешней»

В апреле 1823 г. П. А. Вяземский, получив через кого-то известия о Пушкине (который был переведен в то время по ходатайству друзей из Кишинева в Одессу), писал А. И. Тургеневу: «Пушкин пишет новую поэму "Гарем" [84] (так называл Вяземский «Бахчисарайский фонтан». — *Б. В.*). А что еще лучше, *сказывают, что он остепенился и становится рассудителен*» [85].

Тургенев, получив это письмо, разговаривал в Петербурге с графом Воронцовым. О разговоре с ним он отписал 15 июня Вяземскому: «Я сам... два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, что пойдет на лад... Что-то будет с Пушкиным?» [86]

Ф. Ф. Вигель, оставивший нам свои замечательные «Записки», часто встречался в 1823—1824 гг. с Пушкиным в Одессе. Вот как позднее он вспоминал об этих встречах: «С каждым днем наши беседы и прогулки становились продолжительней. Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком касаясь моей черными думами отягченной главы, внезапно порождал в ней тысячу мыслей, живых, веселых, молодых, и сближал расстояние наших возрастов. Беспечность, с которою он смотрел на свое горе, часто заставляла меня забывать и собственное... Бывало, посреди пустого, забавного разговора из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая покажет и всю обширность его рассудка. Часто со смехом пополам с презрением говорил он мне о шалунах-товарищах его в петербургской жизни, с нежным уважением о педагогах, которые были к нему строги в Лицее. Мало-помалу я *открыл* весь зарытый *клад его правильных и благородных помыслов*, на которых накинута была замаранная мантия цинизма» [87].

Разговоры с Вигелем часто касались вопросов религии. Пушкин был вполне откровенен и не скрывал своих атеистических взглядов. Осенью 1823 г. Вигель писал Пушкину из Кишинева, куда он был переведен по службе: «Скажите, мой милый безбожник, как вы могли несколько лет выжить

в Кишиневе? Хотя за ваше неверие и должны вы были от Бога быть наказаны, но не так много. Что касается до меня, я скажу тоже: хотя мои грехи или, лучше сказать, мой грех велик, но не столько, чтобы судьба определила мне местопребыванием помойную эту яму» [88].

Пушкин в это время изучал Ветхий Завет и Евангелие и был хорошо осведомлен в Священном Писании. «Я слишком с Библией знаком», — писал он Вигелю. Библейские цитаты часто встречаются и в южных письмах Пушкина его друзьям — Вяземскому, Тургеневу, брату. Его интересовали в этом чтении этнография и история древневосточных народов, но не менее и религиозно-философские вопросы. Ответное письмо Пушкина Вигелю подтверждает отзыв последнего о «замаранной мантии цинизма», которую Пушкин набрасывал на свои серьезные думы и рассуждения. Как поэтическая, так и прозаическая часть письма нецензурна [89].

Но несмотря на легкомысленный тон многих писем Пушкина этого времени, его мысль все время усиленно работала над серьезными философскими, моральными и политическими вопросами. Так, в конце 1823 г. перед Пушкиным в полный рост встает вопрос о невозможности быстрого завоевания свободы только революционными средствами. В октябре этого года он писал Вяземскому: «Здесь (то есть в Одессе. — *Б. В.*) Стурдза монархический (видный русский политический и богословский мыслитель. — *Б. В.*); я с ним не только приятель, но кой о чем и мыслим одинаково, не лукавя друг перед другом» [90]. Стурдза оставил нам воспоминания об этих разговорах. Он сказал Пушкину: «Знаете ли вы, что в Евангелии... мы обретаем определение истинной свободы? Господь сказал: "познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32). Заключите же из сего божественного изречения, что где нет *внутренней* свободы, там нет и внешней. Собеседник мой при этих словах изъявил простодушное удивление и сердечное участие. Кто знает, не начал ли он с тех пор заглядывать почаще в св. Евангелие?» [91]

Пушкин, конечно, и до этого разговора со Стурдзой достаточно хорошо знал Евангелие. Евангелие — книга за се-

мью печатями: ее можно прекрасно знать, но не понимать и не принимать. Пушкин в этот период жизни не хотел понимать Евангелие в его традиционном (то есть дошедшем до нас по преданию) смысле. Примером может служить переосмысление Пушкиным в чисто политическом плане евангельской притчи о сеятеле, которую мы читаем в Евангелии от Матфея в главе 13-й. Эпиграф к своему стихотворению Пушкин взял из 4-го стиха этой главы.

В черновике упоминавшегося письма Тургеневу, в котором Пушкин послал ему это стихотворение и где назвал Христа «умеренным демократом», имеется следующее признание: «...на днях *закаялся*... обратился к Евангелию... и произнес сию притчу в подражание басне Иисусовой» [92].

Характерно, что к своему стихотворению Пушкин применял определение «притча», а евангельскую притчу назвал «басней» (!).

Но вместе с тем чтение такой книги, как Библия [93], не могло не влиять на Пушкина. Весной 1824 г. он писал своему верному корреспонденту Вяземскому: «...читая Шекспира и Библию, Святой Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы [94] и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он написал листов 1000, чтобы доказать, что не может быть существа разумного, творца и правителя, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная» [95].

Здесь многое заслуживает внимательного рассмотрения: признание Пушкина, что библейские священные книги, «Святой Дух» приходятся ему иногда «по сердцу», хотя они и стоят в явном противоречии с его склонностью одновременно к «афеизму», пускай системе и малоутешительной, «но более всего правдоподобной», наименование «Евгения Онегина» (к этому времени уже была начата третья глава) «романтической поэмой», если иметь в виду, что в «романтизме» Пушкин видел своеобразный литературный ате-

изм — «парнасский афеизм»[96]... Эти мысли в письме другу свидетельствуют о глубоком кризисе миросозерцания, наступившем у Пушкина в 1824 г.

ГЛАВА VII

МИХАЙЛОВСКИЙ ПУСТЫННИК

«Пора проступки юных дней загладить жизнию моей...»

В конце июля — начале августа 1824 г. Пушкин принужден выехать из Одессы в новую ссылку. Ему «повелено» было жить в деревне — в Михайловском Псковской губернии. А между тем в духовном состоянии его уже начался поворот. Еще в январе в Одессе им начаты «Цыганы», которых он и закончил тотчас по приезде в Михайловское. «Цыганы» были решительным осуждением байроническому и демоническому свободолюбивому герою, осуждением и вместе прощанием с ним.

«Оставь нас, *гордый* человек», — говорит старик-цыган, обращаясь к Алеко. Поэма «Цыганы» оказалась остро антибайронической. Вячеслав Иванов справедливо находил, что этим сочинением Пушкин открыл себе путь к оригинальному творчеству, в основе которого лежали русские национальные традиции, в том числе и религиозные. Это было разрывом с гордым индивидуализмом и предчувствием того, что спасение личности обретается в соборном начале. Жуковский на этот раз не понял Пушкина: «Я ничего не знаю совершеннее *по слогу* твоих "Цыган"! Но, милый друг, какая цель? Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое?»[1] Пушкин сделал вид, что не понял вопроса Жуковского: «Ты спрашиваешь, какая цель у Цыганов? вот на! Цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а всё невпопад»[2].

Однако в «Цыганах» есть и цель, и проблема, и притом проблема большая, — одна из тех, которые называются вечными и «проклятыми»: тема Судьбы, Рока, человеческих страстей. Эти вопросы могут быть решены только в плане религиозном. Они имеют кардинальное значение для миросозерцания человека, то или иное их решение определяет его практическое поведение. Учение Церкви и Евангелия о Божественном Промысле в судьбах мира и человека — отнюдь не школьный вопрос догматического богословия; учение о страстях и о борьбе с ними имеет большое практическое значение в духовной жизни, не только монашеской, но и всякого христианина. В позднейших литературно-критических статьях (30-х гг.) Пушкин будет живо интересоваться этими вопросами.

О духовном перевороте в этот период свидетельствуют общая направленность поэмы «Цыганы» и «Подражание Корану», над которыми Пушкин работал по приезде в Михайловское; о том же говорит заупокойная служба по Байрону. Пушкин начинает проявлять чисто христианское участие в судьбе несчастных людей. Так, он усиленно просит Жуковского похлопотать перед императрицей Марией Федоровной о восьмилетней девочке из Одессы: «Нельзя ли сиротку приютить?... Пошевели сердце Марии, поэт! и *оправдаем провиденье*» [3]. Провидение, осуществляющее свои цели через сердца добрых людей, — совсем новое слово в лексиконе Пушкина, понятие, весьма отличное от понятия рока-судьбы, которое Пушкин обычно употреблял в прошлые годы.

Его заботит судьба людей, пострадавших от наводнения в Петербурге. В письме брату он дает такое распоряжение: «Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег. Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного» [4].

О внутренних, сокровенных религиозных переживаниях Пушкина в Михайловском мы узнаем из письма княгине Вере Федоровне Вяземской. Он жалуется ей на отца —

Сергея Львовича, который обвинял его в том, что он совращает в неверие брата и сестру; между тем, его душевное настроение совсем не таково, как думает отец: «...утверждают, будто я проповедую атеизм сестре — небесному созданию — и брату — потешному юнцу, который восторгался моими стихами, но которому со мной явно скучно. *Одному Богу известно*, помышляю ли я *о Нем*» [5].

В этой фразе сказано очень много. Ее можно перефразировать так: «в глубине души я помышляю о Боге, душа моя испытывает духовную жажду, я ищу Его, но не хочу, чтобы об этом кто-либо знал». Такую искренность и откровенность Пушкин мог допустить только по отношению к княгине Вере, которая была в Одессе поверенной многих его переживаний, но никак не к князю, которому Пушкин не открывал интимных, тем более религиозных чувств и мыслей. В письмах к князю Пушкин нарочито циничен, то ли из застенчивости, то ли по привычке к браваде.

После переезда по приказанию властей из Одессы в Михайловское Пушкин оказался в семье родителей, в которой он не жил со дня поступления в Лицей. Он отвык от жизни в родной семье. Ссора с отцом полностью вывела его из себя, лишила равновесия и рассудительности — может быть, единственный случай в биографии поэта. Сгоряча он написал официальное письмо псковскому губернатору Адеркасу с просьбой перевести его в одну из крепостей по выбору государя-императора [6].

Тон письма его Жуковскому не только взволнованный, но прямо отчаянный: «Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я е г о б и л, х о т е л б и т ь, з а м а х н у л с я, м о г п р и б и т ь... Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра — еще раз *спаси меня*» [7].

Прасковья Александровна Осипова не дала хода пушкинскому прошению губернатору. Отец, брат и сестра вскоре уехали из Михайловского, и через короткое время, совер-

шенно успокоившись, Пушкин писал брату: «Скажи от меня Жуковскому, чтоб он помолчал о происшествиях ему известных. Я решительно не хочу выносить сору из Михайловской избы — и ты, душа, держи язык на привязи... Я тружусь во славу Корана...» [8]

Жуковский откликнулся письмом, в котором прямо выразил свои задушевные чувства младшему другу: «...не хочу отвечать, ибо не знаю, кого из вас обвинять и кого оправдывать... На все, что с тобой случилось и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ, ПОЭЗИЯ. Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач, у тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья и обратить в добро (выделено Жуковским. — *Б. В.*) заслуженное; ты более нежели кто-нибудь можешь и *обязан иметь нравственное достоинство*. Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждение. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега утопающему. Нет! Я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу, и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывет, если захочет сам. Плыви, силач! А я обнимаю тебя... По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе. И какое место, если с высокостью гения соединить и высокость цели! (выделено везде Жуковским. — *Б. В.*) Милый брат по Аполлону! Это тебе возможно! А с этим будешь недоступен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни» [9].

Письмо Жуковского резко выделяется по своему решительному тону из всех писем других друзей Пушкина, не исключая Чаадаева. «Ты... ОБЯЗАН ИМЕТЬ НРАВСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО!» Кто еще мог сказать это Пушкину? Ему шел к тому же двадцать шестой год! А менее чем через полгода Жуковский опять выговаривает ему: «...твоя слава... теперешняя никуда не годится... она не согласна с твоим достоинством» [10]. И еще письмо через три месяца: «...ты тратил ее (жизнь. — *Б. В.*) с недостойною тебя и оскорбительною

для нас расточительностью, тратил и физически и нравственно. Пора уняться!.. твоя судьба... должна быть достойна твоего гения и тех, которые, как я, знают ему цену, его любят и потому тебя *не оправдывают*» [11].

Пушкин не мог не считаться с Жуковским, который не перестал быть для него нравственным авторитетом. Реакции Пушкина на его письма были своеобразны, но всегда полны уважения и любви... Он писал: «Что за прелесть чертовская его небесная душа! Он святой, хотя родился романтиком, а не греком, и *человеком*, да каким еще!» [12]; «Жуковский со мной так проказит, что нельзя его не обожать и не сердиться на него» [13].

Опять, как в лицейские годы, образ Жуковского стоит перед нравственным взором Пушкина. Жуковский внимательно следит за каждым шагом его духовного продвижения — как любящая мать и в то же время как нелицеприятный судья.

«Отче, в руце твои предаю дух мой... — отвечал ему Пушкин словами Евангелия от Луки, — светлая душа... согласен, что жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму, но вообще она была элегией в роде Коншина» [14], то есть, иначе говоря, бездарной, скучной элегией... Так безоговорочно соглашался Пушкин со словами Жуковского, что «слава твоя никуда не годится... она не согласна с твоим достоинством». В свою очередь, Пушкин зорко оберегал имя Жуковского. Он твердо защищал его перед друзьями, даже когда те нападали на него по вопросам чисто литературным: «...не совсем соглашаюсь с строгим приговором о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности...»

Таким же голосом совести, и подчас не безмолвным судьей, была и няня Арина Родионовна. Она была в Михайловском Пушкину не только «единственной подругой» [15], но и человеком, который, несомненно, имел на своего воспитанника нравственное и религиозное влияние. Он видел в ней представительницу народа, историей которого он глубоко интересовался и гордился. «...Слушаю сказки — и вознаг-

раждаю тем недостатки *проклятого своего воспитания.* Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!» [16]

А вот наставление няни, которое она на тех же правах друга (пусть и крепостная!), что и Жуковский, послала Пушкину, когда он покинул Михайловское: «Любезный мой друг Александр Сергеевич... за ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, *поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится»* [17].

Крепкие нравственные устои няни импонировали Пушкину. Он воспинимал их как традиции национальные [18].

Под влиянием Жуковского, няни, окружавшей его народной среды (в том числе и священника Шкоды, с которым Пушкин поддерживал приятельские отношения), проходила быстрая моральная, политическая и религиозная эволюция взглядов Пушкина. Осенью первого года жизни в Михайловском, вероятно, после отъезда Сергея Львовича, Пушкин начал четвертую главу «Евгения Онегина». В автобиографических строфах поэмы, выкинутых поэтом перед публикацией, мы видим моральную переоценку прожитой жизни.

О герое поэмы Евгении он писал в чисто повествовательном стиле:

Он в первой юности своей
Был жертвой бурных заблуждений
И необузданных страстей [19].

А в откинутой строфе улавливаем бесспорно личную интонацию:

Страстей мятежные заботы
Прошли, не возвратятся вновь!
. . . .
Пустая красота порока
Блестит и нравится до срока.
Пора проступки юных дней
Загладить жизнию моей! [20]

Все эти проступки юности он склонен относить за счет недостатков полученного им полуфранцузского, далекого от народной жизни воспитания. Он пишет брату: «...пришли мне... портрет Чаадаева... Не забудь Ф о н - В и з и н а писать Ф о н в и з и н. Что он за нехрист? он русский, из

перерусских русский»[21]. В интересующем нас плане это замечание о Фонвизине («Что он за *нехрист?*») в одном письме с просьбой прислать портрет Чаадаева, которому он был обязан своим нравственным и интеллектуальным воспитанием, очень симптоматично! Пушкин хотел быть русским в полном значении этого слова: не только по рождению, но и по духовной традиции.

В следующем письме он настойчиво просит прислать ему Библию: «Отправь с Михайлом все, что уцелело от Александрийского пожара (от наводнения в Петербурге. — *Б. В.*), да книги, о которых упоминаю в письме с сестрой. Библию, Библию! и французскую непременно»[22]. 4 декабря он опять пишет брату: «Михайло привез мне все благополучно, а Библии нет. *Библия для христианина то же, что история для народа*»[23].

Это уже вполне серьезное высказывние, предвосхищающее позднейшее об истории европейских народов: «История новейшая есть история христианства»[24].

«Сладостный Коран»

«Подражания Корану» Пушкин писал в ноябре того же 1824 г. в Тригорском, куда он переехал после серьезной размолвки с отцом. Пушкин начал читать Коран еще на юге, на берегу моря, в связи с работой над «Бахчисарайским фонтаном».

> В пещере тайной, *в день гоненья,*
> Читал я *сладостный* Коран...[25]

И тогда, и теперь, в Тригорском, это чтение служило ему духовным утешением. Трудясь «во славу Корана», он скоро успокоился от тяжких семейных размолвок.

Не будем спорить о том, насколько объективно отразили «Подражания Корану» содержание священной книги мусульман[26]. Но мне кажется, что для всякого критика, свободного от предубеждения, ясно, что «Подражания» пропитаны глубоким, искренним религиозным и моральным чувством. Отрицать это могут только слепые. Но замеча-

тельно и значительно другое — то, что эта религиозно-нравственная поэзия неразрывно переплетена с пушкинской автобиографической лирикой. Она прошла через душу Пушкина. Нельзя не согласиться с Б. В. Томашевским, утверждающим, что «Подражания Корану» являются «лирическим циклом Пушкина, в котором поставлены основные вопросы, возникшие перед поэтом, вслед за преодолением романтических настроений», что «в "Подражаниях" отразилась *вера* в силу поэтического слова... подчеркнута тема *поэтической проповеди* и уверенность в конечной победе истин, провозглашенных поэтом» [27]. Но вместе с тем Б. В. Томашевский категорично утверждает: «Религиозное истолкование «Подражаний Корану» должно быть решительно отброшено» [28]. Есть какая-то узкая односторонность и предвзятость в такого рода заявлении! В занятиях Пушкиным Кораном имел место не только поэтический интерес к нему как к крупнейшему мусульманскому литературному памятнику, но и как к памятнику религиозному. Содержание отдельных глав «Подражаний Корану» ясно показывает, что поэт выбрал ключевые *религиозные* темы книги.

Вот эти темы:

1. Божественное призвание Магомета к пророческому служению:

> Не Я ль в день жажды напоил
> Тебя пустынными водами?

2. Высокая моральная цель пророческого служения:

> . . . . презирай обман,
> Стезею правды бодро следуй...

3. Глубоко личная цель пророческого служения:

> Нет, не покинул Я тебя.
> Кого же в сень успокоенья
> Я ввел, главу его любя,
> И скрыл от зоркого гоненья?

4. Пророк — глашатай истины:

> С небесной книги список дан
> Тебе, пророк...

5. Высокое учение о Едином милосердном Боге — проповедь библейского монотеизма:

Земля недвижна — неба своды,
Творец, поддержаны Тобой...

6. Учение об абсолютном превосходстве Творца над дьяволом:

С Тобою древле, о всесильный,
Могучий состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но Ты, Господь, его смирил.

7. Учение о человеке как существе падшем и бесконечно слабом:

Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился,
Что дышит он недолгий век,
Что слаб умрет, как слаб родился?

8. Учение о Страшном Суде и всеобщем Воскресении:

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
. . . .
И все пред Бога притекут...
. . . .
И чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось...

9. Учение о нравственной высоте самопожертвования и социального служения:

Блаженны падшие в сраженьи:
Теперь они вошли в Эдем...

10. Похвала от Бога человеку, щедро творящему милостыню:

Щедрота полная угодна небесам.
. . . .
Но если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань —
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
    Что с камня моет дождь обильный,
Исчезнут — Господом отверженная дань.

11. Учение о творческой плодоносности пророческого слова:

В день грозного суда, подобно ниве тучной,
О сеятель благополучный!
Сторицею воздаст она твоим трудам.

12. Радостное, оптимистическое признание Промысла Божия в земной жизни человека:

Святые восторги наполнили грудь:
И с Богом он дале пускается в путь.

Итак, перечисление показывает, что поэтом были выбраны из Корана догматические и религиозно-нравственные темы, причем именно те, которые перекликаются с христианством.

Если поставить вопрос о личном отношении поэта к духовному учению Корана, следует, по меньшей мере, признать: не только моральные истины Корана были близки и «по сердцу» Пушкину, дорог был ему и профетический пафос. О пророческом характере поэтического служения Пушкин уже говорил раньше. Он видел его и в собственном творчестве и в поэзии Дельвига. Об этом в полный голос он вскоре скажет в «Пророке».

Биографические данные, которыми мы располагаем, отнюдь не дают нам уверенности в том, что Пушкин в дни создания «Подражаний Корану» разделял религиозное мировоззрение, выраженное в этой мусульманской книге. Нет! Но нельзя согласиться с Б. В. Томашевским, утверждающим, что Пушкин, когда писал свои «Подражания», оставался непреклонен в своем атеизме. Да, Пушкин хранил «про самого себя» свой «образ мыслей, политический и религиозный» [29]; да, он не давал никаких обещаний относительно своего поведения ни Жуковскому, ни друзьям, ни правительству; он ограничился тем, что написал Жуковскому, что он «не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» [30]. Но напомню, что в том же полуофициальном письме Жуковскому от 7 марта 1826 г., написанном, чтобы дать Василию Андреевичу возможность похлопотать перед новым царем, Пушкин писал: «Его вели-

чество, исключив меня из службы, приказал сослать в деревню за письмо, писанное года три тому назад, в котором находилось *суждение об афеизме, суждение легкомысленное, достойное, конечно, всякого порицания»* [31].

Думаю, что Пушкин, который не побоялся вскоре признаться Николаю I в том, что он был бы на Сенатской площади вместе с восставшими, если бы в тот день находился в Петербурге, едва ли так легко отказался бы от своего суждения об атеизме, как о системе «к несчастию, более всего правдоподобной», если бы по-прежнему разделял этот взгляд. Уместно также напомнить (о чем уже не раз говорилось) и обедню за упокой души Байрона, и письмо княгине Вяземской, где были слова недвусмысленные: «*Одному Богу известно, помышляю ли я о Нем»* [32].

Итак, во время пребывания в Михайловском в душе поэта протекал глубинный духовный процесс; взгляды его менялись, и потому творчество того времени нельзя понять, не учитывая *направленности* этого процесса. Этой направленности, к сожалению, не хотят замечать, как и Б. В. Томашевский, многие видные пушкинисты.

«И не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости...» 1825

Ссылку в Михайловское Пушкин воспринимал как высшее проявление не только несправедливости (многие из приятелей, например, Кравцов, отличавшийся не меньшим свободомыслием в отношении религии, получили, тем не менее, высокие назначения), но и жестокости. Пушкин указывал на римского императора Тиберия, отменившего постановление Сената о заточении некоего Вибия Серена на безводном острове, так как «человека, коему дарована жизнь, не должно лишать способов к поддержанию жизни» [33].

В апреле он писал царю: «Я почел бы своим долгом переносить мою опалу в почтительном молчании, если бы необходимость не побудила меня нарушить его» [34].

Гордое несение опалы было для Пушкина основным принципом поведения в Михайловском, его «религией». «...Это моя религия; я уже не фанатик, но все еще набожен. Не отнимай, — писал он Вяземскому, — у схимника надежду рая и страх ада»[35]. Но это был только горький юмор, так как в июле 1825 г. он написал второе письмо Александру I в объяснение своего оппозиционного поведения перед высылкой из Петербурга в 1820 г. По пушкинской версии, это была сознательная реакция с его стороны на клеветнический слух, распространившийся в столице, будто он был подвергнут порке в Третьем отделении. Для реабилитации в глазах общества Пушкин добивался такой своей вызывающей позицией открытой репрессии. В сентябре под влиянием Вяземского[36] и Жуковского он сделал еще один шаг: он соглашался «отослать» Карамзину свой красный «цветной» колпак, «который полно мне таскать», в обмен на железный колпак юродивого: «В самом деле, не пойти ли мне в юродивые, авось буду блаженнее!»[37]. Это решение зрело в Пушкине, когда он писал вторую часть «Бориса Годунова».

Но еще до завершения трагедии («Годунов» окончен 7 ноября 1825 г.), на которую Пушкин и Жуковский возлагали большие надежды в отношении «искупления» пушкинской вины и снятия с него опалы, Пушкин открыто высказал свое желание примириться с царем в стихотворении «19 октября» (19 октября — годовщина лицейского выпуска):

Ура, наш царь! так! выпьем за царя!
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей[38].

Парадоксально, что именно эти строки из всего довольно длинного стихотворения были запрещены цензурой, которая и в этом, как и во многих других случаях, подрывала основы того, чему призвана была служить.

В стихотворении Пушкин пророчески предвидел свое возвращение в Петербург через год:

Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!

Действительно, 8 сентября 1826 г. он был привезен фельдъегерем в столицу к новому царю.

Стихотворение это показательно не только для политической позиции Пушкина за два месяца до выступления декабристов. Оно знаменательно также в моральном плане и даже в плане религиозном.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он *как душа неразделим и вечен...*

В последнем стихе звучит твердое убеждение поэта в вечности и «простоте» души как духовной сущности. К этому выводу Пушкин пришел после долгих и мучительных сомнений в бессмертии души. Эти сомнения владели поэтом еще в конце пребывания в Лицее, а затем на юге России в 1821—1823 гг. Временами они звучали как решительное утверждение, что за гробом человека ждет небытие:

Ничтожество меня за гробом ожидает...[39]

В стихотворении «19 октября» 1825 г. слышится спокойно продуманное и прочувствованное противоположное утверждение *вечности* души.

Значительно это стихотворение и со стороны заключенных в нем моральных суждений.

«Свой дар как жизнь я тратил без вниманья...», — с сожалением признается Пушкин, вспоминая свое прошлое.

В нравственном плане необходимо отметить отказ Пушкина от гордой и непримиримой позиции в отношении к царю, тогда как еще недавно он видел в этой непримиримости свою «религию».

В конце 1825 г. Пушкин закончил четвертую главу «Евгения Онегина». В эпиграфе ее стояло изречение, взятое у французской писательницы де Сталь: «Нравственность находится в природе самих вещей». Эпиграф побудил Пушкина исключить первые шесть строф из начала главы. В этих

строфах содержалась отрицательная характеристика женщин и женского общества, отражалось негативное отношение Пушкина к браку. Эту неприязнь к браку Пушкин всегда при удобном поводе подчеркивал в письмах к друзьям с 1824 г. и вплоть до конца 1825 г. В одной из выпущенных строф четвертой главы есть следующее автобиографическое признание:

Во мне уж сердце охладело,
Закрылось для любви оно,
И все в нем пусто и темно.

Эта разочарованная, унылая нота будет сопровождать отношение Пушкина ко всем его невестам в 1827—1828 гг., не исключая и Наталии Гончаровой.

Иначе и не могло быть! Пушкин не принимал брака как священного установления обоих Заветов (Ветхого и Нового); практически путь к браку открылся ему только тогда, когда он принес покаяние во всех заблуждениях юности.

Взгляд Пушкина на такой важнейший для религиозного мировоззрения предмет, как Божественный Промысл в судьбах мира и человека, оставался по-прежнему отрицательным. В письме Вяземскому от мая 1826 г. он высказывает мнение о судьбах человеческих, вполне достойное вольнодумцев XVIII в., несмотря на то, что проникнутая религиозным мироощущением сцена «Келья в Чудовом монастыре» была уже написана.

В эти дни Пушкин получил от Вяземского известие, что он и жена имели несчастие лишиться трехлетнего сына. Из пяти сыновей — остается один, «...скучно, грустно, душно, тяжко...» [40], — писал Вяземский. Пушкин отвечал: «Судьба не перестает с тобою проказить. Не сердись на нее, *не ведает бо, что творит*. Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто. Делать нечего, так и говорить нечего» [41].

Выделенные слова, как ни парадоксально это в пушкинском контексте, — слова молитвы Иисуса о римских воинах, распинавших Его на кресте: «Иисус же глаголаше: Отче, отпусти им; не ведают бо, что творят» (Евангелие от Луки, глава 23, стих 34). Пушкин применил эти слова к

бессмысленной «обезьяне» — животному, не ответственному за свои действия. Этим он выразил свое неверие в Промысл и вместе с тем свой отрицательный взгляд на жизнь. Она — игралище слепых сил и не имеет смысла, так как управляется не высшим духовным началом, а обезьяной. В мире нет Логоса, нет Разума!

Эта установка не позволила поэту, душа которого умела так живо и глубоко откликаться на все человеческое, сказать слова утешения другу, который разделял воззрения материалистических философов XVIII в. на жизнь. Письмо Пушкина князю Вяземскому своим холодным тоном стиснувшего зубы, до конца неверующего человека сильно отличается от письма княгине Вере. Применялся ли Пушкин к адресату, когда писал эти жесткие слова, или собственная душа его была в те дни не менее темна?

Всеподданнейшее письмо новому императору Николаю, написанное в этих же примерно числах, говорит как будто о том, что религиозные взгляды Пушкина еще очень далеки от ортодоксальных, несмотря на сильные изменения других сторон его мироощущения за время пребывания в Михайловском.

В письме к императору он дает обещание «с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом)» [42]. О каких «мнениях» идет речь в этом послании, становится ясно из письма Пушкина В. А. Жуковскому, отправленному тремя месяцами ранее. «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и *религиозный*, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» [43].

ГЛАВА VIII

«И БОГА ГЛАС КО МНЕ ВОЗЗВАЛ»

«Пророк»
1826 —1828

Первая редакция «Пророка» начиналась, как доказывает Д. Д. Благой [1], следующими двумя стихами:

Великой скорбию томим,
В пустыне мрачной я влачился...

Эти слова полностью соответствовали переживаниям Пушкина [2] под впечатлением совершившейся казни пяти декабристов (13 июля 1826 г.), среди которых Бестужев и Рылеев были его друзьями, а Пестель — близко знаком по встречам в Кишиневе.

Как известно, авторская рукопись «Пророка» до нас не дошла, но на имеющейся в нашем распоряжении копии стоит дата «8 сентября 1826 г.». «Пророк», таким образом, вероятнее всего, был написан во второй половине июля или в начале августа этого года. В письме Вяземскому Пушкин одобряет, что его друг продолжает работать над стихами, так как «ныне каждый порыв из вещественности — драгоценен для души» [3]. Не служит ли эта реплика основанием для предположения, что именно в эти дни Пушкин обратился к чтению пророка Исайи, ища в нем отвлечения от страшной действительности, а может быть, и ее разъяснения?

Деятельность древнееврейских пророков — «свидетелей» Бога и Его посланников — была не только религиозной. Она исполнена политического и социального пафоса. Эту социальную сторону пророческих книг чутко уловил Пушкин. Призвание поэта — пророческое. Так мыслил Пушкин не только о себе, но, как уже говорилось, о друге своем Дельвиге. Что касается даты, поставленной им на рукописи «Пророка», то именно в тот день Пушкин был привезен в сопровождении фельдъегеря в столицу, во дворец, по вызову

нового императора Николая I.

Привожу текст «Пророка» в его первоначальной редакции:

Пророк

Великой *скорбию* томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Даже в редакции 1826 г. «Пророк» определил тот фарватер, по которому будет следовать творчество Пушкина к последнему периоду — 1830—1837 гг. Когда Пушкин писал это стихотворение, образ пророка в его сознании был тесно

связан с представлением о национальном поэте. В посланиях этого года Пушкин часто называет себя пророком[4]. И все же созданный им образ далеко вышел за рамки изображения вдохновенного поэта, а вдохновение пророка вышло за границу творческого вдохновения и поднялось до такой высоты, на которой природа ветхого человека, «тлеющего в похотях», подвергается благодатному преображению.

Думается, что самое сильное истолкование этого стихотворения Пушкина было дано Соханской в ее этюде сороковых годов прошлого века «Степной цветок на могилу Пушкина»:

«Никакая поэзия нигде и никогда не производила создания более высокого, более мирового по содержанию, как это. В нем выражено благодатное обновление человеческого духа и восприятие им даров высшей духовной жизни. Оно одно, само по себе, может называться величайшей священной эпопеей. И какое величие! Какая могучесть поэзии!

Небеса в мрачной пустыне, сошедшие на землю, взывающий голос... Бога; и человек, досягнувший до неба и слышащий смертным ухом горний полет ангелов! Поэзия не может идти далее сего, потому что ничего не может быть более возвышенного. Посмотрите, какая широта первого удара кисти! — безмолвие лежащей вокруг пустыни — и человек, томящийся в ней неутолимой духовной жаждой. О, благодатная жажда! Шестикрылый серафим является утолить ее... Но нет! Дух человека в царственном величии его природы немногим меньше самого ангела — духа. Серафим не может утолить жажды человеческого духа. Он приступил только для того, чтобы ангельским устроением приготовить сосуд, достойный вместить ожидающее его *божественное* напоение. Трепет проникает в душу! Начинается полное обновление растленного сосуда нашего духа. Легкое, как сон, прикосновение серафима снимает кору ослепления с глаз, и, во внезапном лучезарном свете, прозревший человек смотрит, как орлица, которую испугал блеск молний посреди царственной ночи.

Одно чудо совершилось, и... начинается за ним другое. Обоих ушей коснулся серафим — и ранее неслыханные зву-

ки земли и неба стали слышимы в хвалебном хоре Творцу. Но этого обновления еще мало. Даже серафимское прикосновение не в силах оживить растленный до конца лукавством и празднословием язык! Он — оружие величайшего дара, данного человеку — *Слова*, и серафим вырывает его. Кровавой десницей насаждает он в омертвевшие уста новый орган, подобный жалу мудрой змеи.

И далее меч сверкнул в руках серафима. Рассеченная грудь отдает свое глубоко скрытое сердце, так много страстно трепетавшее в нечистых восторгах перед кумирами бесов [5] и охладевшее под ядовитым дыханием демона сомнения и отрицания. Серфим влагает на его место пламенный угль и отступает. Он окончил свое приготовительное дело. Как труп лежит человек в пустыне.

Вникните в неизмеримое величие этого образа. Серафим отступает, чтобы оставить человека один на один с Богом, чтобы не быть посредником в деле прямого и непосредственного восприятия человеком наивысших даров благодати. Один Бог и один человек в безмолвствующей пустыне. "И Бога глас ко мне воззвал: восстань, пророк!.." Совершилось полное воздвижение падшего человека и посвящение его на высочайшее, доступное человеческому духу, пророческое служение.

"И виждь, и внемли" — этими словами утверждаются за человеком полученные дары сверхъестественного прозрения и слуха, которые делаются как бы вещественными органами пророческого служения.

"Исполнись волею Моей..." — вот совершилось божественное утоление духовной жажды — полнейшее излияние божественной воли в грудь пророка. И наконец, за сим следует торжественное Божие веление выйти на всемирное благодатное служение людям в их земной жизни:

И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Здесь конец высокого создания Пушкина».

Интерпретация Сохансвой — прекрасный и очень убедительный документ, свидетельствующий о том, как был воспринят «Пророк» одаренной девушкой, воспитанной в

закрытом институте, получившей в достаточной мере религиозное воспитание и обладавшей незаурядным литературным талантом. Эта девушка чутко восприняла в «Пророке» то его библейское, духовное содержание, которое еще ранее так ярко себя проявило в пушкинских «Подражаниях Корану». Работая над Кораном и над Книгой пророка Исайи, Пушкин отразил, как гениальный и свободный мастер, высокое религиозное содержание этих священных книг.

Поднявшись на эту высоту умозрения, поэт, однако, не смог удержаться на ней. Миросозерцание его еще не имело твердой религиозно-философской основы; личная жизнь была неустроена, страсти по-прежнему владели им.

Привезенный фельдъегерем в столицу, Пушкин вступает в политическое соглашение с новым императором. Он освобождается из ссылки и погружается в омут светской жизни обеих столиц. Он сам лучше всех понимал, какая пропасть зияла между «Пророком» и буднями его жизни.

Очень скоро Пушкина потянуло в Михайловское, к месту бывшей ссылки, где он жил такой интенсивной и сосредоточенной творческой жизнью. Уже в ноябре он добровольно возвращается в свою деревню, откуда так страстно три месяца назад рвался на свободу. Здесь он работает над запиской «О воспитании», составить которую ему поручил царь...

В середине декабря 1826 г. Пушкин опять в Москве. Он включается в ее литературную жизнь, начинает сотрудничать в журнале Погодина «Московский вестник», вокруг которого старается собрать близких ему литераторов — Языкова, Дельвига, Туманского. Окружающую его обстановку он описывает Каверину: «...наша съезжая в исправности — частный пристав Соболевский бранится и дерется попрежнему...» [6] И в письме Туманскому: «...надеюсь на тебя, как на каменную стену — Погодин не что иное, как имя, звук пустой — дух же я, т. е. мы все, православные. Подкрепи нас прозою твоею и утешь стихами» [7].

Во второй свой приезд в Михайловское, в августе следующего, 1827 г., он пишет стихотворение «Поэт», в котором снова поднимает тему своего «Пророка»:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
. . . .
Молчит его *святая лира*...
. . . .

Но лишь *божественный глагол*
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел [8].

И тут, как в «Пророке», речь идет о «божественном глаголе», о «гласе Бога», призывающего к словесному жертвоприношению; но в «Пророке» «*глас*» исходит от Бога Корана и от Единого Бога Ветхого Завета, Бога Израиля, в то время как в «Поэте» — от эллинского бога Аполлона.

Таким образом, поэтические образы, которые жили в Пушкине, когда он писал «Поэта», так же, как и образы его «Вакхической песни» (1825), возвращают нас к знакомым метафорам лицейского периода творчества — возвращают в Дельфы. Имена богов — это не просто клички, но, как учит нас философия имени [9], нечто значительно большее. Это духовные силы, активно и вполне реально действующие в мире. Смена имен служит указанием на значительные сдвиги в духовной жизни и в миросозерцании человека. Так, через три года Пушкин назовет Аполлона уже не богом, а «бесом», а статую его в царскосельском парке «идолом» [10].

«Пророк» был напечатан в 1828 г. в третьем номере «Московского вестника» [11], и в первую строку Пушкин внес существенное изменение. Вместо «Великой скорбию томим» он поставил:

Духовной жаждою томим.

Как будто бы небольшая поправка придала стихотворению несравненно большую глубину. Духовная жажда, почти забытая современным человеком, побуждала говорить древнееврейских пророков. Ее имел в виду Христос, когда беседовал у колодца с самарянкой. Эта женщина с водоносами на плечах никак не могла понять духовно-символического языка Иисуса: «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять,

а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; *но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную*» (Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 13-14). Об этой «духовной жажде» Пушкин громко сказал в окончательной редакции [12] «Пророка» (1828). Адам Мицкевич, который в 1828 г. встречался с Пушкиным в Москве [13], говорит: «Он любил обращать в обществе рассуждения на высокие вопросы, религиозные и общественные, о существовании коих соотечественники его, казалось, и понятия не имели. *Очевидно, поддавался он внутреннему преобразованию*» [14].

Д. Д. Благой не отрицает библейской «одежды» «Пророка», иначе говоря, *указывает на наличие религиозных образов и религиозного языка* в «Пророке», но он не дает анализа этого произведения, ограничиваясь библиографическими справками. Пользуясь тем, что авторская рукопись до нас не дошла, он строит плохо обоснованную гипотезу о том, что «Пророк» кончался «возмутительным» четверостишием:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись.
Иди, и с вервием вкруг шеи
К убийце гнусному явись [15].

Если принять дату написания «Пророка» (август 1826 г.), то основным возражением против гипотезы Благого служит тот факт, что Пушкин не позже половины июня 1826 г. дал честное слово Николаю I «не противуречить моими мнениями общепринятому порядку» [16], сохранять политическую благонадежность.

Записка «О воспитании», представленная Пушкиным Бенкендорфу 15 ноября 1826 г., также свидетельствует о его лояльности. Пушкин предлагает царю исключать из закрытых учебных заведений тех воспитанников, которые будут уличены в распространении «подпольных возмутительных рукописей».

Что касается художественного уровня приведенного четверостишия, то нужно удивляться тому, что некоторые современники находили возможным приписывать его авторство

Пушкину. Во всяком случае, оно никак не стоит на уровне остальных строк «Пророка» и даже не приближается к нему. Недаром поэт с огорчением писал Вяземскому, считавшему его автором глупых и злобных эпиграмм на Карамзина: «Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю. ...Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова» [17].

ГЛАВА IX

«НА БЕРЕГ ВЫБРОШЕН ГРОЗОЮ»

«Не все я в небе ненавидел...»
8 сентября 1826 — январь 1829

Николай Павлович после двухчасового разговора с глазу на глаз с Пушкиным вышел в приемную и объявил: «Вот вам новый Пушкин...»

После свидания с царем внешняя обстановка жизни поэта резко изменилась. Из почти полного одиночества в деревне он мгновенно окунулся в шумную жизнь Москвы, ожидавшей коронации. Встреча с П. А. Вяземским, с которым не виделся более шести лет; встреча с молодым поколением славянофилов, в том числе и Иваном Киреевским; чтение «Бориса Годунова» у Веневитинова и в других домах (в присутствии П. Я. Чаадаева, А. С. Хомякова); близкое соприкосновение с простым народом на праздниках по случаю коронации; новое знакомство с московским обществом на балах и в театре, где он оказывался в центре внимания, — все это сменило михайловскую сосредоточенную тишину. Осуществилось то, о чем он так страстно и настойчиво мечтал в ссылке: быть в столице. Тем более замечательно, что уже через восемь дней он устал от «нескладицы» своего московского образа жизни и начал мечтать о возвращении в Михайловское. В письме к П. А. Осиповой он обещает вы-

ехать назад в Тригорское не позднее, чем через две недели. За время краткого пребывания в Москве он успел влюбиться в Софью Федоровну Пушкину и, полностью забыв отрицательные взгляды на брак, умолял Зубкова, женатого на сестре Софьи Федоровны, уговорить ее выйти за него замуж. «Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее Паниным скверным и *жени меня*» [1].

Каков я прежде был, таков и ныне я:
Беспечный, влюбчивый...
. . . .
А не исправленный стократною обидой,
Я новым идолам несу мои мольбы... [2]

По дороге в Михайловское из Торжка он писал княгине Вере Вяземской: «С. П. (то есть Софья Пушкина. — *Б. В.*) — мой добрый ангел; но другая — мой демон; это как нельзя более некстати смущает меня в моих поэтических и любовных размышлениях» [3].

В этих переживаниях и раздумьях нельзя не видеть зерна пушкинского «Ангела» [4]. Если бы мы знали точную дату создания этого поэтического произведения, можно было бы не сомневаться, что оно навеяно «любовными размышлениями», о которых Пушкин писал княгине Вере. Стихотворение построено на противопоставлении демонического и ангельского начал. Если в «Демоне» носителем демонического содержания современники не без основания видели Александра Раевского, то в 1826 г. таким воплощением демонического была Анна Вульф, а ангельского — Софья Пушкина. (Письма Анны Вульф к Пушкину сохранились [5], его письма она сожгла.) Это предположение подкрепляется тем, что Пушкин часто называл любимую женщину ангелом. Так, в пьесе «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день», 1828) он пишет:

Две тени милые, — два данные судьбой
Мне *ангела* во дни былые.
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут... и мстят мне оба... [6]

Одна из этих «милых теней» — Амалия Ризнич, другую затрудняюсь назвать, но оба «ангела», хотя и с крыльями,

были земными женщинами. И все же стихотворение «Ангел», так же, как и «Демон», выходит за рамки земных реалий. В нем нельзя не видеть важного этапа духовного пути Пушкина. «Демон» написан в 1823 г., когда Пушкин в своем сердце разоблачил «мрачного и мятежного» духа, который искушал Провидение «неистощимой клеветою»; тогда он называл его «злобным гением». Теперь, в 1827 г., Пушкин сделал следующий, очень важный в духовной жизни человека шаг: его духовному взору предстал «ангел нежный», и увидев его должен был признать:

Не все я в небе ненавидел,
Не все я в мире презирал.

В душе Пушкина в годы михайловской ссылки и в первые годы после снятия опалы боролись два взаимно исключающих чувства: любовь к своему народу и соотечественникам, соединявшаяся с национальной гордостью, и одновременно... глубокое, холодное презрение к людям, и к своим соотечественникам, в частности:

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не *презирать* людей...[7]

Такие чувства питал к людям Пушкин в 1823 г., работая в Одессе над первой песней «Онегина».

В мае 1827 г. он писал Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство»[8].

Так же реагировал он и на слова Плетнева, который ужасался поведению людей: «Плетнев, душа моя! что тут страшного? Люди — сиречь *дрянь*, говно. Плюнь на них да и квит»[9].

В стихотворении «Ангел» тяжелому разочарованию в людях и в жизни, проявлявшемуся так настойчиво в годы после Михайловской ссылки, противопоставлено библейское восприятие мира и человека как безусловной ценности. «Ангел», так же, как и «Демон» и «Пророк», бесспорно имеет глубокое религиозно-философское содержание. Пушкин «увидел» ангела в «дверях Эдема», то есть так, как о том повествует Книга Бытия: «И выслал его (Адама) Господь Бог

из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского *Херувима* и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Книга Бытия, глава 3, стихи 23-24). Еще два года назад Пушкин говорил: «Не могу вообразить рая»[10]; теперь он увидел ангела «в дверях Эдема»:

В дверях Эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал[11].

Пусть о рае Пушкин говорил в письме к женщине, которой увлекался, и сказал об этом как бы мимоходом, все же это не было шуткой: он действительно не мог понять, что такое рай. Теперь он увидел это в другом свете, увидел «впервые». Если ранее он видел только «злобного гения» — «мрачного и мятежного демона», летавшего над *адской бездной*, то теперь увидел «чистого духа», «нежного ангела», увидел не менее реально (в духовном плане) и не менее убедительно, чем видел ранее «мрачного демона».

Перемена взглядов Пушкина на рай и будущую жизнь видна и в письме П. А. Осиповой из Болдина в 1830 г. Он говорит в нем о рае и вечности не своими словами, а словами Рабле, но и в этом цитировании мы не чувствуем того безусловного отрицания, какое звучит в письме к Керн.

«Сочувствовать счастью, — пишет Пушкин, — может только весьма благородная и бескорыстная душа. Но счастье... это великое "быть может", как говорил Рабле о рае или о вечности...»[12]

Вопрос о смысле жизни, о наличии в ней истинной ценности очень остро стоял перед Пушкиным осенью 1826 г. Этот вопрос решался им в глубоком историко-культурном и религиозно-философском плане. Именно так он поставлен в незаконченном произведении этого года «В еврейской хижине лампада», над которым Пушкин работал осенью в Михайловском. Замысел этого стихотворения впервые получил для нас ясные очертания после того, как Т. Г. Цявловская связала запись в дневнике Франтишека Малевского о высказывании Пушкина на вечере у Н. А. Полевого с незаконченным его стихотворением «В еврейской хижине лампада» [13]. Это произведение Пушкина малоизвестно, и я приведу его целиком:

В еврейской хижине лампада
В одном углу бледна горит,
Перед лампадою старик
Читает Библию. Седые
На книгу падают власы.
Над колыбелию пустой
Еврейка плачет молодая.
Сидит в другом углу, главой
Поникнув, молодой еврей,
Глубоко в думу погруженный.
В печальной хижине старушка
Готовит позднюю трапезу.
Старик, закрыв святую книгу,
Застежки медные сомкнул.
Старуха ставит бедный ужин
На стол и всю семью зовет.
Никто нейдет, забыв о пище.
Текут в безмолвии часы.
Уснуло все под сенью ночи.
Еврейской хижины одной
Не посетил отрадный сон.
На колокольне городской
Бьет полночь. — Вдруг рукой тяжелой
Стучатся к ним. Семья вздрогнула,
Младой еврей встает и дверь

С недоуменьем отворяет —
И входит незнакомый странник.
В его руке дорожный посох [14].

Вошедший странник, как это теперь выяснилось, по замыслу Пушкина, Агасфер средневековой легенды — так называемый «вечный жид», или «странствующий жид» — легендарный персонаж, иерусалимский иудей, осужденный Богом не увидеть смерти и скитаться по земле до второго пришествия Христа. Он был осужден на эту длительную земную жизнь, согласно легенде, за то, что издевался над Христом, даже толкнул Его, когда Тот, изнемогая под тяжестью креста, поднимался на Голгофу к месту казни.

Странник, которому было оказано гостеприимство, открывает себя семье, потерявшей ребенка и погруженной в горе. Какое же утешенье предлагает странник своим соплеменникам? «Не плачь, не смерть, а жизнь ужасна». К этому безрадостному выводу привел его опыт почти двухтысячелетней жизни. Основной пафос задуманного Пушкиным произведения, как справедливо пишет Д. Д. Благой [15], заключается в формуле, которую поэт вкладывает в уста Агасфера: «не смерть, а жизнь ужасна». Однако трудно согласиться с Д. Д. Благим, что в эту формулу отливаются «мрачные раздумья и чувства» Пушкина как отражение «безысходного отчаяния, тяжелой безнадежной тоски, которые охватили наиболее мыслящие передовые круги русского общества». Пушкин как историк понимал полную бесперспективность заговора, который можно было подавить в несколько минут тремя залпами картечи...

Но на будущее России Пушкин смотрел бодро. Не он ли, трезво взвесив политическую ситуацию после разгрома декабристов, заключил с царем негласное соглашение и подал ему руку? Не он ли, вернувшись из Михайловского, написал «Стансы»:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни... [16]

Следует принять также во внимание, что в декабрьские дни 1826 г. Пушкин размышлял не только о земном бессмертии, которое оборачивается тяжелой мукой, но, как мы

видели, и о менее философских предметах: о счастливом браке с Софьей Федоровной Пушкиной.

Послание И. И. Пущину, написанное 13 декабря 1826 г., накануне первой годовщины декабрьского восстания, в котором его ближайший друг принимал столь активное участие, тоже не заключает в себе ничего безнадежного. Наоборот, в нем звучит *новая* для Пушкина тональность, которую на обычном русском языке нельзя назвать иначе, как отзвуком христианской веры и надежды [17]. Так, во всяком случае, должен был воспринять эту тональность любой воспитанный в религиозных правилах современник Пушкина.

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней! [18]

Белинский, окончивший жизнь полным атеистом, делает, как мне кажется, методологическую ошибку, заключая, что «это обращение к попавшему в безысходную беду другу проникнуто лелеющей душу гуманностью». Зная дальнейший путь Пушкина в направлении к христианству и к вере, мы имеем все основания утверждать, что тут была не только чисто человеческая *гуманность* (подразумевается атеистическая), но и гуманность христианская. Об этом свидетельствует новая лексика этого произведения: Пушкин, как мы видели, никогда до того судьбы не *благословлял*, она представлялась ему еще недавно «громадной бессмысленной обезьяной»; *провидению* божественному он не верил; как *святое* он его никогда не воспринимал, а тем более никогда к нему с молитвой не обращался.

Таким образом, в послании отразилось новое настроение и новый образ мыслей Пушкина.

Как известно, Пушкин начал писать послание Пущину после свидания с ним в 1825 г., но оно ему не удавалось. Мысль его обращалась к старым, но по-прежнему милым воспоминаниям о Лицее, а чувство с негодованием обратилось к враждебной судьбе, которая «железной рукой» разбила лицейское братство:

Где ж эти липовые своды?
Где ж молодость? Где ты? Где я?
Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш Лицей... [19]

В первоначальном варианте послания слышится, таким образом, старая, языческая тема судьбы (рока), ее «*железной руки*», но на этом работа над стихотворением остановилась. Оно было окончено уже после декабрьских событий — когда для понятия «судьба» у поэта нашлись новые слова.

В июне 1827 г. в Петербурге, перед отъездом в Михайловское Пушкин написал бессмертное произведение «Три ключа». Поэтическое вдохновение подняло его над «печальной и безбрежной» «мирской степью» и позволило создать произведение, далеко вышедшее за пределы психологического отклика на мрачную действительность николаевского времени, как то понимают некоторые авторы [20]. Оно поднялось до уровня высокого философского размышления о вечных вопросах человеческого бытия.

В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча.
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит.
Последний ключ — холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит [21].

«Последний ключ» — это последний вздох человека, последний удар его измученного сердца. Нет ничего слаще смерти для земного изгнанника! Опять тема Агасфера: «Не смерть, а жизнь ужасна». Такого рода настроения характерны для человека, переживающего глубокий духовный кризис.

Апофеоз смерти, получивший выражение в «Трех ключах», предшествовал творческой осени 1827 г., проведенной в Михайловском. Кастальский ключ опять напоил поэта «волною вдохновенья», и он написал шестую песнь «Онегина», которой заканчивается первая часть романа.

«В пустыне мрачной я влачился...»

Для духовной жизни поэта в 1827 г. очень важным переживанием было глубокое разочарование в светском обществе, по которому он так остро скучал в михайловской ссылке. О своем первом впечатлении он написал П. А. Осиповой в Тригорское вскоре после переезда на жительство из Москвы в Петербург: «...пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны...» [22]

В другом письме ей же в январе 1828 г. он писал: «Жизнь эта, признаться, довольно пустая, и я горю желанием так или иначе изменить ее... Признаюсь, сударыня, шум и суголока Петербурга мне стали совершенно чужды — я с трудом переношу их. Я предпочитаю ваш чудный сад и прелестные берега Сороти. Вы видите, сударыня, что несмотря на *отвратительную* прозу нынешнего моего существования, у меня все же сохранились поэтические вкусы» [23].

Мотивы этих писем отразились в 46-й и 47-й строфах шестой главы «Евгения Онегина», написанных осенью в Михайловском (или, что вероятнее, в начале 1828 г. в Петербурге). Пушкин дает в них резкую характеристику светского общества обеих столиц: его низменных интересов, пошлого образа жизни, низкого морального и интеллектуального уровня. В первом издании шестой главы она кончалась именно этими двумя строфами, о чем автор сообщает в примечании к последующим изданиям (примечание № 40) [24].

А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,

Ожесточиться, очерстветь
И наконец *окаменеть*
В *мертвящем* упоеньи света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,

Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов, дум и разговоров,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья.

Убийственная характеристика высшего светского общества! Исключительная по своей откровенности и смелости! В особенности, если принять во внимание, что стихи эти получили гласность 28 марта 1828 г. в составе шестой главы «Онегина» и служили заключением первой части пушкинского романа [25].

Осенью 1827 г. во время своего, на этот раз добровольного, пребывания в Михайловском, Пушкин в глубине души принял серьезные решения об изменении дальнейшей своей жизни. В автобиографической XLV строфе шестой песни «Евгения Онегина», датированной им 10 августа, он пишет:

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!

. . . .

Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился... и вполне;

Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

Это была программа. Решение поэта изменить свою жизнь стало достоянием гласности.

Какое содержание вкладывал Пушкин в слова: «новый путь»? Что именно он хотел изменить в своей жизни, простившись с юностью?

Открыто Пушкин об этом нигде не говорит, ни в письмах, ни в автобиографических отступлениях поэтических произведений. Однако мы имеем возможность с большой долей достоверности узнать о принятых им решениях по ряду фактов его жизни в 1828—1829 гг. и по новым плодам творчества, в которых, по удачному выражению Д. Д. Благого, «звучит совсем иная, новая тональность» [26].

Прежде всего Пушкин пришел к выводу, что необходимо прекратить привычное течение холостяцкой жизни, без семьи, без семейных обязанностей, без дружеских отношений с любимой женщиной. Он пришел к сознательному выводу о необходимости вступить в брак. В глубине души он давно уже не был «врагом Гимена» [27]. Он активно ищет невесту, и только неудачи брачных предложений заставляют высказывать по-старому самые отрицательные, циничные и разочарованные суждения о женитьбе, как, например, в письме к Е. М. Хитрово [28].

Поэт, в душе которого еще не зажила рана первой, неразделенной любви к Марии Раевской, знал, что такое настоящее чувство, которое приводит к союзу на всю жизнь. Он не мог довольствоваться подобием или тенью любви... Он, как верно подметил Вяземский, *старался* убедить самого себя и других, что влюблен в А. А. Оленину, но это были только «любовные гримасы». Грузинская песня, которую пела Оленина, напоминала ему «черты далекой, бедной девы», встреченной им на Кавказе, а теперь находившейся в далекой холодной Сибири.

Отношения Пушкина с С. Пушкиной, с А. Корсаковой, с Ек. Ушаковой, с А. Олениной были отнюдь не только «увлечениями» беспечного влюбчивого поэта, но одновременно

сознательным исканием брака. Однако ни одна из этих девушек из хороших дворянских семей не могла вытеснить жившую в нем «единственную любовь», качественно отличавшуюся от всех многочисленных увлечений.

Друзья напрасно смеялись над Пушкиным. Насколько глубоко в сердце поэта продолжал жить образ любимой женщины, лучше всего свидетельствует тщательно зашифрованное им уже цитированное посвящение «Полтавы». Оно было написано 27 октября 1828 г. и не оставляет сомнений, что любовь и преклонение возродились с новой силой после свидания с Марией Николаевной, княгиней Волконской, в Петербурге перед отъездом ее вслед за мужем в добровольную ссылку в Сибирь.

Жестокая действительность русской жизни в начале царствования Николая Павловича разлучила Пушкина с Марией Николаевной. Через два года, когда Пушкин писал посвящение, она находилась на печальном положении жены политического каторжанина в далекой сибирской «пустыне», но поэт не забывал «последнего звука ее речей». Разговоры с ней оставались для него единственным «сокровищем» жизни, а любовь к ней — глубоко скрытой «святыней» души.

Несмотря на это высокое чувство, жившее в душе Пушкина, обыденные отношения его с женщинами были чрезвычайно беспорядочны. Пушкин не гнушался посещать гризеток в доме Софьи Остафьевны, чего не скрывал не только от Дельвига[29], Вяземского[30], но и от такой уважаемой придворной дамы, как Елизавета Михайловна Хитрово: «Хотите, я буду совершенно откровенен? Может быть, я изящен и благовоспитан в моих писаниях, но сердце мое совершенно вульгарно, и наклонности у меня вполне мещанские. Я по горло сыт интригами, чувствами, перепиской и т. д., и т. д.»; «...вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки! С ними гораздо проще и удобнее»[31]. Это были не только «слова», обращенные к стареющей даме, чья привязанность раздражала Пушкина. Такова, к сожалению, была его практика.

В 1828 г., кроме возобновления случайных связей с гризетками, которые возвращали его к образу жизни 1818—

1819 гг., кроме страстных отношений с А. П. Керн и не менее пламенного и мучительного увлечения К. Собаньской [32], Пушкиным снова овладевает еще одна страсть: азартная игра. Свою приверженность к картам еще в ранние годы он описал в «Евгении Онегине», в Одессе, в конце 1823 г. в двух неопубликованных строфах второй главы:

Что до меня — то мне на часть
Досталась пламенная страсть,

———

Страсть к банку! ни дары свободы,
Ни Феб, ни слава, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры;
Задумчивый, всю ночь до света
Бывал готов я в прежни лета
Допрашивать судьбы завет:
Налево ляжет ли валет?
Уж раздавался звон обеден,
Среди разорванных колод
Дремал усталый банкомет.
А я, нахмурен, бодр и бледен,
Надежды полн, закрыв глаза,
Пускал на третьего туза [33].

Эта «страсть к банку» вторично вспыхнула в 1828 г. в Петербурге. Слух об азартной игре Пушкина дошел в Пензу до Вяземского. Тот писал ему: «С самого отъезда из Петербурга не имею о тебе понятия, слышу только от Карамзиных жалобы на тебя, что ты пропал для них без вести, а несется один гул, что ты *играешь* не на живот, а на смерть. Правда ли? Ах! голубчик, как тебе не совестно...» [34] Это был верный слух: Пушкин вел крупную игру. Его игорная страсть предвосхитила карточный азарт Достоевского. «...Я ...проиграл уже около 20 тысяч», — писал он Яковлеву [35].

Азартную игру поэта за картами в Петербурге наблюдал А. Мицкевич летом 1828 г.: «Пушкин... погружал свои длинные ногти в ящик, полный золота, и редко ошибался в количестве, какое нужно было каждый раз захватить. В то же время он следил за игрою своими большими глазами, *полными страсти*».

Совесть, о которой он не раз вспомнит в этом году, не напрасно «угрызала» Пушкина, и притом не только за прошлое, но и за настоящее!

Вспоминается отзыв Ивана Сергеевича Аксакова об образе жизни петербургского высшего общества, данный в письме к отцу: «Александра Осиповна Смирнова много рассказывала про всех своих знакомых, про Петербург, об их образе жизни и толковала про их гнусный разврат и подлую жизнь таким равнодушным тоном привычки, не возмущаясь этим...» Хорошей иллюстрацией к этому отзыву Ивана Сергеевича об образе жизни некоторых знакомых Александры Осиповны Смирновой-Россет из высшего петербургского общества может служить запись М. П. Погодина в дневнике. Погодин был в это время тесно связан с Пушкиным по работе в «Московском Вестнике». Как-то рано утром он зашел с Шевыревым к Пушкину на квартиру, «чтобы застать его дома, а он еще не возвращался с прогульной ночи и приехал при нас. Помню, как было нам неловко, в каком странном положении мы очутились из области поэзии в область прозы» [36]. Такова была «правда жизни», столь трагически противоположная «поэзии».

Многие из современников Пушкина оставили нам воспоминания, в которых пишут о неустойчивом состоянии его духа в 1828 г.

«Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен, — пишет Н. В. Путята, — в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили» [37]. Прежде мы уже говорили, что летом и осенью 1828 г. велось следствие по делу о «Гавриилиаде», и поэтому у Пушкина были серьезные объективные причины для беспокойства.

О тяжелом душевном состоянии Пушкина летом 1828 г. мы имеем свидетельство Павлищева, мужа Ольги Сергеевны. Он пишет: «Шурин Александр заглядывает к нам, но или сидит букою, или на жизнь жалуется... Петербург проклинает, хочет то за границу, то к брату на Кавказ».

Анна Петровна Керн, которой Пушкин не открывал своих внутренних переживаний, могла судить о них только по поведению Пушкина. Она пишет в воспоминаниях: «Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным... у Пушкина часто проглядывало беспокойное расположение духа... несмотря на всю его гениальность, он не всегда был благоразумен, а иногда даже не умен...»

Кроме приведенных свидетельств, исходивших от лиц, которые не могли сколько-нибудь глубоко знать его внутреннюю жизнь, мы имеем еще чрезвычайно важные показания Мицкевича, с которым Пушкин много раз встречался в 1828 г. и дружески беседовал. С Мицкевичем Пушкин мог говорить о многом, о чем не мог говорить ни с кем из соотечественников, за исключением, может быть, Чаадаева. Поэтому частично прежде уже процитированная запись Мицкевича, относящаяся к его встречам с Пушкиным, для нас особенно важна. «Пушкин, — писал Мицкевич, — очевидно, поддавался внутреннему преобразованию. Те, которые знали его в это время, замечали в нем значительную перемену. Все, что было в нем хорошего, вытекало из его сердца. Погрешности его, казалось, были плодами обстоятельств, среди которых он жил. Он любил обращать рассуждения на высокие вопросы религиозные и общественные, о существовании которых его соотечественники, казалось, и понятия не имели» [38].

Поздней осенью 1828 г., после окончания крайне напряженной работы над «Полтавой», Пушкин поехал отдыхать в Малинники, имение Вульфов в Тверской губернии. Была и другая, совсем не поэтическая, причина поездки Пушкина в деревню. Он был болен и не хотел оставаться в Петербурге. В конце декабря, оправившись от болезни, Пушкин ненадолго заехал в Москву [39]. Здесь на святках, на общественном балу у танцмейстера Иогеля, он впервые увидел Наталию Николаевну Гончарову и познакомился с ней.

«Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась...» [40]

16 января Пушкин возвратился вместе с Алексеем Вуль-

фом в Петербург и остановился в гостинице «Демут». Опять началась бесприютная жизнь! Первый биограф Пушкина Анненков пишет: «...через два месяца по приезде в Петербург утомление и какая-то *нравственная* усталость нападают на Пушкина».

В Петербурге ему не жилось... В начале марта 1829 г. он опять в Москве.

«Снова тучи надо мною...»
24 марта — 28 августа 1828

Над Пушкиным тяготело политическое прошлое: императорское правительство имело серьезные основания не доверять ему. Когда поэт просился в армию с наилучшими патриотическими намерениями, он не знал, что Новгородская палата уголовного суда возбудила против него дело о распространении в народе стихов «На 14 декабря». Под этим произвольным чужим заголовком распространились исключенные цензурой стихи Пушкина из его романтической трагедии «Андрей Шенье» (Пушкин называл ее «Андрей Шенье в темнице»). Эта трагедия в стихах была посвящена французскому поэту Шенье (Chénier), который во время французской революции до конца остался верен королю Людовику XVI и написал для него текст апелляции, с которой король намеревался обратиться к народу на вынесенный ему смертный приговор. Шенье был казнен накануне низвержения Робеспьера. Песня «священной свободе» — «богине чистой», пропетая им в тюрьме накануне казни, наполнена, с одной стороны, пафосом любви к гражданской свободе, к завоеванным правам народа, уважением к закону, который гарантировал эти права, а с другой стороны, — ненавистью и презрением к новым тиранам, рожденным революцией:

> Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
> Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Любовь к «вольности», к равенству перед законом, к братству не оставляла «юного певца» до последнего дня жизни:

Заутра казнь, привычный пир народу;
Но лира юного певца
О чем поет? *Поет она свободу*:
Не изменилась до конца!

Трагедию «Андрей Шенье»[41] Пушкин посвятил Николаю Николаевичу Раевскому — брату Марии Николаевны. В ней много автобиографических мыслей и чувств. Прежде всего она пропитана сочувствием к французской революции на первом ее этапе, преддекабрьским ожиданием гражданской свободы и веры в близкое падение «тирана».

И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тиран! Негодованье
Воспрянет наконец. Отечества рыданье
Разбудет утомленный рок.

Это был намек на неизбежное падение режима Александра, что стало ясно из уже цитированного письма Пушкина Плетневу от 4—6 декабря 1825 г., написанного после получения известия о смерти императора: «Душа! я пророк, ей-Богу пророк! Я Андрея Шенье велю напечатать церковными буквами во имя Отца и Сына etc...»[43]

Приходится поражаться тому, что, пусть и с пропуском сорока четырех стихов, произведение это было все же напечатано при новом царе в 1826 г.! Эти-то сорок четыре стиха и получили нелегальное распространение в рукописях, в связи с чем Пушкин давал 29 июня 1827 г. официальное показание[44]. Однако власти не удовлетворились объяснением Пушкина, и Новгородская судебная палата начала против него судебное дело, которое было направлено новгородскому губернатору. 24 марта 1828 г. последний внес дело в Сенат. Кончилось это очень неблагоприятно для поэта: в июле 1828 г. над Пушкиным был официально установлен секретный полицейский надзор, утвержденный Николаем Павловичем. Пушкин об этом ничего не знал.

В начале августа на него надвинулась другая неожиданная беда. Началось дело по обвинению его в авторстве «Гавриилиады». Тучи все более сгущались над поэтом. Теперь в глазах нового императора крайне религиозное вольнодумство Пушкина было доказано. В конце августа Пушкин по требо-

ванию царя вторично вызывается следственной комиссией на допрос. На этом заседании, как уже говорилось прежде, он попросил разрешения написать объяснение для передачи его лично государю. Разрешение было дано и, опечатанное следственной комиссией, письмо Пушкина доставили царю. Есть все основания утверждать, как мы уже говорили, что Пушкин признался в авторстве и выразил императору раскаяние в этом проступке юности. Вместе с тем он убедил императора не требовать от него публичного признания в авторстве произведения, о котором сожалел и от которого решительно отрекался. Император полностью прекратил дело. Письмо царю осталось тайной даже для членов следственной комиссии. Но все же эти два следственных дела сильно скомпрометировали Пушкина перед властями. На сей раз он принужден был дать подписку, что ничего из написанного им не будет распространяться без разрешения цензуры...

ГЛАВА X

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Осень 1827

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей...
А. С. Пушкин

В 1828 г. Пушкин опубликовал в «Невском альманахе» [1] стихотворение «Возрождение»:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;

Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так *исчезают заблужденья*
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней [2].

В русской критике этому стихотворению явно не повезло. Вокруг него образовался клубок противоречий и недоразумений. Несмотря на то, что не позднее февраля того же года вышел из печати «Пророк» — совершенно новое по тону и содержанию произведение; несмотря на то, что 23 марта вышла отдельной книгой первая часть «Евгения Онегина» с новой шестой главой, в которой были напечатаны приводившиеся выше знаменательные стихи:

Довольно! с ясною душою
Пускаюсь ныне в *новый путь*...

Рукописные тексты стихотворений «Возрождение» и «Недоконченная картина» имели различную судьбу. Но что значительно важнее — сами стихотворения по содержанию, стилю и художественным достоинствам сильно отличаются друг от друга: «Возрождение» — произведение зрелого мастера; «Недоконченная картина» — автора молодого, еще не сложившегося. «Возрождение» — работа художника-реалиста, «Недоконченная картина» — поэта-романтика. «Возрождение» проникнуто глубокой серьезностью, значительностью и восходит от реалий к высокому духовному смыслу. Оно содержит глубоко интимное, подлинно личное признание, точнее говоря, авторскую исповедь. Хотя «Недоконченная картина» и несет на себе, как мы убедимся ниже, автобиографическую печать, однако речь идет о юношеских любовных чувствах молодого поэта, который, по свидетельству брата Льва, после выхода из Лицея «жадно, бешено предавался всем наслаждениям» [3]. В то время и речи быть не могло о каком-либо изменении образа жизни в сторону нравственности, о каком-либо «исцелении» от любовной страсти:

Я вяну, гибну в цвете лет,
Но исцелиться не желаю... [4]

«Возрождение» резко отличается от «Недоконченной картины» и по характеру образов, имеющих отношение к библейским. Стихотворение же «Недоконченная картина» не выходит за рамки любовной, романтической лирики и по стилю созвучно другим лирическим произведениям послелицейского периода. Вот это стихотворение:

Чья мысль восторгом угадала,
Постигла тайну красоты?
Чья кисть, о небо, означала
Сии небесные черты?

Ты, гений!.. Но любви страданья
Его сразили. Взор немой
Вперил он на свое созданье
И гаснет пламенной душой [5].

В тот же период Пушкиным написаны наиболее яркие анакреонтические и вакхические произведения, такие как «О. Массон», «N. N.», «К Щербинину», «К Всеволожскому», «Стансы Якову Толстому», «Послание к кн. Горчакову», «Юрьеву» и др.

«Любви страданья», сразившие молодого художника в «Недоконченной картине», более подробно изображены в пьесе 1819 г. «Мечтателю». Молодой и страстный поэт, обращаясь к неопытному в любви юному «мечтателю», живописует ему «страшное безумие несчастной любви».

Тематическая близость двух произведений — «Мечтателю» и «Недоконченная картина» — несомненна. Она выступает еще ярче, если мы привлечем для сравнения черновой текст «Недоконченной картины». Здесь безумная любовь кончается еще трагичней — смертью поэта:

. . . . Но где поэта пламень,
Кто держит кисть любимца муз,
Бесчувствен он, как хладный камень,
Расторгнут с жизнию союз.

Его безумная «мрачная любовь» не встретила взаимности, но он не в силах освободиться от слившегося с его душой «рокового образа» надменной любовницы:

«Отдайте, боги, мне рассудок омраченный,
Возьмите от меня сей *образ* роковой!
Довольно я любил; отдайте мне покой!»
Но мрачная любовь и *образ* незабвенный
Остались вечно бы с тобой [6].

О любви-страсти, о любви-страдании идет речь и в стихотворении «Мечтателю», и в «Недоконченной картине», тогда как в «Возрождении» говорится о заблуждениях, если иметь в виду биографическую сторону рассматриваемых произведений.

О вредных *заблуждениях* своей юности Пушкин впервые заговорил в конце 1823 г. во второй главе «Евгения Онегина». В отброшенной для печати X строфе Пушкин писал, что Ленский:

Не славил сетей сладострастья,
Постыдной негою дыша,
Как тот, чья жадная душа,
Добыча вредных заблуждений,
Добыча жалкая страстей
Преследует в тоске своей
Картины прежних наслаждений... [7]

Я жертва долгих заблуждений
Разврата пламенных страстей [8].

Пора проступки юных дней
Загладить жизнию моей! [9]

Намерение загладить проступки юности, изменив свой старый образ жизни, было совершенно чуждо Пушкину в 1819 г. «Пламенные страсти» в то время все еще полностью владели его душой, и когда Пушкин в 1829 г. печатал «Возрождение» в разделе стихотворений 1819 г., он, надо думать, сознательно вводил читателя в заблуждение: ведь в первый петербургский период жизни (до ссылки на юг) он никак не мог сказать о себе:

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей...

Таким образом, нельзя без грубейшего нарушения основных хронологических дат духовного и творческого пути

Пушкина признать, что стихотворение «Возрождение» было создано в 1819 г. С этих позиций логичнее и убедительнее утверждать, что оно написано в период его опубликования.

Рассмотрим новейшие данные об этом стихотворении. М. Я. Варшавская [10] первая указала, что реалии этого стихотворения, от которых «оттолкнулся» Пушкин, взяты им из каталога Эрмитажа 1805 г. [11] В каталоге сообщается предание о «неискусном живописце», который, желая «подновить» картину Рафаэля «Святое семейство» и «не умея совместить работы своей с работой творца оной, всю ее переписал снова, так что уже не видно было в ней кисти Рафаэля». По прошествии многих лет другой художник, «очистив ее от посторонней работы, возвратил свету подлинное ее лицо». Во времена Пушкина картина Рафаэля «Святое семейство» (или иначе «Мадонна с безбородым Иосифом») была единственным изображением Мадонны его кисти в Эрмитаже. Она была написана Рафаэлем во флорентийский период его творчества и стилистически отличалась от более ранних картин умбрийского периода, на которых Мадонны имеют еще много черт условного благочестия.

Можно не сомневаться, что Пушкин, внутренне близкий гениальному итальянскому мастеру (все творчество их протекало в каком-то сходном ритме, и даже прожили они одинаковое число лет), долго простаивал перед картиной. В связи с этим необходимо вспомнить, с каким восхищением смотрел Пушкин в 1830 г. в Петербурге на другую картину «Мадонна с Младенцем», которая была выставлена для продажи в магазине на Невском проспекте. Эта картина, как и «Святое семейство», послужила толчком к созданию стихотворения «Мадонна», также наполненного глубоким философским и автобиографическим содержанием. Эти две картины Рафаэля тесно связаны друг с другом как в жизни и чувствах Пушкина, так и по значению в развитии его миросозерцания. Под впечатлением картины «Святое семейство» Пушкин осмыслил духовный процесс, протекавший в его душе:

Так исчезают *заблужденья*
С измученной души моей,

И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

Под впечатлением другой картины Рафаэля — «Мадонна с Младенцем» — Пушкин переживал другое, не менее высокое чувство:

Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель —
Она с величием, Он с разумом в очах —
Взирали...[12]

Переживания, возникшие под впечатлением одной и другой картины, весьма схожи: их разделяют приблизительно два года.

Публикация Пушкиным «Возрождения» в «Невском альманахе» падает на тот год в его биографии, который не мной одним признается годом духовного кризиса. Этот кризис наметился уже достаточно ясно осенью 1827 г. В конце июля Пушкин, «почуя рифмы», уехал в Михайловское. Ему шел двадцать девятый год. В тишине деревни он осознал, что половина жизни уже за плечами. 10 августа он написал:

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
. . . .
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть[13].

Это написано Пушкиным в XLV строфе, которой, по его замыслу, должна была *кончаться* шестая глава «Онегина» и, следовательно *первая часть* романа. Такое окончание первой части имело, конечно, автобиографическое значение.

На какой же «новый путь» хотел встать поэт? Куда вел этот путь?

Стихотворение «Возрождение», которое Пушкин сдал ре-

дакции «Невского альманаха» не позднее ноября 1827 г. [14], отвечает на этот вопрос. Осенью 1827 г. и в первой половине 1828 г. Пушкин усиленно размышляет о смысле жизни, о ее цели. Постепенно у него складывалось новое мировоззрение. Он осознавал заблуждения, которые долго мучили его душу, и избавлялся от них. Душа понемногу обращалась к «видениям первоначальных, *чистых* дней».

Образ жизни светского общества обеих столиц, общества, к которому он так еще недавно стремился, находясь на положении ссыльного, теперь его тяготит. Его духовному взору оно предстает безотрадной «мирской степью», «мрачной пустыней». Душа поэта испытывала томительную «духовную жажду», не находившую удовлетворения. Всю первую половину 1828 г., вплоть до начала осени, «измученная душа поэта» то видит просветы в мрачном небе, то низвергается в бездну уныния и отчаяния. Поэт, с одной стороны, видит «ангела» в А. А. Олениной, как будто стремится к браку с ней, с другой стороны, бывает в обществе таких женщин, которых сам стыдится. Общественно-политическая и государственная его мысль стремительно развивается, а в душе происходит нравственный кризис.

О кризисе поэт поведал в стихотворении «Воспоминание», написанном 19 мая. Он открывает в нем всю тяжесть своих страданий, из которых не видит выхода. Он пересматривает прожитую жизнь и взирает на нее с «отвращением», «проклинает» ее:

В бездействии ночном живей горят во мне
    Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
    Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
    Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
    Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
    Но строк печальных не смываю [15].

Такую беспощадную оценку прожитой жизни может дать только человек, который судит ее с *качественно* иных пози-

ций, чем те, на каких стоял раньше. Если бы Пушкин смотрел на прожитую жизнь по-прежнему, сквозь призму здравого рассудка, с так называемой «объективной точки зрения», он увидел бы, что сделано совсем не так уж мало (он был автором «Годунова», первой части «Онегина» и многих прекрасных лирических стихов); что «проступки» его «юных дней», принимая во внимание среду, в которой он рос, не так уж тяжки; они показались бы ему вполне понятными и в конце концов извинительными. Не было никаких оснований лить горькие слезы и предаваться безнадежной тоске! Он сделал бы попросту практический вывод: несколько изменить свой образ жизни, слегка «почиститься».

Пустая красота порока
Блестит и нравится до срока.
Пора проступки юных дней
Загладить жизнию моей![16]

Именно так склонен был думать Пушкин в 1825 г., но духовная его жизнь приняла другое направление. В «Воспоминании» речь идет отнюдь не о трезвом сожалении о некоторых совершенных в юности поступках, не о чисто человеческом раскаянии в них, — но об осуждении самого *духа* прошлой жизни. Это переживание было подобно вулканическому взрыву. И если оно еще не было христианским покаянием в точном смысле этого слова, то, несомненно, содержало в себе ростки его. Вполне христианским оно не было потому, что в нем (если судить по стихотворению «Воспоминание», а других данных мы не имеем) оставалось еще много от старого взгляда на жизнь, много самолюбия, горделивости, осуждения людей и сетования на несправедливость судьбы. Отдавая «Воспоминание» в печать, Пушкин, как великий художник, отбросил вторую часть стихотворения (она сохранилась в черновике), потому что перечисление конкретных жизненных заблуждений и проступков ослабляло впечатление от первой части. Духовное содержание выражено в первой части сильнее, чем во второй.

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, изгнании, в степях

Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
Вновь сердцу моему наносит хладный свет
Неотразимые обиды.
. . . .
И нет отрады мне...[17]

Состояние души, которое в христианской аскетической литературе носит название «покаяние», неразрывно связано с неосуждением ближнего, с отсутствием ропота на судьбу и людей, с чувством глубокой виновности перед всеми прежде всего самого кающегося. Такое состояние в «Воспоминании» только еще намечается. Пушкин полным голосом скажет о нем в 1836 г. в поэтическом переложении молитвы Ефрема Сирина:

Но дай мне зреть *мои*, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух *смирения*, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи[18].

Решительное осуждение своей прошлой жизни Пушкин подтвердил в 1830 г. в «Путешествии Онегина»:

Но тяжело, прожив полвека,
В минувшем видеть только след
Утраченных бесплодных лет[19].

Хотя Пушкин говорит о герое своего романа — Евгении, но на стихах лежит ясно различимая автобиографическая печать. Связь их с переживаниями, выраженными в «Воспоминании», подтверждается одинаковым словоупотреблением. В отброшенной второй части этого стихотворения Пушкин называет годы юности «утраченными», и также он говорит об «утраченных бесплодных летах» в «Путешествии Онегина». Есть в «Путешествии» и другие стихи, отражающие настроения и мысли Пушкина времени духовного кризиса. Это раздумья и чувства, связанные с исканием смысла жизни: «...жизнь, зачем ты мне дана?»

В 1830 г., когда Пушкин писал «Путешествие Онегина», этот смысл уже блеснул перед ним, и он с улыбкой и иро-

нией мог цитировать ответ римского философа Сенеки на «вечный вопрос».

«Мы рождены, — сказал Сенека, —
Для пользы ближних и своей».
(Нельзя быть проще и ясней)... —

добавляет Пушкин от себя.

В 1828 г. душа Пушкина прошла через ряд духовных взлетов и падений. Пережитые состояния отражены в произведениях этого года. О «томлении духовной жаждой» Пушкин сказал в «Пророке»; просветом в небеса — духовным взлетом души — было стихотворение «Художник-варвар»; но вместе с тем полным отпадением от духовного восприятия жизни стало стихотворение «26 мая 1828 г.». Оно написано в день рождения, и хотя по времени создания очень близко к «Воспоминанию», — переживание чувства тоски, отчаяния, безнадежности достигает в нем кульминации:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум [20].

Жизнь бессмыслена! Высший духовный смысл в ней отсутствует! Жизнь «случайно» возникла из небытия — «ничтожества». В ней нет Логоса — света разума. Она — «дар напрасный», то есть ненужный, и не заслуживает благодарения ее Творцу, так как возникла не как излияние Любви, а как действие «враждебной» человеку «власти». Отсюда проистекает, что человек страдает в жизни, нахо-

дясь в когтях слепой Судьбы, «тайного Рока». Разлад в человеческих чувствах и мыслях непримирим, в сердце и уме он порождает тоску. Многоголосой музыки в жизни нет, а только «однозвучный шум»...

Тяжелое духовное состояние Пушкина весной 1828 г. привело его на край пропасти...

Но здесь меня таинственным щитом
Святое Провиденье осенило,
Поэзия, как Ангел утешитель
Спасла меня, и я воскрес душой [21].

Так вспоминал поэт это тяжелое время осенью 1835 г. Выход из духовного кризиса, говорит Пушкин, указало ему «Святое Провиденье». Провиденье, иначе говоря, ПРОМЫСЛ. Промысл Божий о человеке — это совсем новое слово в пушкинском лексиконе. Это религиозно-философское понятие по своему содержанию представляет полную противоположность понятию рока, судьбы. Это понятие библейско-христианское, оно свойственно языку веры и ранее у Пушкина не встречалось. Весной 1828 г. Пушкин размышлял о «тайной», слепой судьбе, осудившей его на казнь, теперь он говорит о «Святом Провиденье». Если ранее определение «тайная» относилось к слепой судьбе, то теперь — к «Святому Провидению»; именно оно в то тяжелое время «осенило» его «таинственным щитом», оградило его от отчаяния, дало силы жить дальше. Пушкин нашел выход из духовного кризиса на пути поэтического творчества, получившего теперь иное, христианское духовное содержание:

Поэзия, как Ангел утешитель
Спасла меня, и я воскрес душой.

Смысл жизни был найден Пушкиным в результате отхода от «грустных заблуждений» «неопытной младости», на пути возвращения к библейско-христианским традициям, которые хранил русский народ. Недаром стихотворение «Вновь я посетил», в котором Пушкин пишет о тяжелых душевных переживаниях в Михайловской ссылке, начинается с благодарного воспоминания о няне Арине Родионовне:

Бывало,
Ее простые речи и советы
И полные любови укоризны
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой...

Об изменении былых воззрений и былого образа жизни Пушкин открыто свидетельствует в беловом тексте стихотворения «Вновь я посетил»:

Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я...

О пройденном им покаянном пути Пушкин говорит очень определенно в «Воспоминаниях в Царском Селе» 1829 г. Даже по заглавию своему оно близко к «Воспоминанию» 1828 г. Здесь опять развертывается тема отказа от прежних заблуждений, осуждения безумной расточительности дней молодости, тема раскаяния, «возвращения» в родной отцовский дом, духовного возрождения. Пушкин вновь обращается к воспоминаниям прошлого, но смотрит на минувшее, осуждая самые основы былой жизни:

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с *поникшею главой.*
Так *отрок Библии*, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал [22].

Пушкин сравнивает себя с блудным сыном евангельской притчи (Евангелие от Луки, глава 15, стихи 17-19), который ушел из родительского дома, «промотал с блудницами» полученное от отца имущество и, наконец, когда стал *голодать*, «пришел в себя» и решил возвратиться к отцу.

Пушкин сам указывает на *библейскую* тематику этого стихотворения: он называет разгульного сына «отроком Библии». Раскаяние отрока выражается в том, что он возвращается с «поникшею главою», иначе говоря, *с повинной.*

Его сердечное раскаяние глубоко, ему не сопутствует более никакое самооправдание или осуждение других людей, виновных в его бедствиях; покаяние это длительное, стойкое и глубокое, что выражено строкой: «До капли истощив раскаянья фиал», оно сопровождается слезами, но теперь они уже не горькие, а сладостные, слезы покаянные, сопутствующие возвращению к новой жизни.

Эту тему Пушкин продолжил в стихотворении «В начале жизни школу помню я», которое датируется 1830 г. и написано, вероятно, в Болдинскую осень. Здесь Пушкин смотрит на пройденный им духовный путь как бы с другого берега.

Приведенный мной материал с несомненностью свидетельствует о тесной связи «Возрождения» как с тематикой пушкинской лирики 1828—1830 гг., так и с автобиографическими строфами шестой и десятой глав «Онегина».

Следует указать еще на связь лексики «Возрождения» с письмами Пушкина. В письмах к Наталии Ивановне Гончаровой — своей будущей теще — он пишет о «заблуждениях моей ранней молодости», которые «представились моему воображению» [23]. В письме к родителям, написанном перед свадьбой, он выражает надежду, что «вторая половина моего существования будет более для вас утешительна, чем моя *печальная молодость*».

Вспомним, что в стихотворении «Воспоминание» Пушкин называет годы юности «печальными строками»:

Но строк *печальных* не смываю...

Итак, мы видим, что совершенно невозможно отнести пушкинское стихотворение «Возрождение» к 1819 г. И формой и содержанием оно тяготеет к творчеству осени 1827 г. и первой половины 1828 г. Поэтому датой его написания следует считать осень 1827 г. — не позднее 9 декабря, то есть визы цензора на выход «Невского альманаха» за 1828 г.

Какие же причины побудили Пушкина скрыть истинную дату? Здесь мы вступаем на почву более или менее достоверных предположений.

Литературная практика показывает, что он часто отступал в своей издательской деятельности от «буквы» правды... Так в «Примечаниях» к «Евгению Онегину» Пушкин, вопре-

ки истине, называл «исправлением типографских ошибок» очень серьезные смысловые изменения текста, которые он находил нужным внести в роман. В первом издании первой части «Евгения Онегина» (I-VI главы) в 1828 г. вместо того, чтобы переставить XLV строфу, написанную 10 августа 1827 г. на принадлежащее ей, по его замыслу, место в самом конце шестой главы (то есть после XLVI и XLVII строф), поэт предпочел указать нужный порядок строф в примечании, однако, не переставил ее на законное место, сославшись *на недосмотр типографии*[24]. Но был ли этот недосмотр? Скорее всего, Пушкин не хотел окончить первую часть «Онегина» стихом «Пускаюсь ныне в новый путь».

Может быть, по той же причине он намеренно изменил дату написания «Возрождения» при публикации собрания своих стихотворений в 1829 г. Его интимное признание: «Так исчезают заблужденья с измученной души моей», сделанное в «Невском альманахе» на 1828 г., вызвало, вероятно, различные кривотолки, поскольку Пушкин в эти годы еще не утратил своей популярности среди читающей публики и поведение его вызывало усиленный интерес. Вторичная публикация этого стихотворения в разделе произведений юношеской лирики, написанных в 1819 г., в значительной степени ослабляла интерес к стиху, перенося его к десятилетней давности.

Приведу еще пример неверной даты, нарочито проставленной Пушкиным, чтобы скрыть имя лица, о котором говорится в стихотворении. Я имею в виду «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» — очень интимную лирическую пьесу, адресованную, бесспорно, жене. Оно могло быть написано только после 19 февраля 1830 г., то есть после венчания с Натальей Николаевной, но датировано 19 января 1830 г. Если дата действительно проставлена рукой Пушкина, то явно с целью скрыть адресата стихотворения.

Независимо от того, справедливы или нет мои предположения о мотивах, по которым Пушкин изменил дату «Возрождения», остаются в силе доказательства стилистического, а также биографического порядка, обеспечивающие датировку его стихотворения осенью 1827 г.

«Возрождение» является единственным биографическим документом пушкинской лирики, в котором поэт открыто говорит о направленности переживаемого им кризиса, свидетельствует, что этот кризис был духовным *возрождением*. Вот почему значение этого шедевра пушкинской лирики как для биографии поэта, так и для дальнейшей истории русской литературы трудно переоценить.

ГЛАВА XI

«В НАДЕЖДЕ СЛАВЫ И ДОБРА...»

Взгляды Пушкина на основные движущие силы исторического процесса в России к исходу одесского периода (то есть к концу 1823 г.) в основном уже сложились. Эти взгляды формировались в результате тесного общения как с представителями тайных обществ на юге России, с одной стороны, так и с представителями консервативного монархического дворянства, с другой стороны. Пушкинские «Заметки по русской истории XVIII в.», писанные в Кишиневе в двадцатитрехлетнем возрасте, замечательны необыкновенной зрелостью и авторитетностью исторических суждений. Если бы не собственноручно Пушкиным поставленная дата (2 августа 1822 г.), следовало бы заподозрить ошибку в столь ранней датировке этой рукописи.

Наше внимание прежде всего привлекают его взгляды на культурную роль христианства в истории России, на значение Православия, Церкви, монастырей и монашества.

В «Заметках...» мы читаем: «Екатерина явно гнала духовенство... лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильнsй удар просвещению народному. Семинарии (которые зависели от монастырей, а ныне от епископов) пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься

важною своею должностию. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо напрасно почитают русских суеверными: может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек на счет всего церковного. Жаль! ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер.

В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и Божеством. Мы обязаны монахам нашей историею, следственно и просвещением. Екатерина знала все это и имела свои виды.

Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами; очень естественно, они знали ее только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, коим она позволяла путешествовать.

Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие; "Наказ" ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами; но, перечитывая сей лицемерный "Наказ", нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна» [1].

Мы видим, что Пушкин осуждает Екатерину за ее гонение на русское духовенство в угоду своему «неограниченному властолюбию», в угоду «духу времени» и французской «просветительной философии». Он дает высокую оценку влиянию монастырей греко-российской Церкви на историю и просвещение нашего отечества.

Обращаясь к Павлу I, Пушкин пишет: «Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена мо-

гут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: "Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою". 2 августа 1822 г.».

Следует обратить внимание на характеристику православия в сравнении с католичеством в приведенном отрывке. Этому мнению Пушкин останется верен до конца жизни: те же взгляды он выскажет в своем последнем письме Чаадаеву в 1836 году[2].

Замечание о том, что Екатерина знала, какой тяжкий удар она наносит просвещению и нравственному воспитанию народа, но все же делала злое дело, «имея на то свои виды», заслуживает самого пристального внимания. То же следует сказать относительно пушкинской характеристики внутренней политики Екатерины. Он считает ее насквозь фальшивой и демагогичной, а созыв «выборных» депутатов, одобривших ее «Наказ», только фарсом парламента.

Оценка царствования Павла показывает всю непримиримость Пушкина к такого рода единоличному «самовластью». С полной откровенностью он выражает свое негодование. После окончания ссылки и возвращения в столицу Пушкин постоянно имел перед глазами в Петербурге мрачный замок Павла, а в годы, когда был близок ко двору, старался собрать подробности обстоятельств, при которых совершился дворцовый переворот, возведший на престол Александра.

«Заметки» Пушкина — это, по существу, хорошо продуманный, глубоко оригинальный политический трактат. Двадцатитрехлетний Пушкин в блестящей литературной форме выражает в нем свои взгляды на русскую историю, которые, несомненно, в устной форме не раз высказывал друзьям. Он дает уничтожающе резкую характеристику всем самодержцам России XVIII в., их личным качествам. Не избежал веских обвинений в беспрецедентном подавлении личной свободы подданых также Петр I: «..все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Всё дрожало, всё безмолвно повиновалось».

Для объективной характеристики политических взглядов Пушкина следует, однако, со всей определенностью отме-

тить, что он, также как и Карамзин, отнюдь не отрицал исторически обусловленной положительной роли самодержавия в судьбах России. Он был решительным противником ограничить самодержавные права монарха дворянской аристократией и видел счастливое будущее России в общих усилиях всех «желающих лучшего» сословий, совместно с крепостным крестьянством, «противу общего зла». В начале 20-х годов, так же, как и позднее, в зрелом возрасте, Пушкин был решительным противником революционного выступления порабощенного крестьянства против помещиков и помещичьего государства.

Политические взгляды, которые легли в основу его будущей «Истории Пугачевщины» («Истории Пугачева»), сложились, таким образом, уже в эти годы. В своем трактате Пушкин утверждал, что отсутствие в историческом прошлом России экономически и политически влиятельной дворянской аристократии, «сильной своими нравами», которая из корыстных соображений могла воспрепятствовать «освобождению людей крепостного состояния», открывало дорогу отмене крепостного права *сверху*, по инициативе царя. Из-за того, что русское крестьянство видело в царе защитника от дворян-крепостников, в России не было достаточных предпосылок для народной крестьянской революции. Пушкин никогда ей не симпатизировал. Он полагал, что если бы соотношение классовых и общественных сил было обратное, то есть если бы в России дворянско-помещичья аристократия была сильнее царя и его правительства, тогда «одно только *страшное потрясение* могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же, — писал Пушкин, — политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы»[3].

Таким образом, объективный анализ историко-политических взглядов Пушкина, сложившихся у него еще до Михайловской ссылки, позволяет установить, во-первых, где проходил водораздел между его убеждениями и взглядами декабристов, и во-вторых, почему еще до поражения вос-

стания Пушкин нашел возможным и нужным отказаться от ранее столь резко выраженной оппозиции императорскому правительству. Этот шаг был им сделан еще при жизни Александра I; дальнейшее облегчилось смертью императора, пророчески им предсказанной.

По возвращении из ссылки политические взгляды Пушкина приобретают полную зрелость. Он переходит на активную и созидательную позицию, ставит себе целью сознательно и систематически влиять на царя пером, литературно-поэтическим творчеством. Пушкин не мог не считаться с желанием самодержавия усилить свою власть в России после разгрома всех организаций декабристов, но деспотизм самодержавия был ему ненавистен. Идеал политической свободы оставался ему дорог по-прежнему.

Вернувшись в январе 1827 г. в Москву, Пушкин пишет знаменитое «Послание в Сибирь» своим друзьям на каторге, к которым теперь ехала Мария Николаевна Волконская.

Это был опасный, более того, героический поступок, и Пушкин тяжко бы за него поплатился, попади послание в руки III отделения.

Пушкин имел все основания записать в альбом Екатерине Ушаковой перед своим отъездом из Москвы в Петербург:

> Вы ж вздохнете ль обо мне,
> Если буду я повешен? [4]

В послании в Сибирь он заявил о верности тем идеалам свободы, за которые боролись его друзья, осужденные теперь на каторжные работы:

> Не пропадет ваш скорбный труд
> И дум высокое стремленье [5].

То же подтвердил он и в стихотворении «Арион», написанном в июле:

> Я гимны *прежние* пою... [6]

Этим идеалам Пушкин остался верен до конца жизни:

> И долго буду тем любезен я народу,
> Что чувства добрые я лирой пробуждал,
> Что в мой жестокий век *восславил я свободу*
> И *милость* к падшим призывал [7].

Действительно, он не раз призывал царя смягчить участь осужденных на каторгу декабристов: в «Стансах» в 1826 г., в послании «Друзьям» в 1828 г. и в «Пире Петра Первого» в 1836 г.

Свое отрицательное отношение к неограниченной власти он смело высказал в 1828 г., когда так круто изменил свое политическое поведение в сторону лояльности к доброй воле:

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
. . . .
Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки [8].

В тексте «Анчара», напечатанного в «Северных Цветах» в 1832 г. (альманах был выпущен Пушкиным в пользу семьи покойного А. А. Дельвига), этот всевластный владыка был назван царем:

А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы...

По поводу этого стихотворения Пушкин давал в феврале 1832 г. письменное объяснение шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу и имел личный с ним разговор на особой аудиенции [9].

Пушкин, как и ранее, был противником крепостного строя в России, оставался убежденным сторонником просвещения широких народных масс [10]. Понимание задач и содержания народного просвещения непрерывно развивалось и конкретизировалось на протяжении 1828—1836 гг. и получило ясное выражение в напечатанных при жизни и в не пропущенных цензурой журнально-публицистических статьях.

Как уже говорилось, чуть ли не с первого дня возвращения из ссылки Пушкин принимает деятельное участие в журнале М. П. Погодина «Московский Вестник». В августе

1827 г. Пушкин писал Погодину из Михайловского: «...на будущий год обещаю Вам безусловно деятельно участвовать в его («Московского Вестника». — *Б. В.*) издании...» В этом же письме он набрасывает программу дальнейшего развития журнала: «стихотворная часть у нас славная; проза может быть еще лучше... Кстати о повестях: они должны быть непременно существенной частию журнала... Вестник Московский по моему беспристрастному, совестному мнению — лучший из русских журналов» [11]. В июле 1828 г. Пушкин еще определеннее высказался о достоинствах погодинского журнала: «Он, конечно, буде сказано между нами, первый, единственный журнал на святой Руси. Должно терпением, добросовестностию, благородством и особенно настойчивостию оправдать ожидания истинных друзей словесности и ободрение великого Гёте. ...Пора уму и знаниям вытеснить Булгарина и Федорова...» [12]

Из этого письма ясно отношение Пушкина не только к Булгарину и его журналу «Благонамеренный», но и к славянофильскому журналу «Славянин»: «...он нам нужен, как навоз нужен пашне, как свинья нужна кухне, а Шишков русской Академии».

Пушкин ценил Погодина как «издателя *европейского* журнала в азиатской Москве», как «честного литератора между лавочниками литературы» [13]. «Издатель журнала должен все силы употребить, дабы сделать свой журнал как можно совершенным, а не бросаться за барышом».

Таким образом, взгляд Пушкина на журнально-публицистическую деятельность как на высокое патриотическое общественное служение, взгляд, который он в полной мере осуществит при издании собственного журнала «Современник» в последний год жизни, полностью сложился у него в ту же замечательную осень 1827 г.

Какое высокое волнение охватывает всякого, кто берет в руки столь невзрачные с виду небольшие томики «Московского Вестника» с непривычным для нас шрифтом, непривычной орфографией, непривычным качеством бумаги. Первый номер журнала за 1828 г. открывается пушкинскими «Стансами» («В надежде славы и добра гляжу вперед я

без боязни»). Первый номер имеет разрешение цензора Сергея Аксакова от 9 января. В третьем номере мы видим «Пророка» Пушкина, впервые здесь напечатанного! Разрешение цензора, того же Аксакова, от 10 февраля. С этого дня «Пророк» входит на всю жизнь в память и сердце каждого русского человека, из поколения в поколение!.. В четвертом номере напечатана «Зимняя дорога» (написана 20 февраля 1826 г.). Пушкин сдержал слово, данное Погодину: «безусловно деятельно участвовать» в издании журнала.

Внимательный просмотр томиков издания позволяет с бесспорностью уяснить политическую направленность Пушкина. В пятом номере должен был появиться его ответ «Друзьям»:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю [14].

Но эти стихи не были напечатаны (они так и не увидели света при жизни Пушкина), потому что император того не пожелал, хотя и выразил Пушкину через Бенкендорфа свое удовлетворение. Опять тот же случай, как и со стихами «Выпьем за царя!..».

Пушкин предстает перед русской образованной общественностью, перед правительством и царем как свободный *поэт*, который говорит языком сердца и вдохновения, как в древности великие библейские пророки. Он и обличает царя, и прямодушно высказывает ему надежды, которые он и в лице его русский народ возлагает на царствование; и ждет от него амнистии осужденным декабристам, большей свободы печати и выражения мнений, решительных реформ внутри страны, в частности в области народного просвещения. Пушкин ставит в пример молодому императору плодотворную деятельность его «пращура» Петра Великого, который «не презирал страны родной». Он дает в этом стихотворении характеристику Петру, которую учат теперь наизусть все школьники:

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник [15].

Пушкин решительно призывает царя следовать этому примеру, быть «памятью», как он, «незлобен» — амнистировать осужденных, подобно тому, как Петр простил Якова Долгорукова, который разорвал в Сенате его указ.

Человеческую и политическую широту Петра Пушкин вторично отметил в «Полтаве»:

В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей *чужих*,
И славных *пленников ласкает*... [16]

Свою мысль о необходимости милосердия к декабристам, сосланным в Сибирь, к «*пленникам*» Пушкин позднее (в 1835 г.) разовьет в «Пире Петра Первого».

...Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится...
. . . .
И *прощенье* торжествует,
Как победу над врагом [17].

До конца дней Пушкин не прекращал заботиться о пострадавших друзьях, делая все от него зависящее, чтобы добиться смягчения их тяжкой участи.

В марте 1828 г. Пушкин решительно подтвердил друзьям, которые очень неодобрительно отнеслись к напечатанным в «Московском Вестнике» «Стансам», что он твердо взял новый политический курс. «Нет, я не льстец», я попрежнему смело защищаю интересы «страны родной», я не безмолвный раб, я не устранился от жизни моей страны, я не стал «придворным», нет, — «я небом избранный певец», я призван влиять на царя, говорить ему правду в глаза. Я решил помогать новому царю в его государственной деятельности. Я узнал его теперь ближе, я убедился в его нравственных достоинствах, «он не жесток», несмотря на то, что так строго покарал своих противников...

По этим же мотивам Пушкин считал своим долгом принять прямое участие в начинавшейся турецкой кампании. Он подал прошение об определении его в армию, которая готовилась начать действия против турок. Просьба его царем была решительно отклонена [18]. Аналогичный отказ получил и кн. П. А. Вяземский. Причины отказа были чисто политические. Причем сильное влияние на царя оказал великий князь Константин Павлович, который сообщил Бенкендорфу о нежелательности пребывания Пушкина и Вяземского в армии. «Они, — писал великий князь, — так нравственно испорчены... они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения своих безнравственных принципов» [19].

Реакция царя побудила Вяземского решительно возвратиться в ряды «бездейственной», но как ему казалось, «грозной оппозиции» [20]. Пушкин же, скрепя сердце, не изменил взятой политической линии. Он ответил на отклонение прошением — нарочито всеподданнейшим письмом [21], хотя отказ вызвал у него сильное нравственное потрясение [22]. Тяжелое душевное состояние толкнуло его еще на один неудачный шаг, который казался ему вполне законным и естественным: он подал просьбу разрешить ему поездку за границу. На этот раз Бенкендорф не ответил ему прямым отказом, но уведомил его, что императору поездка его в Париж «будет неприятна».

Пушкину ничего не оставалось делать, как примириться с необходимостью.

ГЛАВА XII

«ОБРАТИТЕСЬ С ПРИЗЫВОМ К НЕБУ — ОНО ОТКЛИКНЕТСЯ...»

П. Я. Чаадаев. 1829

Мы говорили уже, что встреча Пушкина с Гончаровой неожиданно для него самого перевернула его душу. Он почувствовал в Наталии Николаевне крупную и самобытную личность, и судьба его оказалась очень скоро в ее руках [1]. В середине января 1829 г. он уехал в Петербург, но в марте уже опять был в Москве. Федор Толстой, который был хорошо знаком с семьей Гончаровых, по просьбе Пушкина ввел его в их дом. Первого мая Толстой от имени поэта просил у Наталии Ивановны Гончаровой руки ее дочери. Пушкин получил уклончивый ответ, все же позволявший ему «надеяться» [2].

Этот приезд в Москву имел для Пушкина решающее значение не только в личном плане, но также и в духовном: после длительного перерыва возобновилось его дружеское тесное общение с Чаадаевым. Так же, как и в годы юности, это общение было для Пушкина благотворно.

Основные вопросы мировоззрения стояли для Пушкина в это время очень остро, и нет сомнения, что Чаадаев помог ему во многом разобраться. Сам Чаадаев к началу 1829 г. уже в какой-то мере выработал основные положения своей философии истории и религиозно-философской системы [3]. О содержании их разговоров в марте-апреле 1829 г. мы можем с уверенностью говорить на основании письма Чаадаева Пушкину, написанного перед самым отъездом поэта в действующую армию.

Это письмо необычное — письмо мудреца, строго, но с любовью указывающего ученику путь жизни: «Нет в мире духовного зрелища более прискорбного, чем гений, не понявший своего века и своего призвания... Спрашиваешь

себя: почему человек, который должен указывать мне путь, мешает мне идти вперед?.. Дайте мне возможность идти вперед, прошу вас... если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится на свете...» Как видим, Чаадаев понимал самый глубинный ход духовного развития Пушкина, видел его сильные стороны, его предназначение, но видел и пустоты, понимал главное, чего Пушкину не хватало: «Не измените своему предназначению, друг мой, — писал Чаадаев, — обратитесь с призывом к небу (выделено Чаадаевым. — *Б. В.*), оно откликнется» [4].

Не уверенный еще, что можно говорить с Пушкиным о высшем предназначении в чистом виде, Чаадаев подходит к вопросу с другой стороны, приводя примеры земной славы. Он называет лиц, прославившихся в Европе благодаря своим научным трудам: «...в одной толстой книге почтительно упоминается имя моего приятеля Гульянова, а знаменитый Клапрот присуждает ему египетский венок; мне, право, кажется, что он поколебал основания пирамид. *Представьте же себе, какой славы можете добиться вы!*»

Чувствуя как бы неловкость своей откровенности в столь интимных вопросах, Чаадаев в конце дипломатически замечает: «Как видите, я говорю все это по случаю посылаемой вам книги... Прощайте, друг мой. Скажу вам, как Магомет говорил своим арабам: ах, если бы вы знали!»

Не исключено, что сам Пушкин просил Чаадаева дать ему в дорогу хорошую книгу. И приведенное выше письмо сопровождало два миниатюрных французских томика из библиотеки Чаадаева. Это была новинка, только что появившаяся, — книга Ансильона «Мысли о человеке, о его деятельности и о предметах его познания» [5]. Чаадаев уже успел прочесть ее, на многих страницах сделал пометки. В конце письма Пушкину он говорит о книге: «Так как в ней обо всем понемногу, то, может быть, она наведет вас на удачные мысли». Содержание книги не может вызвать двух мнений о том, какую цель преследовал Чаадаев, посылая ее Пушкину.

Книга Ансильона — произведение христианской философской мысли. Автор ее проповедник. Он ставит своей целью осветить с христианской точки зрения все основные сторо-

ны человеческого бытия, как духовные, так и материальные. Он касается не только проблем внутренней жизни, волнующих каждого человека, но также и жизни семейной, общественной, отношения к искусству, естественным и историческим наукам, к философии, проблемам этики, истины и т. д.

Мысли Ансильона были созвучны христианской философии Чаадаева в этот период. Книга должна была досказать Пушкину то, что не успел сказать Чаадаев при личных встречах. Он хотел приобрести в лице Пушкина союзника и единомышленника и видел к тому все основания. В том же письме он писал Пушкину: «Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг».

Позднее, после постигшей его катастрофы, Чаадаев признавался бывшему масону М. Ф. Орлову: «Я долгое время, признаться, стремился к отрадному удовлетворению увидеть вокруг себя целомудренных и строгих умов, ряд великодушных и глубоких душ, чтобы вместе призывать милость неба на человечество и на родину» [6]. Свою «внутреннюю миссию» Чаадаев начал с Пушкина.

В цитированном письме Пушкину 1829 г. мы видим в самом начале как бы предварительную заявку на *развернутое* изложение религиозно-философской и исторической темы, которая в это время захватила ум и чувства Чаадаева.

Согласно его мысли, человечество в наше время идет быстрым шагом к всестороннему сознательному овладению христианской истиной, которая призвана объединить все народы в единую братскую семью, прекратить все войны, соединить в один яркий светоч науку и религию. Все это явится исполнением второго прошения молитвы Господней: «Да приидет Царствие Твое». Эта идея или была уже к тому времени высказана в «Первом философическом письме», или находилась в процессе изложения и литературной обработки, так как «Первое письмо» было закончено Чаадаевым 1 декабря 1829 г. [7] Пушкин познакомился с ним по французскому тексту не позднее Болдинской осени 1830 г.

Дружба Пушкина с Чаадаевым — тема, еще недостаточно разработанная в обширной пушкинской литературе [8],

тогда как она давно бы должна была получить подробное и тщательное освещение. Исследователи касались в лучшем случае взаимоотношений Пушкина с Чаадаевым в юношеские годы поэта и совсем не освещали отношений друзей в их зрелом возрасте. В появившихся в советский период работах как о Пушкине, так и о Чаадаеве, полностью обходится молчанием тот важный для биографии поэта факт, что в их дружбе существенное значение имел глубокий интерес к христианству. Христос и отношение к Нему занимали центральное место в мировоззрении друзей. Чаадаев исповедал свое отношение в философском и историческом плане, Пушкин, главным образом, — в поэтическом.

Цитированное письмо Чаадаева Пушкину подтверждает приводившееся выше свидетельство Мицкевича о темах, которые Пушкин любил затрагивать в своих разговорах в серьезном обществе. Письма Александра Сергеевича Чаадаеву, писанные им на пути в Арзрум, не сохранились (во всяком случае, пока не найдены). Весьма вероятно, что они были продолжением разговора, начатого в Москве при встрече, а потом в письме Чаадаева перед отъездом поэта. Возможно, в них Пушкин откликнулся на книгу Ансильона.

Думается, что Чаадаевым же было вызвано углубление интереса к стихам английского поэта Саути, из которого Пушкин на обратном пути делает переводы.

У Саути Пушкин нашел много созвучного в этот период жизни, когда он искал нового содержания творчества. Чаадаев советовал: «...углубитесь в самого себя и в своем внутреннем мире найдете свет, который безусловно кроется во всех душах, подобных вашей».

Не о том ли самом говорит и Саути в упоминавшемся уже «Гимне пенатам», который был переведен или переложен Пушкиным в 1829 г?

Примите гимн, таинственные силы!
Хоть долго был изгнаньем удален
От ваших жертв и тихих возлияний,
Но вас любить не остывал я, боги,
И в долгие часы пустынной грусти
Томительно просилась отдохнуть

У вашего святого пепелища
Моя душа — . . . . зане там мир.
Так, я любил вас долго! Вас зову
В свидетели, с каким святым волненьем
Оставил я... людское племя,
Дабы стеречь ваш огнь уединенный,
Беседуя с самим собою. Да,
Часы неизъяснимых наслаждений!
Они дают мне знать сердечну глубь,
В могуществе и немощах его,
Они меня любить, лелеять учат
Не смертные, таинственные чувства,
И нас они науке первой учат —
Ч т и т ь   с а м о г о   с е б я. О нет, вовек
Не перестал молить благоговейно
Вас, божества домашние[9].

«Беседовать с самим собой» — не то же ли это, что «углубиться в самого себя, в свой внутренний мир»? Не оставил ли Чаадаев на длительное время «людское племя», удалившись в свою Фиваиду — рабочий кабинет, чтобы обдумать содержание «Философических писем»? Не о том же ли «свете», кроющемся в душе всякого христианина, говорит английский поэт и русский философ? О свете, просвещающем всякого человека, вступающего в жизнь; о свете, дающем познание глубин человеческого духа, позволяющем видеть не только силы добра, но и злые наклонности и укоренившиеся дурные привычки, о свете, научающем любить не обычные, человеческие, но более высокие и тонкие чувства и переживания.

Весь «Гимн пенатам», как показывает и само название, выдержан в английских религиозных терминах. Кроме пенатов — хранителей домашнего семейного очага, здесь призываются главные боги греческого Пантеона: Феб, Зевс с супругой Герой, Афина-Паллада. Согласно этому гимну, высшая мудрость и добродетель благочестивого гражданина Афин должна заключаться в том, чтобы «*чтить самого себя*». В библейских христианских терминах здесь следует понимать почитание образа Божия в душе каждого человека и прежде всего в самом себе.

«Гимн пенатам» по религиозно-философскому содержанию и настроению настолько близок к мыслям письма Чаадаева Пушкину 1829 г., что возникает законное предположение: не был ли он особо отмечен в книге, переданной Чаадаевым Пушкину, или так или иначе ему указан?

Есть еще одно замечательное свидетельство влияния разговора Чаадаева на Пушкина. Не сказал ли Пушкин в восьмой главе «Евгения Онегина», пересматривая свои юные годы:

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С *толпою* чувства разделяя...[10]

Но ведь именно это легкомысленное *следование толпе*, это неумение выработать собственное миросозерцание и собственный образ жизни на духовных христианских основах и ставил Чаадаев в упрек Пушкину в своем письме!

«Когда видишь, что *человек*, который должен *господствовать* над умами, — писал Чаадаев Пушкину, — *склоняется перед мнением толпы*, чувствуешь, что сам останавливаешься в пути...»[11]

В этом кризисном году Пушкин чувствовал себя учеником Чаадаева и был исполнен такого глубокого к нему уважения, как к человеку, стоявшему в духовном отношении выше него, что не позволял никому никаких критических замечаний в адрес своего друга.

ГЛАВА XIII

НОВЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ. 1829

«С улыбкой он глядит в изгнание земное...»
Февраль — март 1829

В «Эпитафии младенцу», которую Пушкин в начале 1829 года написал в память двухлетнего младенца Николая, сына Марии Николаевны и князя Волконского, читаем:

В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца [1].

Генерал Николай Николаевич Раевский (старший) — отец Марии Николаевны Волконской — выразил впечатление от эпитафии в следующих словах: «Пушкин подобного ничего не сделал в свой век» [2]. Мария Николаевна откликнулась на нее в письме отцу от 11 мая 1829 г., частично цитированном выше: «Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпитафию моему дорогому ангелочку... Она прекрасна, сжата, но полна мыслей, за которыми слышится так много» [3].

Это стихотворение, как имеются все основания предполагать, написано Пушкиным под прямым впечатлением «Чинопогребения младенческого», который был совершен у открытого гроба покойного малютки. «Эпитафия» с богословской точностью передает заключенное в этом чине учение о загробной участи «блаженных младенцев». В указанном «Чине» к покойным младенцам прилагаются следующие эпитеты: «непорочный», «нерастленный», «чистейший», «блаженный» [4]. В нем нет молитв и прошений о прощении грехов, но весь чин пронизан радостной уверенностью в вечном спасении младенца, душа которого предстоит теперь Творцу вместе с ангелами, и из этой новой области пребывания, исполненной духовной радости и покоя, «глядит в изгнание земное».

Об улыбке на лице младенца, которую видел Пушкин и все присутствовавшие на отпевании, Пушкин сказал в эпитафии. Он отразил в ней также диалог с младенцем, заключенный в чине погребения: «О сын мой и чадо сладчайшее! Слышишь ли голос матери своей? Почему не говоришь ты с нами, как разговаривал прежде? Почему молчишь?» Младенец отвечает родителям молитвой за них Богу: «Боже, призвавший меня! Будь утешением в печали дому моему. Как радовались родители мои, когда смотрели на меня! Я был единственный у них! Прохлади утробу матери моей и ороси сердце отца моего!»

Подобно этому и в пушкинской «эпитафии» младенец

благословляет мать, которая добровольно взяла на себя тяжелый подвиг сопровождать отца; благословляет и отца на прохождение крестного пути.

В христианской восточной литургике чин отпевания по духовной значимости и по высоте своей символики близок церковным таинствам. Он и был воспринят Пушкиным как последнее тайнодействие, совершенное над ребенком женщины, к которой он питал благоговейную любовь:

Как пламень жертвенный чиста моя любовь...

Следует согласиться с Н. Н. Раевским, что эпитафия по содержанию, мыслям, выраженным в ней, по своему тону и настроению является новым этапом в творчестве Пушкина.

«И сердце вновь горит и любит...»
15 мая 1829

На Северном Кавказе на Пушкина нахлынули воспоминания о первой встрече с этими местами во время путешествия в 1820 г. с семьей Раевских. «Здесь (на берегу Подкумка. — *Б. В.*), бывало, сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод» [5], — писал Пушкин в путевых записках, предназначавшихся для печати, но в душе поэта звучала другая мелодия... Это была так называемая первая редакция стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла».

Простившись с Марией Раевской, Пушкин того же числа начал вести свои путевые заметки. Там он записал: «Мгновенный переход от грозного дикого Кавказа к прелестной миловидной Грузии восхитителен... С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее цветущими нивами, с ее богатыми темно-зелеными садами, с ее синим-синим прозрачным небом, *с ее светлой Арагвой... милой сестрой свирепого Терека*». Обрывающийся текст путевых записок дополняется первой главой «Путешествия в Арзрум»: «Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы...»

В эту ночь на берегу Арагвы, реки, которая в чувстве Пушкина ассоциировалась с Гончаровой, на фоне новой для него благоухающей южной природы, сердце его обратилось к той, чьей руки он просил в Москве 1 мая: «...в его душе вспыхнуло другое, более реальное, более земное, полное надежд и желаний, но столько же глубокое чувство к той, которая два года спустя станет его женой, матерью его детей» [6].

Пушкин пишет вторую редакцию стихотворения «Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла».

Новое чувство Пушкина, тесно связанное с принятым решением повернуть жизнь на иной путь, потребовало для своего поэтического выражения и нового пейзажа. Он появляется во второй редакции. Стихотворение, обращенное к невесте, начинается по-другому:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною...

«Смена двух редакций — своеобразная эстафета сердца», — пишет Д. Д. Благой. Свидетельство самого Пушкина, что стихотворение «На холмах Грузии» адресовано им невесте, бесспорно. Он сказал об этом Вере Федоровне Вяземской. Она послала новое стихотворение «На холмах Грузии» М. Н. Волконской в Сибирь, указав, *со слов Пушкина*, что оно адресовано его невесте. Вновь найденные письма Марии Николаевны к княгине Вяземской позволяют нам узнать о ее реакции на это стихотворение. Мария Николаевна была недовольна последними двумя строками:

И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Критическое ее замечание следует признать тонким и справедливым, тем более, что она не знала выброшенных Пушкиным стихов в первой редакции, обращенных к ней.

Недавно найденное письмо Наталии Николаевны 1832 г. (?) брату на Полотняный завод поставило на очередь давно назревшую необходимость по-новому оценить личность Наталии Николаевны. Она была человеком не менее внутренне значительным и цельным, чем Волконская. Пушкин любил ее за душу столь же сильно, как и за телес-

ную красоту. Это была умная и самоотверженная женщина, оказавшая большое нравственное влияние на Пушкина, когда была еще невестой, и продолжавшая быть его близким другом и сотрудником, когда стала его женой. Несомненно, к ней обращено стихотворение «Когда в объятия мои», в котором Пушкин с полной искренностью осуждает свое поведение в юные годы. Это осуждение насыщено подлинным раскаянием, юность свою поэт называет «преступной»:

Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю,
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкой,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой;
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья
Уныло слушаешь меня...
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей любовный шопот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот[7].

20 сентября 1829

20 сентября, на обратной дороге из Арзрума, Пушкин написал не менее замечательное, чем «Эпитафия младенцу», стихотворение «Монастырь на Казбеке». Н. Н. Раевский и о нем с полным основанием мог бы сказать: «Пушкин ничего подобного не сделал в свой век!» Это стихотворение порождено внутренним религиозным переживанием, которое

явно роднит его с «Эпитафией». Вместе с последним оно кладет начало ряду стихотворений 1829—1830 гг. и последующих годов, в котором слышна новая, ранее чуждая Пушкину, религиозная тональность [8].

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!.. [9]

Стихотворение возникло под впечатлением виденного Пушкиным ландшафта... «Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище: белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками». Таково было дорожное впечатление, но содержание этого поэтического шедевра далеко выходит за рамки путевых записок. Как грузинский христианский монастырь Цминда Садеста на Казбеке, «несомый облаками», это стихотворение парит «за облаками»: оно имеет высокий духовный настрой. Наше внимание опять привлекает его библейская символика:

Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий *ковчег*.

Ноев ковчег был библейским символом спасения. В новозаветное время этот символ наполнился новым содержанием, знаменуя христианскую Церковь. Он лежал не только в основе архитектурного плана здания храмов, но был также символом нового христианского общества.

Для того чтобы придать образу Церкви-ковчега идейную значимость, Пушкин назвал солнечный свет, озарявший «уединенный монастырь», «вечными лучами». Нам трудно

судить, знал ли Пушкин в 1829 г., что «вечными лучами» ученики Григория Паламы называли Фаворский свет, то есть невещественный, духовный свет, озаривший учеников Христа, но изображение этих лучей на иконах Преображения Пушкин, конечно, видел.

Назвав природные, вещественные лучи кавказского солнца «вечными лучами», Пушкин подготовил читателя к более высокому пониманию символов второй строфы.

На *библейское* понимание образа «ковчега-Церкви» указал сам Пушкин. В Путевых заметках 1829 г. читаем: «Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая двуглавая гора. "Что за гора?" — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: "Это Арарат". Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на *библейскую* гору, видел *ковчег*, причаливший к ее вершине с надеждой обновления жизни, — и врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения...» Это — прямая ссылка на восьмую главу Книги Бытия. Здесь не хватает только радуги, которая дана послепотопному человеку в знак его примирения с Богом, в залог того, что «потопа больше не будет».

«Крест — хоругвь Европы и просвещения...»

Приехав в конце сентября в Москву из поездки в Арзрум, Пушкин тотчас сделал визит Гончаровым. Это посещение его сильно расстроило. «Сколько мук ожидало меня по возвращении! — писал он позднее своей будущей теще. — Ваше молчание, ваша холодность, та рассеянность и то безразличие, с какими приняла меня м-ль Натали... У меня нехватило мужества объясниться, я уехал в Петербург в полном отчаянии» [10].

В это короткое время пребывания в Москве, нет сомнения, Пушкин опять повидался с Чаадаевым. После прочтения книги Ансильона, данной ему Чаадаевым в дорогу, после знакомства с Саути, чтения Данте, после всего виденного и пережитого на Кавказе друзьям было о чем поговорить. К сожалению, мы не располагаем пока сведениями об этой встрече.

В Петербурге, куда Пушкин приехал в конце октября, та новая направленность его духовной жизни, которая нашла выражение в произведениях, написанных на Кавказе, не изменилось. Здесь он продолжает работать над второй кавказской поэмой «Тазит». Основные черты пушкинского замысла ясны: столкновение в социальной среде кавказских горцев двух непримиримых идеологий — христианской и магометанской. Пушкин разделял правительственную точку зрения, что лучшим средством замирения кавказских, враждебных России, горцев, подпавших под сильное влияние ислама, которое насаждала султанская Турция, является их христианизация. Он понимал, что принятие горцами христианства будет способствовать приобщению их к европейской культуре. Историческую основу европейской культуры он, так же как и Чаадаев, видел в христианстве. Проблема морального и идеологического столкновения креста и полумесяца была затронута им, как мы видиели, еще в «Бахчисарайском фонтане». Теперь он опять ставит эту проблему, исходя из политических целей, которые Россия преследует на Кавказе. Прибегая снова к библейскому образу, Пушкин утверждает в путевых записках, что кавказская «почва ждет *семени*» (Евангелие от Марка, глава 4, стих 14: «Сеятель слово сеет»), что кавказская «почва готова для принятия христианства». Выведенный им в поэме «воспитатель юноши Тазита», «важный старец» [11], соответствует образу, который в плане поэмы был предусмотрен словами «черкес-христианин» [12]. Такое понимание этого раздела пушкинского плана предложил в 1915 г. Н. О. Лернер и с этим пониманием согласился Д. Д. Благой [13]. В день похорон трагически убитого старшего сына Гасуба старец привел в его дом младшего сына, который находился у него несколько лет на воспитании. В осуществленной первой части поэмы Пушкин с симпатией рисует внутренний облик своего героя — молодого черкеса Тазита, воспитанного в христианских моральных понятиях. Сочувственное отношение автора поэмы к нему, как и к его воспитателю, бесспорно. Поэма «Тазит», как и «Кавказский пленник», должна была кончаться эпилогом [14]. В нем Пушкин предполагал в поэтической фор-

ме высказать свое одобрение христианизации чеченцев и приобщению их тем самым к христианской культуре России и Западной Европы. Идейная направленность поэмы находится вне сомнения [15].

Об устойчивости взглядов Пушкина на этот вопрос свидетельствует опубликованный в первом номере «Современника» литературный очерк «Долина Ажитугай», написанный Султан Казы Гиреем. Гирей — черкес по национальности, мусульманин по вероисповеданию, потомок крымских Гиреев — показал себя в очерке не только с литературной стороны, но и с идейной. Пушкин отметил у Гирея литературный талант, а также глубокий внутренний интерес к христианству. «...Магометанин, — писал Пушкин в послесловии к очерку Гирея, — с глубокой думою смотрит на крест, эту хоругвь Европы и просвещения» [16].

Для литературного воплощения другой важной идеи «Тазита», обозначенной Пушкиным в первом плане поэмы как «Юноша и монах», а во втором — пунктом «Миссионер», Пушкин нуждался в реальном образе, взятом из жизни. Такого лица Пушкин не нашел, так как призванных русских священников-миссионеров он во время своего путешествия не встретил, а миссионеры из пятигорского филиала Российского библейского общества, по-видимому, не вызвали у него доверия.

В путевых записках 1829 г. Пушкин ставит вопрос о том, какими средствами русские могли бы привлечь на свою сторону враждебных черкесов. Он рассуждает так: «Можно попробовать влияние роскоши; новые потребности мало-помалу сблизят с нами черкесов: самовар был бы важным нововведением. ...Есть, наконец, средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века, но этим средством Россия доныне небрежет: проповедание Евангелия. Терпимость сама по себе вещь очень хорошая, но разве апостольство с нею несовместно? Разве истина дана для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений — и никто еще из нас не подумал

препоясаться и идти с миром и крестом к бедным братьям, доныне лишенным света истинного. Легче для нашей холодной лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты. Нам тяжело странствовать между ими, подвергаясь трудам, опасностям по примеру древних Апостолов и новейших римско-католических миссионеров».

Так обличал Пушкин русское духовенство. Не забыл он и миссионеров из Российского библейского общества: «Лицемеры! Так ли исполняете долг христианства? Христиане ли вы? С сокрушением раскаяния должны вы потупить голову и безмолвствовать... Кто из вас, муж веры и смирения, уподобится святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии, Америки, без обуви, в рубищах, часто без крова, без пищи — но оживленным теплым усердием и смиренномудрием? Какая награда их ожидает? Обращение престарелого рыбака или странствующего семейства диких, нужда, голод, иногда мученическая смерть».

В таких выражениях и с таким пафосом бичевал Пушкин русских миссионеров. У него даже возник вопрос: христиане ли они? И это говорит Пушкин, который еще так недавно оставил скепсис и прямое неверие, признав истину христианства! Смелость и максимализм так свойственны новообращенным!..

Написав сей обличительный абзац, Пушкин замечает: «Предвижу улыбку на многих устах. Многие, сближая мои калмыцкие нежности с черкесским негодованием, подумают, что не всякий имеет право говорить языком высшей истины. Я не такого мнения. Истина, как добро Мольера, там и берется, где попадается».

Г. И. Чулков, биограф Пушкина, справедливо пишет: «Замечательно, что Пушкин сам почувствовал, как эта проповедь *не соответствует представлениям о нем, сложившимся у публики*, и поспешил прибавить: "Предвижу улыбку на многих устах..." и т. д.» [17]

Пушкин сравнивал деятельность римско-католических миссионеров с бездействием русских. Но, давая высокую оценку трудам католических миссионеров в Африке, Азии и

Америке, он не знал, что именно в эти годы на самом Востоке тогдашней Российской империи подвизался замечательный русский миссионер Иван Вениаминов, в будущем «епископ камчатский, курильский, алеутский и американский», который не только совершил высокий духовный подвиг, но и прославился во всем мире как крупный ученый, этнограф и лингвист [18].

Упреки Пушкина в отсутствии истинного христианского рвения коснулись в замаскированной форме также и главы Русской Церкви митрополита Московского Филарета: «Мы умеем спокойно блистать велеречием, упиваться похвалами слушателей. Мы читаем книги и важно находим в *суетных произведениях* выражения предосудительные».

Несмотря на критику Филарета, Пушкин умел оценить и его достоинства. Об этом говорит его лирический отклик «Стансы» на обращенные к нему стихи митрополита Филарета. Узнав из письма Е. М. Хитрово о полученных для него стихах, Пушкин тотчас ответил: «Мне невозможно сегодня предоставить себя в ваше распоряжение — хотя, не говоря уже о счастье быть у вас, одного любопытства было бы достаточно для того, чтобы привлечь меня. Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! — это право большая удача» [19].

Познакомившись с посланием к нему Филарета, Пушкин ответил ему стихами, помеченными 19 января 1830 г.:

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и *страстей*.

Но и тогда струны *лукавой*
Невольно звук я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам *совести* моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был *елей*.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт[20].

Поэтика послания Филарету опять чисто библейская. Здесь не только «арфа серафима», но и намек на евангельского «милосердного самарянина», который не пожалел ни трудов, ни времени, ни денег для совсем незнакомого ему человека, нуждавшегося в помощи. Подобно этому самарянину, Филарет омыл раны совести поэта и смазал их чистым оливковым маслом («елеем»). «Чистым елеем» Пушкин назвал «благоуханные речи» — проповеди Филарета.

Лирические высказывания поэта в послании настолько откровенны, касаются таких сторон деятельности ума, чувства, творчества, сердца, что эти пушкинские признания точнее всего было бы назвать исповедью. Эти признания дополняют уже сказанное им ранее — в конце 1829 г. в стихотворении «Воспоминания в Царском Селе» и в восьмой главе «Евгения Онегина».

Прежде всего здесь ясно звучит осуждение всей направленности своего поэтического творчества в юные годы:

Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Такая характеристика творчества с религиозно-нравственной стороны больше всего подходит к вакхическим произведениям лицейского периода и южной ссылки. В частности, можно предполагать, что умственному взору Пушкина предстала его «Гавриилиада», по которой еще недавно было закончено следствие. Но, кроме вольного послания «Юрьеву»[21], существовало и «лукавое» послание «В. Л. Давыдову»[22], и многое другое, что, по словам самого Пушкина, «тяготеет, как упрек, на совести моей». Образ «звука *лукавой* струны»

в стансах Филарету Пушкин употребил в библейском понимании этого слова. В «Пророке» он сказал:

И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и *лукавый*,

а в стансах Филарету:

Но и тогда струны *лукавой*
Невольно звук я прерывал...

Однако основное автобиографическое содержание этого стихотворения явно относится к более позднему времени. Признание в пролитии «нежданных слез» очень близко к покаянным переживаниям «отрока Библии» в стихотворении «Воспоминания в Царском Селе» (1829):

Так отрок Библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
. . . .
Главой поник и *зарыдал*.

Сказанное в послании Филарету о духовных страданиях, вызванных «ранами совести», также очень близко к тому, что поэт описывает в «Воспоминаниях в Царском Селе»:

И долго я *блуждал*...
Раскаяньем горя, предчувствуя беды...

Свидетельство Пушкина об умиротворяющем и просветляющем воздействии на него церковных «благоуханных речей» митрополита Филарета и о глубоком чувстве, которое он испытывал, мы должны понимать в том смысле, что Пушкин в 1828—1829 гг. *читал* «Слова и речи» митрополита Филарета Московского (1821—1826). Тому есть свое подтверждение: в библиотеке Пушкина М. А. Цявловским найдена и описана книга Филарета «Слова и речи», правда, издания 1835 г. Можно думать, что Пушкин был знаком и с более ранним изданием, а позднее приобрел полюбившуюся ему книгу. В своих позднейших литературно-критических статьях Пушкин дал высокую оценку ораторским достоинствам речей Филарета[23].

В послании Филарету, несомненно, имеются некоторые элементы поэтической условности, поскольку оно обращено

к лицу, занимавшему очень высокий пост в государстве. Кажется, не лишено оно и добродушной иронии. Тем не менее, искренность автобиографического его содержания, его религиозно-философская серьезность не может вызвать сомнений. Послание было напечатано Пушкиным 25 февраля 1830 г. в «Литературной газете» и, таким образом, носило характер публичного заявления поэта о возвращении его к русской народной традиции — чтить своих первосвятителей. В этом стихотворении Пушкин выразил свое отношение к Филарету не только как к отзывчивому человеку, ученому-богослову, одаренному церковному оратору и проповеднику, но и как носителю сана, святителю Русской Церкви [24].

ГЛАВА XIV

«ПРЕЧИСТАЯ И НАШ БОЖЕСТВЕННЫЙ СПАСИТЕЛЬ»

«Одной картины я желал быть вечно зритель...»

Второй по времени общественной декларацией Пушкина об изменении его религиозно-философских взглядов было стихотворение «Мадонна». Оно написано 8 июля 1830 г. в Петербурге, где Пушкин был по делам семьи Гончаровых после обручения с Наталией Николаевной. Написанное в сонетной строфике, это блестящее стихотворение обычно рассматривают только как любовное признание невесте [1]. Но «Мадонна» имеет гораздо более глубокое — религиозное содержание. Этот сонет идейно связан с поэтическим посланием митрополиту Филарету. Основная его религиозно-философская тема получила в том же году дальнейшее развитие в стихотворении «В начале жизни школу помню я», при жизни поэта не публиковавшемся.

Пушкин приехал в Петербург, чтобы получить у минист-

ра Канкрина разрешение перелить в металл неудавшуюся бронзовую статую императрицы Екатерины II, стоявшую в имении Гончаровых[2]. Деньги от продажи бронзы Гончаровы предполагали употребить на свадебные расходы. Вспомним строку:

. . . . на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский[3].

Для приближающейся свадьбы нужны были не только деньги, но и положительный отзыв о женихе генерала Бенкендорфа, а между тем совсем недавно закончилось следствие по делу о «Гавриилиаде»... Пушкин не мог этого не понимать, и все же, когда он писал «Мадонну», он, как всегда, был правдив, искренен и свободен.

Твердое намерение покончить с холостым образом жизни, соединить судьбу с девушкой, воспитанной в строгой христианской семье, ускорило процесс его духовного созревания. Сдвиг в мировоззрении, наметившийся в 1829 г., ярко проявил себя в творчестве поэта 1830 г. Это был год всестороннего расцвета дарования Пушкина: лирического, драматургического, прозаического и публицистического.

8 июля поэт делает одно из самых интимных признаний о своей внутренней жизни: пишет сонет «Мадонна» и тотчас отдает его в печать:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель —

Она с величием, Он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона[4].

Здесь Пушкин с предельной ясностью и бесспорностью выразил отношение к лицам, изображенным на картине Рафаэля, назвав Мадонну «Пречистая», а Младенца —

«Божественный Спаситель». Такие эпитеты мы встречаем в лирике Пушкина впервые. Они были выбраны им сознательно в процессе работы над черновым текстом [5].

Стих первой терцины сонета: «Она с величием, Он разумом в очах» — должен особенно привлечь наше внимание. То же сказал Пушкин о выражении взгляда Богоматери на иконе «Знамение» в другом стихотворении этого года «В начале жизни школу помню я»:

Смиренная, одетая убого,
Но видом *величавая* жена...

Анализ лексики «Мадонны» показывает, что многие эпитеты взяты Пушкиным из молитвословий, обращаемых к Богоматери за ежедневным молитвенным домашним «правилом» и за каждым церковным богослужением. Так, именование ее «Пречистой» многократно звучит в каждой церковной службе. Пушкин не сразу нашел эти эпитеты. Они отысканы в ходе творческой работы по углублению темы. Отталкиваясь от реалий картины Рафаэля, то есть от образа Богоматери в его западной, католической трактовке, Пушкин обращается к Богоматери не со словами «Ave, Maria», как в «Легенде о бедном рыцаре» (1829), но с обычным восточным приветствием: «Владычица», «Пречистая».

Первоначально употребленный эпитет «играющий Спаситель», чуждый русскому уху, Пушкин в окончательной редакции заменяет другим: «Божественный Спаситель». Он замечает далее, что облик «играющего Младенца» на картине сочетается с недетским выражением лица, и говорит: «Он с разумом в очах», то есть отмечает самое существенное, догматически важное (в тропаре праздника Рождества Христова: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет *разума...*»).

Пушкин обращает внимаение также на другую важную особенность взглядов Матери и Младенца (недаром он «простаивал часами перед картиной»). Они

Взирали, *кроткие*, во славе и в лучах...

Выражение лица Мадонны на картине Рафаэля отвечало евангельскому повествованию: Симеон Богоприимец, обра-

щаясь к Марии, говорит: «И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Евангелие от Луки, глава 2, стих 35). Это сказано в предвидении страданий Богоматери у креста Ее Сына.

Взгляд Младенца говорит о знании ожидающих Его Страданий, о безграничной покорности воле Отца и готовности принять муки.

В заключительной терцине сонета Пушкин исповедал свою веру в «святое Провиденье», в благой Промысл Божий о человеке. Это был новый взгляд на судьбу, «рок»: взгляд христианский, вытеснивший старое языческое мироощущение. В первом, незаконченном послании И. И. Пущину, набросанном в 1825 г., вероятно, тотчас после краткого и неожиданного свидания с другом в Михайловском, отражалось другое восприятие «судьбы» — как железной руки, хватающей беспомощного человека, разбивающей его надежды [6]. В мае 1826 г. то же прежнее мироощущение Пушкин выразил в упоминавшемся письме Вяземскому по поводу смерти его сына.

Это проникнутое философским отчаянием и убийственным холодом представление о бессмысленности жизни осмыслялось Пушкиным как отрицательная *религиозная* концепция, которой он сознательно держался, с которой не хотел расставаться.

Ссылку в глухое Михайловское он воспринимал как проявление той же бессмысленной судьбы:

Судьба, судьба *рукой железной*
Разбила мирный наш Лицей...

По истечении года, полного глубоких переживаний, Пушкин меняет свое понимание судьбы-рока. Он переосмысливает это философское понятие по-новому, как «святое Провиденье». Позднее, осенью того же 1830 г., Пушкин выскажет свои новые мысли о «Провиденье» в публицистической статье. Он настойчиво укажет на значение «случая» в человеческой жизни; выскажет мысль, что исторические события в жизни человечества не могут быть предсказаны, что историк не способен предвещать исторические события на манер того, как астроном с точностью до секунд прогнозирует затмения Солнца, что «провидение не алгебра», что

ум человеческий «не пророк, а угадчик»: он способен видеть «общий ход вещей» и делать из него глубокие предположения, но не способен предсказать конкретных исторических событий (Камеру французских депутатов, могущественное развитие России и появление исторических личностей, как, например, Наполеона и Полиньяка). Одним словом, «случай» на самом деле — лишь «мощное, мгновенное орудие *Провидения*» [7].

Мысль Пушкина изложена в статье, которая по сегодняшний день не удостоилась внимания философов, историков, литературоведов. Она показывет, как внимательно следует относиться к словам поэта, сказанным в «любовном сонете». Мы видим, что в нем нет ни одного случайного, непродуманного слова, а «серьезный и благоговейный тон» сонета отнюдь не является лишь стилизацией [8].

В последнем терцете есть признание (хотя и не прямо выраженное) еще одной глубокой философской и богословской мысли. Пушкин исповедал в нем свой вполне ортодоксальный взгляд на человека, как на «образ Божий». Если православная икона изображает в красках образ Божий, живущий в человеке, то живая икона — святой человек — являет при благоговейном воззрении на него тот же образ. Пушкин смотрел на свою невесту не только глазами влюбленного поэта, он прозревал в ней образ Божий. Сказав в сонете в обращении к ней, что она «чистейшей прелести чистейший образец», поэт разумел в этих словах не одно только совершенство ее зримого облика, но и душевную красоту — прелесть девственной чистоты.

В письме 1833 г. Пушкин писал жене: «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете — *а душу твою люблю я еще более твоего лица*» [9]. Пушкин умел видеть душу человека, а в ней — образ Божий.

В сонете «Мадонна», так же, как и в маленькой поэме «В начале жизни», наличествует ясно выраженный интимный биографический момент и глубокое лирическое переживание. В первом произведении, как мы уже говорили, поэт хочет постоянно видеть в своей рабочей комнате изоб-

ражение Девы Марии с Младенцем Спасителем. Он хочет, чтобы ежедневный его творческий путь протекал под взглядом «Пречистой» и «Спасителя»; во втором он кается, что в дни юности образ Богоматери его тяготил: он не хотел видеть на себе Ее «светлого, как небеса» взора, дичился Ее советов и укоров, убегал от Ее присутствия «в мрак чужого сада». Лирические признания в обоих стихотворениях тематически близки, но по настроению противоположны.

В терцинах «В начале жизни школу помню я» Пушкин вспоминает юношеские переживания лицейского периода; в сонете «Мадонна» он говорит о чувствах зрелого мужа.

Сонет «Мадонна» генеалогически примыкает к ранее написанным стихотворениям Пушкина, обращенным к женщинам, которыми он в разные годы так или иначе восхищался. Ближе всего этот сонет к стихотворению «К ***» («Я помню чудное мгновенье»), врученному поэтом Анне Петровне Керн в Тригорском в день ее отъезда 19 июля 1825 г. В этом стихотворении-признании та же глубина чувств, серьезность, значительность и искренность, что и в «Мадонне». В нем любимая женщина, как и в сонете, предстает как «гений *чистой* красоты» [10] (впрочем, этот стих, как известно, прямо заимствован из Жуковского); как и в сонете, он видит в ее образе «*небесные* черты». Явление этой женщины поэт связывает с самыми сокровенными думами о своем дальнейшем творческом пути: «Душе настало пробужденье», — говорит он. Его любовь — не мимолетное страстное увлечение. Она вызывает духовный подъем всего его существа:

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Вспомним, что тем летом Пушкин закончил первую часть «Бориса Годунова», а 13 сентября, менее чем через два месяца после отъезда А. П. Керн, вторую. Известно, что Пушкин ценил «трагедию о Борисе» как лучшее свое произведение.

Но далеко не все стихотворения, озаглавленные Пушки-

ным «К ***» (их всего семь с 1816 г. по 1832 г.), имеют столь высокую духовную настроенность, как «Я помню чудное мгновенье» и сонет «Мадонна». На противоположном полюсе находится стихотворение «К ***» («Ты богоматерь, нет сомненья»), ошибочно, без серьезного основания, датируемое в академическом издании полного собрания сочинения Пушкина 1826 г. По формальному признаку — словоупотреблению — это стихотворение, опубликованное впервые в 1884 г., было, казалось, семенем, из которого выросла заключительная терцина «Мадонны»:

. . . . Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя мадонна,

потому что в том стихотворении есть следующие две строчки:

Ты богоматерь, нет сомненья...
. . . .
Ты богородица моя!

Но в тоне даже двух приведенных строк из этих стихотворений, поставленных рядом, чувствуется глубокое различие. Второе стихотворение, юношески озорное, кощунственное, скорее примыкает к «Гавриилиаде» (1822) и к посланию В. Л. Давыдову (1820). И внутренне, и, скорее всего, хронологически, эти два стиха отделены друг от друга десятью по-пушкински длинными годами. В 1830 г., как мы подробно выяснили прежде, Пушкин занимал по отношению к затронутой в обоих стихотворениях теме позицию диаметрально противоположную той, на которой он стоял в годы создания «Гавриилиады».

Для более полного разбора сонета «Мадонна» необходимо привлечь еще одно стихотворение, в котором также речь идет о Мадонне, а именно «Легенду» (1829). На этом произведении лежит явный западный, католический отпечаток, чего нельзя сказать о «Мадонне», хотя сюжетом сонета является картина Рафаэля.

Согласно «Легенде», средневековый рыцарь был влюблен в явившийся ему образ Марии Девы. При этом рыцарь «не молился» и «не ведал поста», конец его жизни был трагичен:

Всё влюбленный, всё *печальный*,
Без причастья умер он...

Этот диагноз духовного состояния рыцаря при его жизни Пушкин уточнил, присовокупив, что при кончине рыцаря ему явился «бес лукавый», который хотел утащить его «в свой предел».

Печатание «Легенды» было запрещено цензурой, которая усмотрела соблазнительный характер в заключении этого произведения: «Пречистая» милостиво вступилась за своего «паладина» и впустила его в «царство вечно». Пушкин нарочито ввел в текст «Легенды» латинские молитвословия: «Ave, Mater Dei», «Lumen coelum, sancta Rosa», подчеркивая тем самым ее западный характер. В 1835 г. Пушкин написал «Сцены из рыцарских времен» и заставил приговоренного феодалами к повешению Франца — предводителя восставших вассалов — пропеть рыцарям несколько переделанную песню о бедном рыцаре[11]. К легенде о бедном рыцаре Пушкин обратился в 1829 г. в прямой связи с собственными сердечными переживаниями, в ней слышится отзвук автобиографический. Мы уже говорили, что 1829 г. был для поэта годом знакомства с Гончаровой, годом поездки в Арзрум и мысленного прощания со своей «дамой» — Марией Николаевной Раевской-Волконской.

Неверующий «печальный» рыцарь, влюбленный в явившийся ему образ Марии Раевской, прощается на берегах Арагвы со своим «непостижимым уму» видением и обращается к новой госпоже его сердца, «мадонне» второй половины его жизни.

«Смиренная, одетая убого, но видом величавая жена...»
Болдинская осень 1830

Мировоззрение Пушкина развивалось поразительно стройно и целенаправленно, но это отнюдь не исключает того, что взгляды его на одном этапе могли находиться в резком противоречии со взглядами на другом — последующем.

Изменения своего миросозерцания (в самом широком смысле слова) Пушкин ясно засвидетельствовал в ряде поэтических произведений.

Принципиальные изменения в миросозерцании поэта заметны также и в публицистике. Так, осенью 1830 г. (в Болдине) в неопубликованной статье «Второй том "Истории русского народа" Полевого» Пушкин как историк ставит вопрос о значении принятия христианства для Западной и Восточной Европы. Заметим, что положительная оценка Пушкиным этого исторического факта не расходится с современной его оценкой академиком Б. Д. Грековым в его труде «Киевская Русь» (1949) и со взглядами современных советских византологов. Пушкин пишет: «Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. ...История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы!» [12]

Трудно добавить еще что-либо к этим проникновенным словам.

* * *

Стихотворение «В начале жизни школу помню я» не имеет в рукописях Пушкина заголовка. Первый редактор его В. А. Жуковский [13] дал заголовок произвольный — «Подражание Данте» [14].

О приблизительной дате его написания мы можем сделать косвенное заключение по дате, проставленной рукой Пушкина на автографе стихотворения «Царскосельская статуя»: «1 октября 1830 г.». Оба стиха навеяны посещением Пушкиным Царского Села в июле-августе этого года.

Стихотворение «Царскосельская статуя» имеет значение не только для датировки стихотворения «В начале жизни», но еще больше для понимания *замысла* этого стихотворения и творческого метода Пушкина. «Царскосельская статуя» — четверостишие, в котором говорится о скульптуре фонтана «Молочница». Это изваяние выполнено П. П. Соколовым, создавшим в России первое скульптурное произведение на народный сюжет [15]. Девушка, сидя-

щая на скале фонтана, — это крестьянка, направлявшаяся на базар с кувшином молока для продажи (сюжет взят П. П. Соколовым из басни Лафонтена) и мечтавшая разбогатеть. Но вот кувшин разбит, молоко течет по скале, вместе с кувшином разбиты мечты девушки.

Оттолкнувшись от чисто житейской фабулы Лафонтена, Пушкин поднял тему скульптуры Соколова на значительно более высокий философский уровень:

> Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
> Дева печально сидит, праздный держа черепок.
> Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
> Дева, над вечной струей, *вечно* печальна сидит [16].

Тот же ход творческого восприятия и тот же путь мысли мы видим в черновиках стихотворения «В начале жизни школу помню я». Когда Пушкин обратился воспоминанием к своей жизни в лицейские годы, его мысленному взору предстал образ неизвестной биографам «девы», пленившей сердце поэта:

> Я помню деву юности прелестной,
> Еще не наступала ей пора,
> Она была младенцем...

Но, начав с воспоминания «юности прелестной», Пушкин отбрасывает его, и ум его воспаряет к образу более значительному, связанному с *духовной* биографией, — «величавой жены», чело которой, спокойные уста и взор были исполнены строгой красоты. С характером ее черт и смиренным обликом гармонировали скромность одежды и «приятный, сладкий голос». Разговор ее был «полон святыни» и правды. Свой новый замысел Пушкин начал воплощать в октавах:

> Тенистый сад и школу помню я,
> Где маленьких детей нас было много...

Но затем, с углублением темы, перешел к терцинам. В окончательном варианте он отбросил «тенистый сад» и на первое место поставил «школу», подняв это понятие до уровня высокого символа. Приведу сначала беловой текст стихотворения:

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.

Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.

Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.

Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в ее беседы мало.

Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.

Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада
Под свод искусственный порфирных скал.

Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздномыслить было мне отрада.

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.

Всё — мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры —

Всё наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.

Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось — холод
Бежал по мне и кудри подымал.

Безвестных наслаждений темный голод
Меня терзал — уныние и лень
Меня сковали — тщетно был я молод.

Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый — всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень [17].

Черновые варианты и поправки рукой Пушкина текста стихотворения «В начале жизни» многое проясняют в его содержании.

В черновом тексте есть некоторые подробности в описании «сада» и украшавших его скульптур, которые указывают, что перед мысленным взглядом Пушкина стоял реальный, хорошо знакомый ему парк: «И вдоль прямых аллей кумиры...», «И в темноте прямых аллей кумиры...», «И в темноте древесных куп кумиры...» [18].

Мы находим также некоторые важные черты в описании «величавой жены», которых нет в беловом автографе: «Одетая стыдливо и убого». В беловом автографе сказано короче: «Одетая убого».

В характеристике ее взгляда: «Ее лица и луч недвижных взоров...»; «Ее чела и луч спокойных взоров...»; «Но лик и взоры *дивной* той жены в душе глубоко напечатлены...».

Из черновиков видно, что, хотя поэт и сетует, что память ему изменила, и уподобляет ее ветхой, истершейся ткани,

но взгляд «дивной жены» ему помнится особенно отчетливо:

Но живо, ясно взоры той жены
Во мне глубоко напечатлены...

О беседе «жены» с детьми в черновиках имеются важные дополнительные данные:

Протяжно сладким голосом, бывало,
Читает иль беседует она.

В беловом автографе:

Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.

«Протяжно», как это бывает при церковном пении или чтении, Пушкин в окончательном тексте заменил на «приятно».

Много дают черновики также для понимания того, как воспринимались лирическим «я» стихотворения — отроком, проходившим обучение в той «школе», — «советы и укоры» «величавой жены»:

Дичась ее спасительных укоров,
Я про себя превратно толковал
Глубокий смысл *духовных* разговоров...

В беловом автографе Пушкин заменил эту шестую терцину не столь откровенно выразительной:

Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл *правдивых* разговоров...

Вот сколько пищи для раздумий дают беловой автограф и черновые редакции этого произведения, которое многие литературоведы и критики недаром называют «таинственным».

Стихотворение «В начале жизни» вызвало много литературно-критических комментариев, сделанных значительными русскими писателями, в том числе Н. С. Кохановской, Иннокентием Анненским, Валерием Брюсовым, Д. С. Мережковским, а также учеными-литературоведами. Наметим основные расхождения во взглядах и оценках разных авторов.

Часть исследователей признает автобиографическую основу этого стихотворения — П. В. Анненков (1855), Н. С. Кохановская (1857), Иннокентий Анненский (1899), П. О. Морозов (1911), М. Н. Розанов (1928), Д. Н. Николич (1958); другие новейшие авторы автобиографическое содержание начисто отрицают: Г. А. Гуковский (1957), Д. Д. Благой (1967). Ю. Г. Оксман разделил последнюю точку зрения, но в более смягченной формулировке [19].

Некоторые литературоведы являются «дантологами»: они находят, что стихотворение Пушкина имеет теснейшую связь с «Божественной комедией» (М. Н. Розанов, Д. Д. Благой); другие — «медиевисты», отрицая эту связь, настаивают на том, что тематика стихотворения связана с эпохой итальянского Возрождения (Ю. Г. Оксман, 1936, Г. А. Гуковский, 1957).

Нет единства мнений и в толковании символических образов стихотворения.

В образе «женообразного», «волшебного демона» — «лживого, но прекрасного», одни литературоведы — М. Н. Розанов, М. А. Цявловский (1949), С. М. Петров (1949), Д. Д. Благой (1967) — видят Афродиту, другие Вакха-Диониса.

Эти разногласия показывают, что литературная критика не видела до самого последнего времени глубоко философского замысла Пушкина, воплощенного здесь. Привлеченные им мифологические образы не случайны. Они связаны друг с другом и свидетельствуют о стоявшей перед Пушкиным в лицейские годы глубоко жизненной философской проблеме, требовавшей конкретного разрешения.

То, что Пушкин имел в виду образ Вакха, а не Афродиты, доказывается не только тем, что Пушкин назвал «лживого волшебного демона» «женообразным» [20] (странно было назвать Афродиту «женообразной» — разве что «женственной», «представшей в женском образе» и т. п., но «женообразный» явно относится к противоположному полу), но также, что не менее важно, и тем, что служения Аполлону и Вакху в античной Греции и Византии находились в антагонизме одно к другому. Этот антагонизм ощущал и

«юноша» стихотворения Пушкина. Аполлон был предводителем муз — Мусагетом, а также вдохновителем дельфийских прорицательниц. Он владел пророческим даром. Служение ему «не терпит суеты», как сказал Пушкин:

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво...

В противоположность Аполлону Вакх был богом, разнуздывающим страсти, вызывающим экстаз. Согласно мифу, Вакх обошел всю землю, чтобы развязать ее дикие природные силы. Там, где его не принимали, он применял насилие. Менады, или вакханки, устраивали в честь Вакха оргии: Вакх был единственным богом Эллады, который требовал, чтобы его почитатель полностью *отождествлялся* с ним. Служитель Вакха сам должен был стать «вакхантом», отказаться от своей личности, потерять ее. Отсюда маски Вакха-Диониса, употреблявшиеся на то, чтобы вызвать вакхические страсти и переплавить их в поэтическую гармонию. Они даруют вдохновенье и священную радость, необходимую, согласно Платону, для художественного творчества.

Оба эти «антагонические бога», как говорил еще И. Анненский, волновали юного Пушкина:

Пред ними сам себя я забывал,
В груди младое сердце билось — холод
Бежал по мне и кудри подымал.

Еще меньше единства мнений в понимании образа «величавой жены». С легкой руки Н. С. Кохановской, все без исключения комментаторы давали ему чисто аллегорическое толкование. Кохановская говорит: это «святая жизненная мудрость, исходящая от Божественной Премудрости»; «это — олицетворение Высшей Житейской Мудрости, как носительницы и хранительницы основных нравственных начал человеческой жизни».

Здесь, однако, уместно напомнить, что Пушкин не любил аллегорий. Творчество его было символично, а не аллегорично.

Толкование стихотворения «В начале жизни», предлагаемое Д. Н. Николичем, который так же, как Кохановская и

Розанов, стоит на автобиографических позициях, отличается от интерпретации этих авторов и И. Анненского тем, что воспоминания Пушкина относятся к детской лицейской поре, падающей примерно на 1806—1809 гг. В «тенистом саде» он, соглашаясь с М. А. Цявловским, видит сад Юсупова в Москве[21], а образ «дивной жены» снижает до узко биографического воспоминания об одной из воспитательниц-гувернанток! Николич пишет: «К решению вопроса относительно "дивной" воспитательницы ("жены") можно... привлечь... имена: одной из теток поэта Анны Львовны Пушкиной, или наиболее любимой из многочисленных гувернанток в доме Пушкиных — "мисс Белли", или некоей "Анны Ивановны", упоминаемой самим Пушкиным в наброске плана автобиографических записок».

Д. Н. Николич даже не пытался ограничить число женщин, в которых он находил возможным усматривать прообраз «величавой жены». В стихотворении «В начале жизни» Николич видит «лирико-поэтический замысел повествования о детстве»; «что-то необычайно важное и по-пушкински глубокое проглянуло в размышлениях поэта о детстве», — пишет он. Основная заслуга Николича в том, что он еще в 1958 г. полностью порвал с «ренессансной комментаторской версией», однако, центральной темы стихотворения он не увидел.

К раскрытию центральной художественной идеи стихотворения приблизились многие крупные критики, как из числа разделяющих автобиографическую версию, так и «медиевистов». Парадоксально, что вернее всех суть замысла понял Г. А. Гуковский (1958), хотя в дискуссии он и занимал прочную «медиевистскую» позицию — относил реалии стихотворения в пятисотлетнее прошлое и рассматривал духовные состояния его «героя» в обратной хронологической перспективе. Основная ценность работы в том, что Г. А. Гуковский из литературоведов первый с полной определенностью сказал, что в архитектонике стихотворения главная тема — противопоставление двух мировоззрений: средневековой католической Церкви и греческого античного полиса. «Величавая жена» — это Церковь-воспитательница, а «чу-

жой сад» — античный мир, знакомство с которым принесла эпоха Возрождения. Для передового человека этой эпохи, согласно Гуковскому, типичен отход от соборного христианского мышления и от богословской догматики, и радостное признание победы «Дельфийского идола — Аполлона, который несет художнику и мыслителю свободу творческого вдохновения...».

Противоречивость мнений существует в понимании предпоследней, очень важной терцины:

Безвестных наслаждений темный голод
Меня терзал — уныние и лень
Меня сковали — *тщетно был я молод.*

В этой терцине, говорит Гуковский, герой поэмы признает бессмысленную потерю своей молодости, лучших лет жизни, когда он был скован христианской дисциплиной и моралью — был «рабом церковной мысли».

Нетрудно убедиться, что такое толкование диаметрально противоположно замыслу Пушкина и стоит в резком противоречии с хорошо установленными фактами его биографии и творческого пути. Ошибка Гуковского — следствие несоблюдения выставленных мной выше руководящих принципов работы над духовным и творческим путем Пушкина.

М. Н. Розанов подошел к толкованию этой терцины более объективно, и с ним нельзя не согласиться. Он связывает ее с покаянными мотивами в творчестве Пушкина 1828—1829 гг.

* * *

Мы располагаем обширными научно-достоверными материалами о царскосельских парках и стоящих в них монументах и скульптурах. Наибольшее для нашей темы значение имеет книга Ильи Яковкина 1829—1831 гг., которая найдена в библиотеке Пушкина[22]. В ней есть описание всех скульптур «садов Екатерины» — исторических деятелей, а также богов и героев греческого пантеона. Даже предварительное пока определение реалий, послуживших для описа-

ния «кумиров чужого сада», *заставляет предполагать наличие реалий, подобных им,* для антагонистического по замыслу Пушкина образа «величавой жены».

Имеются веские основания утверждать, что Пушкин, создавая образ «величавой жены», исходил из древнерусской иконы Богоматери «Знамение». Она находилась в Знаменской церкви, построенной по указу Елизаветы Петровны в березовой роще близ Лицея. Эта роща была местом отдыха и игр лицеистов; там они были полными хозяевами, и каждый курс имел свои цветочные клумбы и дорожки. Здесь, близ церковной ограды, еще первый лицейский выпуск поставил памятник «гению места» с латинской надписью: «Genio loci» [23].

Царскосельская икона значится в приемно-сдаточной описи Знаменской церкви 1748 г. Под порядковым номером 8 записано: «Над царскими вратами в иконостасе образ Знамения Пресвятыя Богородицы писан на доске оклад риза и венцы золота червонного...» Полный текст описи опубликован А. Бенуа (1911). В эту церковь ходили императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II, а позже и Александр I. Во время пожара в Екатерининском дворце в 1820 г. Александр I велел обнести икону «Знамение» вокруг пылавшего здания. Можно не сомневаться, что в эту церковь в соответствующие праздники ходили также лицеисты, хотя, как правило, они посещали дворцовую церковь Воскресения и стояли там на хорах.

Согласно преданию, икона «Знамение» была привезена царю Алексею Михайловичу в подарок из Византии и по наследству перешла к Елизавете Петровне, которая особенно чтила эту икону: указ о восшествии царицы на престол был обнародован 27 ноября 1741 г., в праздник Знамения. В мае 1747 г. состоялось перенесение иконы из Петербурга в Царское Село, в церковь Знамения, которая строилась для иконы с 1734 г. по специальному указу Елизаветы. Она украсила ее золотой ризой и драгоценными камнями, как это видно в описи.

В 1944 г. при поспешном отступлении немцев из Детского Села они увезли с собой икону «Знамение», а также все

другие иконы из обеих церквей. Обоз с церковной утварью был брошен немцами в Риге. Я располагаю снимком с иконы «Знамение», сделанным в Риге в сороковых годах бывшим настоятелем церкви Знамение в Царском Селе доцентом Я. Янсоном. В 1847 году эта икона вместе с другими по распоряжению уполномоченного по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по г. Ленинграду А. И. Кушнарева передана Ленинградской Духовной Академии. В Академии были возобновлены венцы на головах Богоматери и Младенца. Снимок с иконы, сделанный в Риге, свидетельствует, что венцы были немцами сняты.

В сентябре 1970 г. Музей древней русской живописи имени Андрея Рублева в Москве командировал для осмотра и датировки этой иконы старшего научного сотрудника А. И. Иванову. Привожу ее заключение:

«Описание иконы "Богоматерь Знамение"

В настоящее время в Ленинградской Духовной Академии находится икона "Богоматерь Знамение" из Знаменской церкви Царского Села.

Она помещена в застекленном киоте, который не позволяет установить ее точный размер и более тщательно рассмотреть живопись.

На продолговатой по форме доске (приблизительный размер 210 x 140), на зеленовато-голубом фоне представлена с вздетыми вверх руками Богоматерь с поясным изображение Христа Эммануила на сфере, помещенной на груди Богоматери. Взгляд темных глаз Богоматери обращен влево. Плавной линией очерчена ее фигура, силуэту которой как размером, так и объемностью формы, приданы величие и торжественность. В верхней части иконы помещены херувимы: слева — красный, справа — зеленый. Эти изображения также традиционны.

На темно-зеленом фоне полей находятся справа: Алексей, человек Божий, под ним — святая Елизавета, слева — апостол Петр и пророк Захария.

По иконографии данное изображение "Богоматери Знамение" восходит к образцу новгородской иконы XII в., получившей широкое распространение в древнерусской живо-

писи. Подобные иконы были или храмовыми или входили в пророческий ряд иконостаса.

Живопись иконы "Богоматерь Знамение" из Царского Села может быть датирована второй половиной XVII в. Она по стилистическим приемам близка мастерам Оружейной палаты, для которых является типичным вохрение светлой охрой с подрумянкой, плавная спокойная моделировка формы, придающие изображению характер торжественности, величия. Столь же характерной чертой является стремление подчеркнуть пышность, усилить красочность, придать живописи нарядность. Отсюда — нанесение на подкладку омофория Богоматери орнамента, украшение нарукавников, каймы и омофория жемчугом и драгоценными камнями в витиеватой оправе.

Икона оставляет сильное впечатление. Она монументальна и величественна. Если учесть, что она была помещена в пышный оклад, то ее воздействие на окружающих было значительным.

В настоящее время икона хорошей сохранности. Живопись находится под олифой, незначительно потемневшей.

А. И. Иванова, старший научный сотрудник
Музея древнерусской живописи
имени Андрея Рублева.

15 сентября 1970 г.».

Напомню, что изображение Богоматери на иконе «Знамение» производило и на Пушкина лицейских лет прежде всего *величественное* впечатление.

Описавший эту икону в 1865 г. настоятель придворной царскосельской церкви магистр Иоанн Цвинев отметил одну замечательную ее особенность, характерную, впрочем, для многих произведений древнерусского искусства. «Многие утверждают, — пишет он, — и мы сами замечали, что лицо Богородицы почти в одно время производит на молящихся разные впечатления: то оно кажется светлым и умильным, то вдруг "темнеет" и принимает строгий вид, хотя бы вы стояли в том же месте». «Ангельская доброта во взорах и вместе как бы *строгость*; простота форм и в то же время красота их и изящество» [24].

Строгость красоты Богоматери на иконе отметил также Пушкин, подчеркивая, что эта строгость его смущала (и из этого смущения могли проистекать многие его юношеские заблуждения):

> Меня смущала *строгая* краса
> Ее чела, спокойных уст и взоров,
> И полные святыни словеса.

О том, что Пушкин в своем стихотворении изобразил не простую, а «дивную жену», свидетельствуют употребленные им славянизмы: «чело», «очи», «словеса», «уста».

Предваряя изложение моего личного понимания стихотворения Пушкина «В начале жизни школу помню я», хочу уже здесь сказать, что А. С. Пушкин был, по-видимому, первым среди представителей русского образованного общества первой половины XIX в. не только оценившим художественные достоинства этого произведения древнерусской иконописи, но и выразившим свое впечатление в поэтической форме. Он не усомнился противопоставить «Богоматерь Знамение» художественным образам античной скульптуры, а живой символ Богоматери — пантеистическим силам древней Эллады. Таким образом, если наша гипотеза о «величавой жене» как об иконе «Знамение» верна, то Пушкин на столетие предвосхитил взгляд на древнюю иконопись как на высокое искусство, получивший полное и широкое признание только в наши дни.

* * *

Стихотворению Пушкина «В начале жизни» нет аналогий в произведениях поэта ни предыдущих лет, ни последующих. Оно уникально и по форме и по содержанию, хотя имеет глубокие корни в предшествующем творчестве поэта и зрелые плоды в конце жизни Пушкина — в стихах 30-х гг.

«В начале жизни школу помню я» должно быть отнесено к жанру воспоминаний, причем оно, быть может, самое глубоко-философское из воспоминаний о Лицее, написанных к годовщинам его основания. К ним относится: «19 октяб-

ря 1825 г.», «И. И. Пущину» (1825)[25], «Воспоминания в Царском Селе» (1829)[26], «Чем чаще празднует Лицей» (1831), «Была пора: наш праздник молодой» (1836).

Теперь надлежит уточнить остальные реалии стихотворения. Заметим, что они сознательно поэтом затушеваны.

«Тенистый сад», о котором говорится в черновиках — это лицейский сад, то есть березовая роща, примыкавшая к лицейскому корпусу за его оградой. Роща была тем райским местом, где воспитанникам предоставлялась полная свобода. Как говорилось, в ней стояла церковь Знамения с иконописным изображением Богоматери-Оранты, столь отличным от всех икон дворцовой церкви, которую обычно посещали лицеисты.

«Чужой сад» — это Екатерининский парк с его аллеями, гротами, скульптурами и другими произведениями паркового искусства. Этот «чужой сад» противопоставляется в стихотворении лицейскому саду и «школе».

«Кумирами» поэт называл памятники русским историческим и военным деятелям, «изображениями бесов», «идолами» — античные скульптуры богов греческого пантеона.

«Дельфийский идол», как показывает само название — скульптура Аполлона; «женообразный волшебный демон» — скульптура Вакха (а не Афродиты, как предполагали многие комментаторы). Говорит поэт о полном своем пленении этими мифологическими существами античного пантеона в пору ранней юности, «в начале жизни».

«Величавая жена» — икона «Знамение» — чудотворный образ, который символизирует христианское мировоззрение и веру. Стихотворение было задумано в философском плане как противопоставление реалий античного мира реалиям мира христианского. В нем ярко выражена идейная противоположность двух миров и глубокий психологический трагизм в личных переживаниях отрока. Вместе с тем мы определенно чувствуем, что сопоставление двух миров принадлежит перу историка и мыслителя, знавшего корни этого антагонизма. Столкновение христианской идеологии с античным мировоззрением, традиционной веры с вольнодумством вольтерианского пошиба — рельефнее всего изоб-

ражено Пушкиным в нашумевшем стихотворении «К вельможе», написанном весной 1830 г.

На примере биографии Н. Б. Юсупова Пушкин показал влияние французской скептической философии XVIII в. на идеологию русского дворянства и на художественную культуру России екатерининского времени. Пушкин изображает княжеский дворец в подмосковном Архангельском, окруженный регулярным парком с античными скульптурами.

Если Юсупов смотрел на революционные события во Франции и на борьбу философских воззрений на Западе с невозмутимым спокойствием, то совершенно иначе воспринимало это русское передовое дворянство первой четверти XIX в.; очень остро переживал эту борьбу и Пушкин в дни ранней юности.

О своем отрицательном отношении к учению Церкви и тяжелом душевном состоянии при слушании богослужения Пушкин засвидетельствовал в выпускном своем стихотворении «Безверие» (1817). Автобиографические моменты этого стихотворения неосновательно отрицались многими критиками:

Во храм ли Вышнего с толпой он молча входит,
Там умножает лишь тоску души своей.
При пышном торжестве старинных алтарей,
При гласе пастыря, при сладком хоров пенье,
Тревожится его безверия мученье.
Он Бога тайного нигде, нигде не зрит,
С померкшею душой святыне предстоит,
Холодный ко всему и чуждый к умиленью,
С досадой тихому внимает он моленью[27].

Стихотворение «Безверие» показывает духовное состояние поэта в юности. Свои юношеские переживания он вспомнил в 1830 г. и отразил в стихотворении «В начале жизни школу помню я», когда стоял уже на совсем других позициях. Эти два автобиографических произведения лиры Пушкина дополняют друг друга, но по своей духовной настроенности они полярны.

В стихотворении «Безверие» одна строка позволяет утверждать, что тяжелые переживания «юноши» связаны с

конкретным храмом: «Во храм ли Вышнего *с толпой* он молча входит...».

В какой же храм мог Пушкин-лицеист входить «с толпой»? Конечно, не в дворцовую церковь Воскресения, куда доступ «толпе» был закрыт, а именно в церковь Знамения, которая в лицейские годы Пушкина была приходской, а «толпу» в нее привлекала чудотворная икона.

Возможно и другое толкование, что словом «толпа» Пушкин, потерявший веру, подчеркивал свое несогласие во взглядах и верованиях с необразованным народом, но более вероятно, что это слово в «Безверии» Пушкин употребил в прямом смысле: он вспомнил о толпе, в которой стоял при посещении Знаменской церкви.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ЧААДАЕВЫМ

Теперь мы еще раз должны коснуться отношения Пушкина к Чаадаеву.

Свои религиозно-философские мысли Чаадаев развивал и излагал в форме свободной христианской философии.

Чаадаев не был богословом, о целом ряде высоких христианских истин он говорил, употребляя ошибочные и неточные, расплывчатые выражения [1]. «Я, благодарение Небу, не богослов, не законник, а просто христианский философ» [2]. Однако его философская мысль представляет, несомненно, богословский интерес. Он всегда искренен, оригинален, мысль его свободна, не связана авторитетами, независима и направлена к истине. Чаадаев убежденный христианин, и не только не скрывает своей веры и преданности истинам христианства в кругу светского общества, но ставит себе целью внутреннюю миссию. Он, несомненно, обладает даром духовного убеждения, даром влияния. Эти качества вместе с бóльшой терпимостью объясняют нам, почему такие разные люди, как Пушкин и Чаадаев, могли дружить.

Чаадаев видел в христианстве не только нравственную силу, призванную перевоспитать человека, но и божественную. Эта божественная сила действует в духовном мире столь же непреложно, как физические и биологические силы в мире природы. Действие ее наглядно проявилось в истории западных обществ, что и привело к созданию европейской христианской цивилизации, но не нашло себе точки при-

ложения у нас на Руси. Это произошло, по Чаадаеву, по следующим причинам. Во-первых, мы якобы получили поврежденное христианство, так как приняли его из Византии, где оно было искажено честолюбивым патриархом Константинопольским Фотием[3]. Во-вторых, христианские идеи не успели пустить у нас глубоких корней и христианское общество не смогло быть построено, так как Киевская Русь подчинилась власти татар. В-третьих, после освобождения от татарского ига мы построили у себя общество, в основу которого было положено крепостное право, несовместимое с христианством: «хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созрел».

Чаадаев не мыслил христианства вне его социального содержания[4]. Искупление человечества от первородного греха, совершенное Иисусом Христом, говорил он, следует рассматривать не только со стороны его воздействия на отдельного человека[5], но также на весь исторический процесс. «Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нем есть *чисто историческая сторона*, которая является одним из самых существенных элементов догмата и которая заключает в себе, можно сказать, всю философию христианства. В тот день, когда окончательно исполнится дело искупления, все сердца и умы сольются в одно чувство, одну мысль, и тогда падут все стены, разъединяющие народы и исповедания»[6]. Согласно Чаадаеву, плодом искупления, «процесс» которого протекает в истории народов, явится построение «счастливого» справедливого общества — Царства Божия на земле...

Он пишет: «Несмотря на всю неполноту, несовершенство и порочность, присущие европейскому миру в его современной форме, нельзя отрицать, что Царствие Божие до известной степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его окончательного водворения на земле»[7]. Такова теократическая иллюзия и мечта Чаадаева.

«Царствие Мое не от мира сего», — ответил Спаситель Пилату, а Чаадаев ждал его водворения в системе государ-

ства, здесь, в истории, на земле! «Разве вы не верите молитве Господней?» — аргументировал он в спорах по этому вопросу.

Такова в самом коротком изложении религиозно-философская концепция «Первого философического письма» Чаадаева, из которой он сделал практический вывод как для себя, так и для всякого христианина: «Теперь каждому важно знать, какое место отведено ему в общем призвании христиан, то есть какие средства он может найти в самом себе и вокруг себя, чтобы содействовать достижению цели, поставленной всему человечеству» [8].

В письме к Пушкину примерно в эти же дни (апрель 1829 г.) он пишет: «Мое пламенное желание, друг мой, видеть вас посвященным в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание» [9]. Одного этого письма достаточно, чтобы судить о том, на какие темы беседовали друзья и в каком направлении старался Чаадаев повлиять на Пушкина.

После переезда поэта с семьей в Царское Село между ним и Чаадаевым начинается переписка, которая позволяет нам уяснить взгляды поэта по затронутым Чаадаевым вопросам. Инициатива по-прежнему принадлежит Чаадаеву: «Очень жаль, друг мой, что нам не удалось соединить наши жизненные пути. Я продолжаю думать, что мы должны были идти об руку и из этого получилось бы нечто полезное и для нас и для других!» «Пишите мне по-русски; вы должны говорить только на языке своего призвания. *Я жду от вас хорошего длинного письма*; пишите мне обо всем, о чем пожелаете; все, что исходит от вас будет мне интересно. Надо только начать; я уверен, что у нас найдется тысяча вещей, чтобы рассказать друг другу. Ваш, весь ваш, от всего сердца. Чаадаев» [10].

Через три месяца (18 сентября) Чаадаев пишет длинное взволнованное письмо, в котором начинает первый философский разговор с Пушкиным. Он ищет отклика. «Найду ли его, мой друг, в вашей душе? Посмотрим. Однако при одной возможности сомнения в этом у меня падает из рук

перо. От вас будет зависеть, чтобы я поднял его; немного сочувствия в вашем следующем письме... Поройтесь немного в вашей голове, и, в особенности, в вашем сердце, которое так горячо бьется, когда хочет этого: вы найдете там больше предметов для переписки, чем нам может понадобиться на весь остаток наших дней».

В том же письме он поздравляет Пушкина с полученным поручением написать «Историю Петра Великого». Эта тема была особенно близка Чаадаеву. Он пишет: «Подожду, прежде чем сказать вам что-либо по этому поводу, (хочу), чтобы вы сами заговорили со мной об этом» [11].

Итак, Чаадаев прежде всего хочет вызвать активность своего друга. Всеми силами, употребляя различные приемы, он вызывает Пушкина на разговор. Чаадаев добился этого разговора, но он растянулся на пять лет. В июле 1831 г. Пушкин откликнулся на Шестое и Седьмое письма [12], в октябре 1836 г. — на Первое, в связи с его опубликованием [13].

О характере отношений Пушкина и Чаадаева после 1829 г. в советском литературоведении ничего не говорится. Касаться этой темы было трудно, так как пришлось бы говорить не только о системе христианской философии, разработанной Чаадаевым, но и о христианском мировоззрении Пушкина в последний, наиболее творческий период его жизни. В прямой связи с тенденцией скрыть истинные взгляды Пушкина стоит и другая: фальсифицировать взгляды его друга Чаадаева. Старое изречение «скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты» — остается в силе и в наши дни. Необходимо было окружить взгляды Чаадаева возможно более густым туманом для того, чтобы не прояснилось и истинное лицо Пушкина [14].

Что же прочел Пушкин, когда развернул привезенные в Царское Село «Письма»?

Идеологическая основа Шестого письма, несмотря на вполне светский тон, настолько недвусмысленна, что Вяземский — критик авторитетеный и беспристрастный — дал о нем отзыв в письме Пушкину как о произведении религиозном: «Сколько есть истинно прекрасного и прекрасно истинного в сочинении его *религиозном*» [15].

В основе всей духовной культуры человечества лежат богооткровенные истины. Эти истины рождены в мозгу человека не собственным его природным разумом, а открыты ему Разумом Божественным. Это откровение чище всего сохранялось в древнееврейском народе, но отблески истины о Едином Боге-Творце мы находим и у других народов [16].

«Предания всех народов мира единогласно признают родиной первых человеческих познаний одни и те же страны» [17]. Чаадаев полностью отрицает теорию естественного прогресса как самого человека, так и человеческого общества и культуры («бессмысленная система механического совершенствования нашей природы, опровергнутая опытом всех веков») [18]. Чаадаевская философия истории — это «созерцание божественной воли, властвующей в веках и ведущей человеческий род к конечным целям». Орудиями Промысла Божия в Ветхом Завете были великие пророки Моисей, Давид и другие. Всемогущая божественная воля отнюдь не связывает ни разума, ни воли человека, «человеческий разум оставался совершенно свободным» [19]. Рождение на земле Спасителя было новым «толчком, который был дан человечеству всемогущей рукой». «Оно открыло первый день нашей эры» [20]. «Человек стал во всяком положении *жаждать истины и быть способным к ее познанию*, что налагает на этот исторический момент поразительную печать Промысла и Высшего Разума». «Все человеческое общество возродилось в этот день». «Огромное превосходство нового общества перед древним еще не оценено надлежащим образом». Указывая на современные ему Китай и Индию — страны, не принявшие христианства и оставшиеся живыми памятниками политических цивилизаций, Чаадаев говорит: «на их судьбе мы можем узнать, что сталось бы с человечеством без нового толчка, который был дан ему всемогущей рукой в другом (то есть в Палестине. — *Б. В.*) месте...» [21] «Только христианское общество поистине одушевлено духовными интересами, и именно этим обусловлена способность новых (то есть христианских. — *Б. В.*) народов к совершенствованию, именно здесь вся тайна их культуры». Чаадаев твердо верил, что нас (то есть Европу. — *Б. В.*) ни-

когда не постигнет ни китайский застой, ни греческий упадок... без вторичного всемирного потопа невозможно вообразить себе полную гибель нашего просвещения»[22]. С самого своего появления на земле христианство установило идейное единство между всеми принявшими его личностями и народами. Это таинственное единство, в котором заключается вся Божественная идея и вся сила христианства, осуществляется вхождением всех христиан в единую Церковь. Догмат о единстве Церкви включен в Никейский Символ веры, исповедуемый всеми христианами. Это единство запечатлено кровью Спасителя и кровью мучеников. Весь религиозно-философский смысл исторического прогресса, а также цель его, *после появления христианской идеи* на земле, заключается в установлении полного единства не только отдельных лиц, но и всех народов. «Наступит день, — пророчески говорит Чаадаев, — когда границы, разделяющие христианские народы, снова изгладятся... Для христианина это предмет веры... для всякого серьезного ума это вещь *доказанная*. И даже, кто знает, не ближе ли этот день, чем можно было думать?»

Процесс все более сознательного восприятия умом и сердцем истин христианства есть, по мнению Чаадаева, «священная история христианских народов, аналогичная Священной истории Ветхого Завета, которая неминуемо приведет к построению подлинно христианского общежития (общества) и христианской культуры, иначе говоря, к построению Царства Божия на земле. Его желанием было увидеть не столько «устроенную» душу, сколько справедливое христианское общество и проникнутую духом христианства культуру. Слова Христа: «И вот Я буду с вами во все дни до скончания века» (Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20) он понимал как обетование Царства Божия на земле. Он не видел различия между построением невидимого небесного града и града земного. Он даже издевался над идеей невидимой Церкви, полагая, что она «новоизобретение протестантов».

Поэтому Первое философическое письмо имеет эпиграф: «Да приидет Царствие Твое», и *все* свои письма к А. И. Тур-

геневу, писанные в 30-х годах, он кончает этими же словами молитвы Господней. Видимым символом единства веры на земле является католическая Церковь и папство. Папство «*централизует* христианские идеи, сближает их между собой, напоминает даже тем, кто отверг идею единства, об этом высшем принципе их веры». «Разве мы уже на небе, чтобы безнаказанно отбрасывать условия существующего порядка вещей?» — восклицает Чаадаев. «Папство вытекает из самого духа христианства: это видимые знаки единства, а вместе с тем, ввиду происшедшего разделения, и символ воссоединения... Как не признать за ним верховной власти над всеми христианскими обществами?» [23]

Отсюда вытекает резко отрицательное отношение Чаадаева к реформации, к протестантизму, к «свирепому убийце Кальвину», к «буйному Цвингли» и к Лютеру. Чаадаев обвиняет реформацию в нарушении основного завета Спасителя, выраженного в Его первосвященнической молитве: «*Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы*» (Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 11). Он обвиняет их в искажении таинства причастия, в непонимании его духа («Как эти умы могли так странно ошибаться относительно духа этого таинства?»), ибо «что пользы людям в единении со Спасителем, если они разъединены между собой?» О восточной, то есть греко-российской, Церкви Чаадаев в Шестом письме не упоминает, так как о ней было достаточно сказано в Первом письме, политически более остром и более уязвимом с цензурной точки зрения. Чаадаев рассматривал ее как общество, отделившееся от единства католической Церкви. В Шестом и Седьмом письмах он не хотел этого говорить, так как предназначал их для печати.

На изложенную Чаадаевым концепцию всемирной истории культуры и историко-философскую концепцию истории христианской Церкви Пушкин ответил письмом от 6 июля 1831 г. Несмотря на просьбу Чаадаева писать ему порусски, Пушкин опять пишет по-французски: «Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего (!! — *Б. В.*), и мы продолжим беседы, начатые в

свое время в Царском Селе и так часто с тех пор прерывавшиеся»[24]. Пушкин начинает свою рецензию с совершенно справедливого указания, что первые страницы Шестого письма не могут быть поняты читателем, который не знаком с религиозно-философскими рассуждениями автора, изложенными в предыдущих письмах. «Мне кажется, что начало слишком связано с предшествовавшими беседами, с мыслями, ранее развитыми, очень ясными и несомненными для вас, но о которых читатель не осведомлен. Вследствие этого мало понятны первые страницы, и я думаю, что вы бы хорошо сделали, заменив их простым вступлением или же сделав из них извлечение. Я хотел было также обратить ваше внимание на отсутствие плана и системы во всем сочинении, однако рассудил, что это — письмо и что форма эта дает право на такую небрежность...» В этом абзаце Пушкин делает второе справедливое замечание Чаадаеву: мысль его изложена далеко не всегда ясно и последовательно. Усвоение ее требует больших усилий, автор может быть понят читателем неточно или вообще ошибочно. Замечание это сделано Пушкиным очень осторожно и вежливо, как подобает опытному литератору и критику, привыкшему щадить самолюбие автора.

Далее Пушкин дает положительный отзыв о литературных качествах писем Чаадаева, о достигнутой им ясности характеристик исторических деятелей: «Всё, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно».

По поводу историко-философских взглядов Чаадаева Пушкин высказывает ряд критических замечаний: «Ваше понимание истории для меня совершенно ново, и я не всегда могу согласиться с вами: например, для меня непостижимы ваша неприязнь к Марку Аврелию и пристрастие к Давиду (псалмами которого, если только они действительно принадлежат ему, я восхищаюсь). Не понимаю, почему яркое и наивное изображение политеизма возмущает вас в Гомере. Помимо его поэтических достоинств, это, по вашему собственному признанию, великий исторический памятник. Разве то, что есть кровавого в Илиаде, не встречается

также и в Библии? Вы видите единство христианства в католицизме, то-есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской. Я плохо излагаю свои мысли, но вы поймете меня. Пишите мне, друг мой, даже если бы вам пришлось бранить меня. Лучше, говорит Экклезиаст, внимать наставлениям мудрого, чем песням безумца» [25].

В письме Вяземскому Пушкин пишет о том же: «Благодарю Александра Ивановича (Тургенева. —*Б. В.*) за его религиозно-философическую приписку. Не понимаю, за что Чаадаев с братией нападает на реформацию, то-есть на известное проявление христианского духа. Насколько христианство потеряло при этом в отношении своего единства, настолько же оно выиграло в отношении своей народности (popularité)» [26]. Это суждение Пушкина справедливо с точки зрения социологической и исторической, но не богословской. Следует заметить, что богословские взгляды Пушкина в 1831 г. еще не были достаточно четкими (он и сам понимал это), как, впрочем, и взгляды Чаадаева, Тургенева, Киреевского и многих других видных представителей русского образованного общества, но то, что Пушкин — убежденный христианин и разбирает «письмо» Чаадаева с христианских позиций, не вызывает сомнений.

ГЛАВА 11

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

3 января 1833 г. Пушкин написал П. С. Санковскому (тифлисскому издателю) письмо с извинениями, что не прислал ему обещанных новых стихов для альманаха. Объясняя причины своей неисполнительности, он писал: «мне нечего было вам послать и я все ждал, как говорится, минуты вдохновения, то есть припадка бумагомарания. Но вдох-

новение так и не пришло, в течение последних двух лет я не написал ни одного стиха»[1]. О том же он пишет в официальном письме заместителю Бенкендорфа Мордвинову: «В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, *не написав ни одной строчки чисто литературной*»[2].

Он работал в архивах, изучая материалы для «Истории Петра Великого»[3] и «Истории Пугачева»[4], собирая опросный материал на местах среди стариков — свидетелей пугачевщины[5]. В эти же годы он изучал Евангелие и читал книги религиозно-философского содержания. Так, из записки к А. С. Норову узнаем, что Пушкин читал книгу «Le mystére de la croix», 1791[6]. Плетнев сообщает, что Пушкин как-то сказал ему: «Разве ты не знаешь, что последние два года я кроме Евангелия ничего не читаю»[7]. В эти годы, и особенно в 1834-ом, в глубине его души происходил незримый и тщательно скрываемый ото всех процесс перестройки его нравственного существа и изменения взглядов. «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют»[8], — писал он. В конце 1835 г. он писал П. А. Осиповой: «Как подумаю, что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения[9], мне кажется, что все я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и проч., и проч.»[10].

В 1834 г. в общественном положении Пушкина произошло сильнейшее потрясение. Пушкин обратился через Бенкендорфа к царю с просьбой об отставке. Правительство усмотрело в этом шаге проявление черной неблагодарности. Пушкин под давлением друзей (особенно Жуковского) был принужден взять свое заявление обратно. Не прошло и года, как он вторично обратился с прошением о долгосрочном отпуске: оно было рассмотрено как равнозначное прошению об отставке. Не будем говорить о перехвате тайной полицией писем Пушкина к жене, о чтении их царем, о крайнем негодовании Пушкина и вообще обо всей общественно-политической стороне его попыток бежать из Петербурга от придворной жизни в деревню. Она достаточно вы-

яснена рядом хороших исследований. Наша задача обратить внимание на религиозные мотивы действий Пушкина, которые в условиях нашей действительности совсем не принимаются во внимание литературоведами. Прежде всего познакомимся с пушкинской поэмой «Странник», самой короткой по числу стихов, но в которой религиозные мотивы пушкинской лиры выражены особенно ясно. Нет, пожалуй, более выпуклого примера фальсификации мировоззрения Пушкина, чем исследования, посвященные этой маленькой поэме и лирическому отрывку «Пора, мой друг, пора».

Имеется интересная работа Д. Д. Благого [11]. Поражает, однако, замалчивание многочисленных свидетельств о внутренней религиозной направленности Пушкина этого периода, которая бесспорна, если объективно рассмотреть приводимые Благим поэтические произведения Пушкина. Она также уясняется из приводимых им же писем Пушкина к жене и свидетельств современников. Автор прав в том, что поэма Пушкина теснейшим образом связана с его автобиографией, однако (и это существенно), поэзия его не может быть целиком объяснена только анализом его общественно-политических взглядов: необходимо привлечь и его религиозное миросозерцание [12]. Одно от другого неотделимо, как неделима душа [13]. Только та методология научна, которая учитывает объективное существование и действие как социальных, так и религиозных стимулов в жизни человека, даже если рассматривать их только как «надстройки». Читающая публика обычно не замечает «Странника», несмотря на безукоризненное художественное совершенство этого произведения пушкинского гения. Чтобы понять его, нужен зрелый духовный возраст, нужно, чтобы «спал с очей туман», чтобы были «избавлены от бельма глаза слепого». Можно согласиться с Д. Д. Благим, что «Странника» следует рассматривать как этапное произведение в поэзии Пушкина, также и с тем, что оно преемственно связано с «Пророком» в окончательной редакции, но Благой умалчивает, в чем же специфика этапа, почему именно «Странника» следует считать итоговым, последним словом всего жизненного и творческого пути Пушкина [14]. Благой пишет, что Пушкин

ослабил ярко выраженную религиозно-христианскую орнаментику подлинника. Он вовсе отбросил обильные ссылки Беньяна на тексты Священного Писания, устранил имя пилигрима Христианин, сменил «Евангелиста» на простого юношу; наконец, слово «пилигрим», означавшее человека, идущего на поклонение святым местам, также заменил более нейтральным «Странник»[15]. Снял Пушкин также прямолинейно-христианский аллегоризм Беньяна[16].

Что же оставил Пушкин в своей поэме? По мысли Благого, — «национальный и исторический колорит подлинника — характернейшего английского произведения XVII в., эпохи пуританской революции, Кромвеля, Мильтона».

Однако с этим нельзя согласиться. Все перечисленные Д. Д. Благим изъятия, сделанные Пушкиным (если не считать, быть может, цитат из Писания), как раз и являются «народной одеждой», колоритом и спецификой сектанта-пуританина, «английского ересиарха», безбрежного мистика, «с его тупым, мрачным и непреоборимым стремлением и со всем безудержием мистического мечтания»[17]. Все это изъял Пушкин и этим приемом *усилил* христианское содержание, сняв с Беньяна все ограниченно-сектантское. Поэма его получила полное христианское звучание. Как справедливо указывает Благой, в словаре Пушкина действительно не встречается иностранного слова «пилигрим», не встречается и слова «паломник», но отнюдь не потому, что Пушкин отрицательно относился к паломникам (этот оттенок, безусловно, есть в мысли Благого). Напомним пушкинский текст из рецензии на «Путешествие к святым местам» А. Н. Муравьева: «Он посетил св. места как верующий, как смиренный христианин, как простодушный крестоносец, жаждущий повергнуться во прах пред гробом Христа Спасителя. — Он traverse * Грецию, préoccupé ** одною великой мыслию, он не старается, как Шатотобриан, воспользоваться противуположною мифологией Библии и Одиссеи»[18]. «...Молодой поэт думал о ключах св. храма, о Иерусалиме,

---

* Пересек (*фр.*)
** Занятый (*фр.*)

ныне забытом христианскою Европою для суетных развалин Парфенона и Ликея...»; «...он не останавливается, он спешит... вступает в обетованную землю, наконец с высоты вдруг видит Иерусалим...»

Действительно, Пушкин в рецензии не употребляет слова «пилигрим», не говорит он и «паломник», но тем самым только усиливает значительность рассказа А. Н. Муравьева, «верующего смиренного христианина». Напомним, что в Евангелии также нет ни слова «пилигрим», ни слова «паломник», а есть «странник», причем оно занимает там центральное по смыслу место.

Апостол Павел говорит, что праведники Ветхого Завета, такие, как Авель, Енох, Авраам и Сарра, «умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оныя и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле» (Послание к евреям, глава 11, стих 13).

«Со страхом проводите время странствования вашего», — пишет и апостол Петр (Первое послание апостола Петра, глава 1, стих 17).

«Пришлец аз есмь на земли», — говорит и пророк-псалмопевец Давид (псалом 118, стих 19).

Мы странники в этой временной жизни, «ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества» (Послание к евреям, глава 11, стих 14).

Таким образом, слово «странник» употреблено Пушкиным сознательно, оно передает одну из главных мыслей Евангелия и христианства.

Итак, повторим, что Пушкин полностью отказался от навязчивого аллегоризма Беньяна, невыносимого для русского уха XIX в., от всех его революционно-сатирических взглядов, да и вообще почти от всей громоздкой его фабулы. Он творчески переработал всего лишь 3,5 начальной страницы из 216 английского подлинника, иначе говоря, одно введение к повести. Художественная поэма Пушкина качественно несравнима с аллегорической повестью Беньяна. В поэме есть дыхание вечности, так как она говорит о таинственных переживаниях человека, *обращающегося* от жизни «мира сего» к жизни в Истине. Мы отнюдь не хотим сказать, что

свет, озаривший Савла на пути в Дамаск, — был свет предваряющей благодати. Тот свет воочию показывает человеку реальность и красоту духовного мира и одновременно его собственное жалкое духовное состояние, состояние человека падшего, нуждающегося в милости. Это видение наполняет душу покаянной молитвой к Спасителю и благодарением за незаслуженную Его любовь, поражает душу удивлением: как может Он любить меня? За что? В эти святые минуты человек видит себя духовным взором без всякого самооправдания. Это прикосновение Божественной десницы к душе человека рождает в ней решимость блудного сына: «*Встану и пойду к отцу моему*».

Таким образом, «Странника» следует сопоставить не с «Медным всадником» и не с радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву», как это делает Благой, но с пушкинскими произведениями 1834—1836 гг., которые еще первый биограф поэта П. В. Анненков называет «превосходными песнями, проникнутыми духовным религиозным настроением». В «Страннике» затронута прежде всего духовная тема «бегства от мира сего», то есть центральная евангельская тема, а не «мятежная тема ветров» из «Медного всадника» [19]. То же следует сказать и о сопоставлении «Странника» с политическими воззрениями Радищева. В 1834 г. Пушкин был свободен от революционного пафоса Радищева, что отнюдь не означало, что он «примирился с действительностью» [20]. Он понимал, что открывшиеся ему «спасенья верный путь и тесные врата» несомненно вели в *Царство*, но в «Царство не от мира сего» (Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36).

Кто лучше Пушкина видел и понимал политическую ситуацию России? Кто больше него сделал для пробуждения в обществе «добрых чувств»? Не он ли, окинув духовным взором прожитую жизнь, пророчески сказал о себе:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал [21].

Но Пушкин принципиально не был политическим рево-

люционером — он был твердо убежден, что искомого общественного и личного блага нет на этом пути.

Познакомимся теперь поближе с психологическим (точнее, духовным) содержанием «Странника» — этой глубоко символической поэмы или притчи Пушкина. Каковы ее главные темы?

1. Тема духовной жажды, поднятая им в 1828 г. в «Пророке», «жажды воды живой» (Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 10), глубокая неудовлетворенность человеческой души тем, что может дать нам дольный мир — «долина дикая».

2. Тема греховного бремени человека. «...Моя душа полна Тоской и ужасом, мучительное бремя Тягчит меня».

3. Тема тяжких угрызений совести. «...И тяжким бременем подавлен и согбен, Как тот, кто на суде в убийстве уличен».

4. Эсхатологическая тема Страшного Суда (Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 38-46). Страннику открылась нравственная необходимость и неизбежность грядущего Страшного Суда и кончины мира. «Идет! уж близко, близко время: Наш город пламени и ветрам обречен; Он в угли и золу вдруг будет обращен, И мы погибнем все...»; я «позван в суд загробный — И вот о чем крушусь: к суду я не готов, И смерть меня страшит».

5. Тема неизбежной, неотвратимой смерти всякого рожденного на земле. Ему открылась воочию реальность конца его индивидуальной жизни, быстрое приближение смерти, но в то же время и жизнь после кончины. «Познай мой жребий злобный: Я осужден на смерть и позван в суд загробный...»

6. Тема одиночества и оставленности. «Поутру я один сидел, оставя ложе. Они пришли ко мне; на их вопрос я то же, Что прежде, говорил. ...И наконец они от крика утомились И от меня, махнув рукою, отступились Как от безумного...»

7. Тема осияния истиной. Она открылась ему неожиданно, и свет проник в душу. «...Как от бельма врачом избавленный слепец». Правда открылась внезапно, через «книгу», которая, как это казалось раньше, «не заключает уже для

нас ничего неизвестного»[22]. Евангелие указало ему «спасенья верный путь» и открыло, что в вечную жизнь вводят «тесные врата», то есть духовная жизнь неотделима от подвига.

8. Тема мудрости небесной, которая противоречит земной мудрости. «Мудрость перед людьми — безумие перед Богом». Резкое изменение образа жизни и поведения вызвали неудовольствие родных и друзей: «Мои домашние в смущение пришли И здравый ум во мне расстроенным почли».

В то время, как он воочию видит необходимость изменить в корне весь старый образ жизни — оставить город, «...они с ожесточеньем Меня на правый путь (с их точки зрения. — *Б. В.*) и бранью и презреньем Старались обратить». Он понял, что «враги человеку домашние его» (Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36).

9. Тема мужества и воли. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир» (Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33). Вопреки уговорам жены, ближних и друзей герой поэмы следует совету «юноши», в котором видит посланного ему на жизненном пути светлого и кроткого ангела. В его словах он почувствовал не только истину, но и любовь. «"Иди ж... держись сего ты света; Пусть будет он тебе единственная мета, Пока ты тесных врат спасенья не достиг, Ступай!" — И я бежать пустился в тот же миг... Дабы скорей узреть — оставя те места, Спасенья верный путь и тесные врата».

Поставить в столь сжатой художественной форме все эти темы и наполнить их личным, автобиографическим содержанием, мог только человек, который хорошо знал Евангелие и много о нем думал.

Духовное содержание поэмы Благим не понято и, более того, извращено. Благой пишет: «Религиозность в повести Беньяна сочеталась... с политической и социальной оппозиционностью. Это, несомненно, ощущал и Пушкин, которого... именно эта сторона в книге Беньяна и привлекала к себе больше всего. Перекличка с Радищевым лишний раз свидетельствует, в кругу каких ассоциаций находился поэт, создавая "Странника"»[23].

Всякий легко может убедиться, что в поэме нет ни по-

литической, ни социальной оппозиционности, хотя она и создавалась Пушкиным в тот период его жизни, когда он опять перешел в оппозицию к императору и двору. О его политической оппозиции ясно говорят письма к Жуковскому и жене. Так же, как в «Подражаниях Корану» и в «Пророке», в «Страннике» имеется автобиографический второй план: Пушкин замыслил отставку и «побег» с семьей в Михайловское. Он подал официальное прошение и чуть было не поссорился на этой почве с Жуковским. Родные его и Наталии Николаевны отрицательно отнеслись к его намерению. Желание своего сердца он объяснил жене в послании «Пора, мой друг, пора», но ни о каком влиянии Радищева на создание «Странника», как это утверждает Д. Д. Благой, речи быть не может. Позиция Пушкина по отношению к Радищеву была та же, что и к Вольтеру. Он не разделял ни политических, ни моральных, ни философских взглядов этих авторов. Он сожалел также об их общественном положении [24]. Радищев проявил печальное малодушие и кончил жизнь самоубийством — отравился. Конец, им давно предвиденный, который он сам себе напророчил. Пушкин не называл Радищева ни материалистом, ни атеистом, как это безоговорочно принято в наши дни. Он выражался более осторожно, но достаточно определенно: «Радищев хотя и вооружается противу материализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма» [25].

«В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум принорowленные ко всему, — вот, что мы видим в Радищеве. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием» [26]. Примечательны выводы пушкинской статьи: «...нет убедительности в поношениях, и нет истины,

где нет любви»[27]; «мы никогда не почитали Радищева великим человеком»[28].

Если мы согласимся с Томашевским, комментатором десятитомного академического издания, то должны будем признать, что Пушкин, ставя себе главной целью «снять запрет с имени Радищева»[29], добивался этого путем полного развенчания Радищева. Суждения Пушкина жестоки, но справедливы. Они были подготовлены большой статьей о Радищеве, написанной двумя годами раньше: «Путешествие из Москвы в Петербург»[30]. Уже заголовок статьи образно говорит о диаметрально противоположной точке зрения критика. Пушкин, пользуясь формой путевого дневника, изложил в этой замечательной статье (которая по цензурным соображениям не увидела света при жизни автора) свои мысли по различным вопросам, но суждения его о Радищеве те же, что и в позднейшей статье 1836 г.

Таким образом, указанную Д. Д. Благим связь пушкинского «Странника» с памфлетом Радищева, как и с «Медным всадником», следует признать ошибочной. Подлинные связи тянулись совсем к другому кругу произведений Пушкина, которые Благой нарочито оставляет в стороне.

П. В. Анненков, написавший первую биографию Пушкина и издавший первое полное собрание его сочинений, писал о нем более свободно: «Религиозное настроение духа Пушкина начинает проявляться особенно с 1833 г. теми превосходными песнями, основание которых положило стихотворение "Странник"». Это стихотворение показывает нам «то глубокое духовное начало, которое проникло (то есть пропитало. — *Б. В.*) собой мысль поэта, возвысив ее до образов, принадлежащих по характеру своему образам чисто эпическим»[31]. Под чисто эпическими образами Анненков понимал образы исторические, и в том числе историко-библейские. Сюда он относит стихотворное переложение Пушкиным библейской книги Иудифь «Когда владыка ассирийский»[32], переложение итальянского сонета об Иуде, предавшем Иисуса в руки вооруженного отряда иудейского первосвященника[33], поэму о готском короле Родрике (переложение испанских хроник)[34], повесть о жизни первых

христианских общин в Риме времен императора Нерона [35], стихотворение «Полководец», посвященное участникам войны 1812 года, и особенно Барклаю де Толли [36], «Пир Петра Первого» [37] и стихотворение к 25-ой лицейской годовщине.

Все эти произведения, говорит Анненков, порождены «двойным вдохновением исторического и религиозного свойства». Да, действительно, все они отражают *новое направление* творчества Пушкина, проявившееся в таких стихотворениях на религиозные темы, как «Мирская власть» [38], в котором ярко отражено понимание Пушкиным искупительных страданий Христа на Голгофском кресте, переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего» [39], размышление на духовно-аскетическую тему «Напрасно я бегу к Сионским высотам» [40], а также перевод итальянского духовно-нравственного трактата «Об обязанностях человека» [41]. Только в свете этих произведений может быть понят «Странник».

Попытки истолковать «Странника» вне круга притчевого языка Евангелия обречены на неудачу, уже не говоря о том, что повесть Беньяна, из которой Пушкин заимствовал фабулу, насыщена, если не сказать перенасыщена, евангельскими цитатами. Мицкевич прав, что «Странник» имеет с «Пророком» прямую связь не только потому, что в основе тематики того и другого лежат книги Священного Писания, но и потому, что оба произведения имеют текстуальную связь.

«Странник» начинается следующими строфами: «Однажды странствуя среди долины дикой, Незапно был объят я скорбию великой». В первой редакции «Пророка» читаем: «Великой скорбию томим, В пустыне мрачной я влачился». Скорбь эта была и личная и гражданская: она относилась к казненным друзьям-декабристам. В последней редакции 1828 г. Пушкин приблизил свой текст к библейскому: «Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился». Заметим, что теме духовной жажды посвящен разговор Иисуса с самарянкой, который мы читаем у евангелиста Иоанна в седьмой главе. Таким образом, и по содержанию, и по своим образам «Пророк» приблизился в последней редакции к будущему «Страннику». Выяснено, что «Про-

рок» автобиографичен: текст его лежал в боковом кармане Пушкина, когда он, вызванный из Михайловской ссылки, представлялся царю во дворце. Автобиографичен и «Странник», его связывает с биографией Пушкина *тема бегства*.

Если Мицкевич справедливо признавал «Пророка» (в редакции 1828 г.) этапным произведением Пушкина[42], то Благой таким произведением называет «Странника»[43]. Он не ставит его в связь с последующими произведениями Пушкина, которые характеризуют этот этап, но ссылается на Н. В. Измайлова, который, не без помощи Анненкова, заметил, что Пушкин (в 1833—1835 гг.) «создал ряд чрезвычайно значительных произведений *медитативной* лирики (этот термин служит для вуалирования выражения "религиозная лирика". — *Б. В.*), посвященных по преимуществу одной общей теме в разных ее аспектах: положению в обществе мыслящего и чувствующего человека, ведущему его к неизбежному столкновению с окружающим миром... Тема эта рассматривается Пушкиным как в морально-философском (это другой заменитель для запретных слов: "религиозный", "христианский". — *Б. В.*), так и в социально-политическом плане». Благой оставляет без рассмотрения духовно-христианское содержание «Странника», которое, как мы видели, не вызывает никакого сомнения; он видит в «Страннике» *первое проявление идеологии «передовой части русского общества»* XIX в., которое заключалось в «неприятии жизни господствующего класса» и все увеличивавшемся стремлении к сближению с простым трудовым народом, с Россией крестьянской», то есть, иначе говоря, начало «демократизации русской литературы, развития в ней народности»...[44] Все это крайне нарочитая натяжка!

Такого рода подход к творчеству Пушкина безгранично снижает его духовный уровень. Есть объективные основания признать справедливость мысли Анненского, выраженной более ста лет назад, что для последнего этапа поэтического творчества Пушкина характерно все большее проникновение его поэзии высокими историческими умозрениями и все большим религиозным вдохновением.

Тема бегства из столицы, из родительского дома разраба-

тывалась Пушкиным в нескольких произведениях и уже давно занимала его. Прежде всего она ярко выражена в лирическом его послании к жене: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит» [45].

Пушкина тяготило положение при дворе (он имел придворный чин камер-юнкера, что воспринималось им как оскорбление). Оно требовало, кроме того, больших расходов, и Пушкин все время был в долгах. Пушкин был взбешен, когда узнал, что письма его к жене вскрывались тайной полицией и доставлялись для прочтения царю. Как уже говорилось, Пушкин дважды подавал прошения об отставке, но этому противилась не столько Наталия Николаевна (что было бы вполне естественно и, по крайней мере, понятно), сколько Жуковский и другие друзья. Они потребовали, чтобы Пушкин извинился и взял свое прошение назад. Заветная мечта поэта встретила непонимание и решительное сопротивление. «Осенью 1836 г., — пишет Бартенев, — Пушкин думал покинуть Петербург и поселиться совсем в Михайловском; по словам Нащокина, Наталия Николаевна соглашалась на это, но ему не на что было перебраться туда с большой семьей, и Пушкин умолял о присылке пяти тысяч рублей, которых у Нащокина на эту пору не случилось» [46]. Но в другом месте тот же Бартенев пишет: «Нащокин глубоко жалеет, что не дал ему пяти тысяч, которые у него тогда были. Но Пушкин, будучи деликатен, не просил их у него прямо» [47].

Послание же не открывает трагический внутренний мир поэта в это время.

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

В рукописи имеется план продолжения: «Юность не

имеет нужды в a t h o m e *, зрелый возраст ужасается с в о е г о уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он д о м о й . О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — р е л и г и я, с м е р т ь»[48].

Крупнейший пушкинист Б. В. Томашевский дает следующее заключение о послании: «Не исключается возможности, что стихотворение Пушкина внушено каким-нибудь английским образцом, но совершенно несомненно, что мысль и образы, заключенные в нем, настолько совпадали с затаенными грезами поэта в 1834—1836 гг., что пьеса приняла характер поэтической исповеди».

Томашевский опубликовал фото с автографа с его собственноручными приписками. В первой приписке Пушкин подчеркнул *at home, домой, своего*. Во второй: *религия, смерть*. Для оценки объективности публикации Томашевским текстов Пушкина с великим прискорбием нужно отметить, что в типографском тексте подчеркнутые Пушкиным слова в первой приписке выделены курсивом. Что касается второй приписки, то подчеркнутые слова — «религия», «смерть» не выделены! Чей недосмотр? И недосмотр ли только?

Это лирическое стихотворение имеет текстуальную связь со «Странником». В первоначальном варианте «Странника» в первой главе находим следующую строку: «Как раб, замысливший отчаянный побег». Сравните: «Давно, усталый раб, замыслил я побег». Побег задуман Пушкиным по внутренним побуждениям, имевшим религиозную окраску, о чем свидетельствует план продолжения стихотворения: *религия, смерть*. Некоторое отдаленное подобие они имели с теми побуждениями, которыми руководствовались Алексей Божий человек и другие святые мужи, чьими житиями Пушкин в это время очень интересовался. 14 апреля 1836 г. он писал Языкову: «Пришлите мне ради Бога с т и х об А л е к с е е Б о ж и е м ч е л о в е к е, и еще какую-нибудь легенду. Н у ж н о»[49].

---

* Здесь: в доме (*англ.*). — *Б. В.*

П. В. Анненков нашел в бумагах Пушкина две выписки из «Пролога» — книги, содержащей краткие жизнеописания святых[50], которые по своей тематике имеют сильное сходство с сюжетом «Странника»[51]. Анненков сообщает, что «Пушкин переложил на простой язык, доступный всякому человеку, даже весьма мало искушенному в грамоте — повествование "Пролога" о житии преподобного Саввы Игумена».

Заголовок пушкинской выписки является точной копией заголовка в «Прологе» издания 1793 г.: «Декабря 3. Преставление Преподобного Отца нашего Саввы Игумена Святые обители Пресвятой Богородицы, что на Сторожех, нового Чудотворца». Приходится пожалеть, что этот пушкинский текст (перевод со славянского) до сих пор не издан. Савва — прямой ученик Сергия Радонежского и был даже несколько лет игуменом в его монастыре. Уход его из Троицкого монастыря в вотчину князя Юрия Дмитриевича под Звенигород объясняется, вероятно, волнениями среди части монахов, которые хотели видеть игуменом Никона. Уход его был, несомненно, в некотором смысле «бегством». Скрывшись из монастыря, Савва хотел прекратить раздор среди братии. Возможно, что именно этот факт биографии преподобного Саввы и заинтересовал Пушкина в связи с темой бегства из родного дома в «Страннике».

Другое житие повествует об иноке, которого бес смущал мыслями об оставленном им отеческом доме, о родителях и братьях. Автор жития красноречиво рассказывает о горе родителей, сродников и ближних: «Вложил (диавол) убо ему мысль о родителях, яко жалостию сокрушатися сердце его, вспоминающи велию отца и матери любовь, юже к нему имяша. И глаголаше ему помысл: что ныне творят родители твои и без тебя, колико многую имут скорбь и тугу, и плач о тебе, яко неведущим им отшел еси. Отец плачет, мать рыдает, братья сетуют, сродницы и ближние жалеют по тебе и весь дом отца твоего в печали есть, тебе ради. Еще воспоминаше ему лукавый богатство и славу родителей, и честь братий его, и различныя мирская суетствия во ум его привождаше. День же и нощь непрестанно таковыми по-

мыслами смущаще его, яко уже изнемощи ему телом, и еле живу быти. Ово бо от великого воздержания и иноческих подвигов, ово же от смущения помыслов изоше яко скудель крепость его и плоть его бе яко трость ветром колеблема».

Анненков прав: сходство этих житийных повествований с тематикой «Странника» и пьесы «Пора, мой друг, пора» несомненно. О бегстве в «дальную обитель» Пушкин писал еще в лицейские годы, писал в 1829 г. в пьесе «Монастырь на Казбеке», теперь же это стало жизненно важным практическим вопросом. Религиозные побуждения в мечтах Пушкина о «дальной обители» двадцать лет назад отсутствовали, теперь они занимают не последнее место в его внутренней жизни.

Третья глава «Странника» также полностью автобиографична. Она повествует об отношении жены и друзей к задуманному плану побега.

.... Тут ближние мои,
Не доверяя мне, за должное почли
Прибегнуть к строгости. Они с ожесточеньем
Меня на правый путь и бранью и презреньем
Старались обратить [52].

Вот что писал Жуковский: «А ты ведь человек глупый, теперь я в этом совершенно уверен. Не только глупый, но и поведения непристойного: как мог ты, приступая к тому, что ты так искусно состряпал, не сказать мне о том ни слова, ни мне, ни Вяземскому — не понимаю! Глупость досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость!.. Напиши немедленно письмо (государю и проси не давать хода твоему прошению. — *Б. В.*)... Если не воспользуешься этою возможностию... поступишь дурно и глупо, повредишь себе на целую жизнь и заслужишь свое и друзей своих неодобрение, по крайней мере мое» [53]. В другом письме он писал: «Я право не понимаю, что с тобою сделалось; ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение» [54]. В такой шутливой форме Жуковский выговаривал Пушкину, но по существу это была далеко не шутка.

Тема бегства в пустыню, к месту подвижнических трудов

привлекала внимание Пушкина также в готских хрониках о короле Родрике. Он разрабатывал сказания этих хроник в ранних направлениях. Один вариант мы находим в поэме «Родрик» («На Испанию родную»). Король Родрик внезапно бросает в пылу сражения поле битвы с маврами [55], бежит и скрывается в пещере только что умершего отшельника. Он совершает обряд погребения и остается жить на месте его пустынных молитвенных трудов. Родрик оплакивает свои грехи и налагает на себя суровые аскетические труды.

В сокрушении глубоком
Беспрестанно слезы льет,
День и ночь у Бога молит
Отпущение грехов [56].

Он питаться стал плодами
И водою ключевой;
И себе могилу вырыл,
Как предшественник его.

Родрик, подобно другим пустынножителям, подвергается различным мучительным искушениям. В момент, когда дух его уже совсем изнывал, ему явился окруженный сиянием святой угодник. Этот образ соответствует до известной степени образу «юноши», читающего книгу, из поэмы «Странник»:

В сновиденьи благодатном
Он явился королю,
Белой ризою одеян
И сияньем окружен.

Однако, в отличие от фабулы «Странника», угодник повелевает королю вернуться назад в мир. Пусть он вернется простым воином, а не королем, и руке его будет дана победа над врагом, как духовному победителю над «мысленными врагами» в пустыне.

Пробудясь, Господню волю
Сердцем он уразумел,
И, с пустынею расставшись,
В путь отправился король.

В другом варианте той же легенды святой старец предвещает ему близкую кончину. Он является ему также во сне:

Чудный сон мне Бог послал —
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес,
Скоро *странствию земному*
Твоему придет конец.
Уж готовит ангел смерти
Для тебя святой венец...
Путник — ляжешь на *ночлеге*,
В пристань, плаватель, войдешь,
Бедный пахарь утомленный,
Отрешишь волов от плуга
На последней борозде...»

Сравните строфу: «Путник, ляжешь на ночлеге» со строфой из «Странника»: «Иль путник, до дождя спешащий на ночлег».

Сон отрадный, благовещий —
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец.
Но Твоя да будет воля,
Не моя.

Эти строфы очень близки к четвертой главе «Странника»:

Я осужден на смерть и позван в суд загробный —
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит.

Художественные символические образы: пути, странст-

вия, конца пути, пустыни, долины (дольнего мира), ангела смерти, загробного суда, вечной жизни, надежды на милосердие Божие, Небесного Царствия, святых венцов — все это образы евангельские.

В ноябре 1835 г. Пушкин занимается прямым переложением библейского повествования (Книги «Иудифь») на стихотворный размер. Было закономерно, что Пушкин, испробовав свои силы на повести Беньяна, обратился к книге монументальной и священной, пережившей века, несравнимой по художественной своей ценности с посредственным произведением Беньяна. Что же пленило Пушкина в этой книге? То ли, что она, подобно драгоценной чаше, наполнена до краев высоким религиозным вдохновением, чудными молитвами и гимнами? Или образ Иудифи, прекрасной женщины-израильтянки, прославившей себя в веках спокойной преданностью Богу Всевышнему, Богу Израиля? Историческое ли повествование этой книги? Надо думать, что, как и в Коране, его пленил высокий монотеизм этой жемчужины Библии, облаченной в национальные одежды древнееврейского народа.

Вот молитва Иудифи Богу Израилеву, которую Пушкин не успел переложить на стихи: «...Боже, Боже мой, услышь меня вдову! Ты сотворил прежде сего бывшее, и сие и последующее за сим, и содержал в уме настоящее и грядущее, и, что помыслил Ты, то и совершилось; что определил, то и явилось и сказало: вот я. Ибо все пути Твои готовы, и суд Твой Тобою предвиден. ...Боже отца моего и Боже наследия Израилева, Владыка неба и земли, Творец вод, Царь всякого создания Твоего! Услышь молитву мою, сделай слово мое и хитрость мою раною и язвою для тех, которые задумали жестокое против завета Твоего, святаго дома Твоего, высоты Сиона и дома наследия сынов Твоих. Вразуми весь народ Твой и всякое племя, чтобы видели они, что Ты — Бог, Бог всякой крепости и силы, и нет другого защитника рода Израилева, кроме Тебя» [57].

Историческая фабула этой книги такова: Иудея отказалась принять ультиматум ассирийского полководца Олоферна о безоговорочной сдаче. Преграждавший проход к Иеру-

салиму город Ветилуя был окружен и терпел осаду. Когда запасы воды и пищи истощились, население города потребовало у старшин его сдачи. После бесплодных уговоров сдача города на милость победителей была отсрочена на пять дней. Тогда знатная красавица-вдова Иудифь, желая спасти свой народ, взяла на себя роль перебежчицы, вышла за ворота осажденного города и была доставлена ассирийским передовым отрядом в шатер Олоферна. Она обвинила перед грозным полководцем свой народ в несоблюдении ритуальных предписаний закона, в грехе, который делал его гибель неминуемой, и предложила Олоферну помочь его войскам. Она проведет их знакомыми ей проходами в Иерусалим. Обласканная Олоферном, который пленился ее красотой и умом, она осталась с ним в шатре после пира. Когда он заснул, Иудифь отрубила ему голову собственным мечом. Стража выпустила ее из лагеря для совершения обычного ежедневного омовения и молитвы, а служанка, всегда сопровождавшая ее, вынесла в кошелке голову Олоферна. Иудифь благополучно достигла ворот Ветилуи и подняла осажденных на борьбу с растерявшимся врагом, потерявшим своего вождя. Так благочестием, мужеством и хитростью женщины был спасен Израиль, воспевший благодарственный гимн своему Богу.

Вот повесть об Иудифи, переложенная Пушкиным:

Когда владыка ассирийский
Народы казнию казнил,
И Олоферн весь край азийский
Его деснице покорил, —
Высок смиреньем терпеливым
И крепок верой в Бога сил,
Перед сатрапом горделивым
Израиль выи не склонил;
Во все пределы Иудеи
Проникнул трепет. Иереи
Одели вретищем алтарь.
Народ завыл, объятый страхом,
Главу покрыть золой и прахом,
И внял ему Всевышний Царь.

Притек сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным;
Стеной, как поясом узорным,
Препоясалась высота.

И над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине [58].

Ветилуя в переводе означает «Дом Господень». Сравните этот символический образ стоящей на горе крепости с образом монастыря в стихотворении 1829 г. «Монастырь на Казбеке»:

Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами [59].

Высоко ценил Пушкин и другой библейский образ — Моисея [60]. А. О. Смирнова-Россет сохранила нам характеристику этого образа, данную Пушкиным во время разговора у нее в гостиной.

Согласно свидетельству современников, Пушкин изучал древнееврейский язык, намереваясь переложить в стихи знаменитую библейскую Книгу Иова. Итак, Библия сопровождала Пушкина и в южной ссылке, и в Михайловском, и в Петербурге до самой смерти.

Большой интерес проявлял Пушкин и к житиям святых. Он любил «Киево-Печерский патерик», знал «Пролог», «Четьи-Минеи», составленные в XVI в. митрополитом московским Макарием. Поэтому неудивительно, что в 1836 г. Пушкин поместил в своем журнале рецензию на только что появившуюся в печати книгу «Словарь о святых, прославленных в российской Церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местно-чтимых», 1836, СПБ. Отзыв на этот словарь написан Пушкиным с большим знанием дела. Он заканчивает его следующим замечанием: «Издатель "Словаря о святых" оказал важную услугу истории. Между тем книга его имеет и общую занимательность: есть люди, не имеющие никакого понятия о житии того св. угодника, чье имя

носят от купели до могилы и чью память празднуют ежегодно. Не дозволяя себе никакой укоризны, не можем, по крайней мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству» [61].

В 1835 г. Пушкин начал «Повесть из римской жизни». Действие ее относится к эпохе императора Нерона, к середине первого века. Сохранились пушкинские наброски плана этой повести: «Петроний (которому Нерон приказал лишить себя жизни. — *Б. В.*) приказывает разбить драгоценную чашу — диктует Satyricon — рассуждения о падении человека — о падении богов — о общем безверии — о предрассудках Нерона — раб христианин...» [62]. Какую конкретно роль отводил Пушкин рабу-христианину — сказать трудно, но, во всяком случае, ясно, что он хотел в своей повести противопоставить разлагающийся языческий мир в лице Петрония и его друзей *новой* жизни, которую несло с собой христианство.

С исторической стороны замысел его был вполне обоснован. Римский историк Светоний сообщает, что при Нероне проповедь христианства достигла столицы империи, появились первые христианские тайные общества, и при Нероне же начались первые преследования их, сопровождавшиеся казнями.

Та же тема — столкновение языческой морали и христианской, только перенесенная в современность, увлекала Пушкина и раньше, еще в 1830 г., после возвращения с Кавказа: конфликт между языческим мировоззрением некрещеных черкесов с новым отношением к жизни черкеса-христианина. Эта тема лежит в основе начатой в 1830 г. поэмы «Тазит» [63] и намеченных Пушкиным вариантов ее сюжета. Молодой черкес-христианин отказывается по моральным причинам выполнить «священный долг» кровной мести и вызывает тем самым презрение к себе старика-черкеса и всего черкесского общества [64].

Известен список драматических замыслов Пушкина, составленный им, вероятно, в 1827 г. Среди намеченных произведений есть драма «Иисус» [65], это указывает на то, что живой интерес к личности и учению Христа возникает у Пушкина не позднее 1827 г.

ГЛАВА III

«СОВРЕМЕННИК»

Пушкин начал серьезно думать об издании журнала с 1830 года. Идея его, таким образом, вынашивалась долго. Поэтому, хотя он успел при жизни выпустить только четыре тома (пятый вышел уже после его кончины), эти книги наполнены богатым содержанием. Критический и библиографический разделы журнала позволяют нам с полной определенностью понять многие стороны мировоззрения Пушкина в последний период его жизни: его философские, религиозно-нравственные, общественные, политические, художественные и литературные взгляды. Если рассмотреть содержание журнала, то станет ясно, что Пушкин ставил себе целью, с одной стороны, всестороннее воспитание и образование русской читающей публики в духе тех взглядов, которые были им выработаны в течение всей жизни. Он хотел предостеречь молодежь от тех бесплодных заблуждений мысли, чувств и поведения, через которые ему самому пришлось пройти, и открыть ей таким образом широкую дорогу для творческой работы. Этой целью в значительной степени объясняется выбор всех конкретных тем пушкинской критики.

С другой стороны, Пушкин считал своим долгом показать пример положительного миросозерцания, дать практические предложения для разрешения ряда жизненных вопросов. Он никогда не забывал о главном: что всякий писатель должен работать не только над своим образованием, но прежде всего над своим духовным воспитанием. Эту мысль он выразил в своем журнале словами духовного писателя архиепископа Георгия Конисского. Вот что писал Пушкин: «Георгий Кониский *, о котором напечатана статья в первом нумере Современника, начинает свои пастырские поучения следующими замечательными словами: "Первое слово к вам, благочестивые слушатели, Христовы люди, рассудил я сказать

---

* Орфография Пушкина. — *Б. В.*

о себе самом... Должность моя, как вы сами видите, есть учительская, а учители добрые и нелукавые себя первее учат, нежели других, своему уху, яко ближайшему, наперед проповедуют, нежели чужим"».

Далее Пушкин излагает взгляды редактора в виде письма некоего А. Б. к издателю: «Приемля журнальный жезл, собираясь проповедовать истинную критику, весьма достохвально поступили бы вы, м. г., если б перед стадом своих подписчиков изложили предварительно свои мысли о должности критика и журналиста и принесли искреннее покаяние в слабостях, нераздельных с природою человека вообще и журналиста в особенности» [1].

Эта статья, написанная в шуточном стиле, напоминает «Исповедь бедного стихотворца», созданную Пушкиным в 1817 г. [2]

В статье о Радищеве, написанной в том же месяце, что и «Письмо к издателю», разбирается вопрос о смысле и назначении критики.

Пушкин пишет: «Он (Радищев. — *Б. В.*) как будто старается *раздражить* верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы *указать на благо, которое она в состоянии сотворить*? Он поносит власть господ, как *явное беззаконие*; не лучше ли было *представить* правительству и умным помещикам *способы к постепенному улучшению состояния крестьян*; он злится на цензуру; не лучше ли было *потолковать о правилах*, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; а с другой — чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой и преступной? Но все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы — чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью.

...Они (все благоразумные мысли Радищева. — *Б. В.*) принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностию и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» [3].

Павел Вяземский, сын князя П. А. Вяземского, вспоминает: «Одно время Пушкин замыслил действовать посредством своего журнала на русских женщин, которых он уважал несравненно более, чем мужчин, признавая наших женщин несравненно просвещеннее» [4].

В записной книжке Пушкина есть такая запись: «Одна дама сказывала мне, что если мужчина начинает с нею говорить о предметах ничтожных, как бы приноравливаясь к слабости женского понятия, то в ее глазах он тотчас обличает свое незнание женщин. В самом деле: не смешно ли почитать женщин, которые так часто поражают нас быстротою понятия и тонкостию чувства и разума, существами низшими в сравнении с нами! Это особенно странно в России, где царствовала Екатерина II и где женщины вообще более просвещены, более читают, более следуют за европейским ходом вещей, нежели мы, гордые Бог ведает почему» [5].

Павла Вяземского удивляло внимание, какое Пушкин уделял детям: «Объяснение потраченного со мной времени во время моего детства доныне составляло для меня загадку». Разгадка заключалась в горячем стремлении Пушкина содействовать воспитанию нового, положительного поколения. «Пушкин постоянно и настойчиво указывал мне на недостаточное знакомство с текстами Священного Писания и убедительно настаивал на чтении книг Ветхого и Нового Завета... Я тем более верю в чистоту стремлений Пушкина, что проповедь его пустила глубокие корни в моей юношеской голове» [6]. Молодой Вяземский очень хорошо подметил вместе с тем «ненависть Пушкина к поддельной науке и лицемерной нравственности» [7]. Очень ценное объяснение дает он непримиримой резкости Пушкина по отношению к таким литературным собратьям, как Булгарин, Греч и Сенковский, а также и к графу Уварову. Павел Вяземский хорошо знал через своего отца всю подоплеку литературных предприятий Пушкина. Он пишет: «Источник негодования

на Булгарина и Сенковского заключается в том, что эти публицисты заподозрены были в намерении *нравственно и умственно развращать* читающую публику. Негодование разжигалось убеждением, что цензура и граф Уваров во главе ее поощряет Греча, Булгарина и Сенковского... Они издеваются и *закидывают грязью* все те *высокие политические и нравственные идеалы*, которым служили Пушкин и его друзья» [8].

Освещение эстетических взглядов Пушкина не является задачей нашей работы, но поскольку поэтическое вдохновение в его творчестве часто неотделимо от вдохновения религиозного, необходимо кратко коснуться и этой темы.

Пушкин изложил свои эстетические взгляды в виде кратких афоризмов в журнале «Литературная газета» и позднее в своем «Современнике». Так, в статье «Жизнь, стихотворения и мысли Иосифа Делорма» он пишет, что без искренности вдохновения нет истинной поэзии. Истинного вдохновения нет там, где мы не видим «движения минутного, вольного чувства...» [9]. «Поэзия, которая по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя, кольми паче не должна унижаться до того, чтоб силою слова потрясать вечные истины, на которых основано счастие и величие человеческое, или превращать свой божественный нектар в любострастный, воспалительный состав» [10].

«Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными реестрами, будто бы *польза* есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что цель художества есть *идеал*, а не *нравоучение*» [11]. Французские писатели ошибаются, полагая, что и «нравственное безобразие может быть целию поэзии, т. е. идеалом!» Они «любят выставлять порок всегда и везде торжествующим и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие». Это — «поверхностный взгляд на природу человеческую...» [12]. Отсюда отнюдь не следует, что творчество писателей, изображающих в своих произведениях различные человеческие слабости и заблуждения, тем самым безнравственно: «...описывать слабости, заблуждения и

страсти человеческие не есть безнравственность, так, как анатомия не есть убийство; и мы не видим безнравственности в элегиях несчастного Делорма, в признаниях, раздирающих сердце, в стесненном описании его страстей и безверия, в его жалобах на судьбу, на самого себя» [13].

Так писал Пушкин в 1831 г. Этим принципиальным положениям он остался верен до конца жизни и применил их в статье о Вольтере, напечатанной в «Современнике» в 1836 г. Он высоко ставил Вольтера как писателя, ценил его поэтическое дарование, но хотел, чтобы читающая публика объективно оценила как характер его разрушительного творчества, так и отрицательные стороны его личности. «Вольтер, — пишет он, — во все течение своей долгой жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства» [14]. «Вольтер и в старости не привлекал уважения к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью. ...Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей» [15].

Вольтер («великан сей эпохи») — самый яркий последователь отрицательной материалистической философии XVIII в., сделавший любимым своим литературным орудием холодную и осторожную иронию и бешеную площадную насмешку. Вольтер написал эпопею в стихах — «Генриаду» (1728), которая имела целью «очернить католицизм», но полнее всего «его разрушительный гений... излился в цинической поэме (Пушкин ее не называет, но имеет в виду «Орлеанскую девственницу». — *Б. В.*), где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих заветов поругана...» [16]. «Ничто, — говорит Пушкин, — не могло быть противуположнее поэзии, как та философия, которой XVIII в. дал свое имя. Она была направлена противу господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов...» [17]

Так прямо и недвусмысленно писал Пушкин о Вольтере и об отрицательной философии его века. Пушкин хотел со всей ясностью показать свое отношение не только к мировоззрению Вольтера, но и к нашему русскому «вольтерианству».

В замечательном литературном произведении, форму которого мы затрудняемся определить[18], Пушкин в последний раз выразил свое отношение к поэмам с кощунственным и оскорбительным для религиозного чувства содержанием. «Последний из свойственников Иоанны д 'Арк» так озаглавил Пушкин свой памфлет.

Все действующие лица и факты этого произведения — плод пушкинской творческой фантазии: и д' Арк Дюлис, свойственник Иоанны д' Арк, написавший Вольтеру негодующее письмо, в котором он требует «удовлетворения за дерзкие, злостные и лживые показания, которые вы себе дозволили напечатать касательно вышеупомянутой девственницы»; и ответное письмо перепуганного Вольтера, в котором он категорически отказывался от авторства этой «глупой рифмованной хроники»; и «английский журналист», которого Пушкин заставил выразить свое отношение к «преступной поэме Вольтера». Английский журналист пишет: «Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти Орлеанской героини; что же сделал из того Вольтер, сей достойный представитель своего народа? Раз в жизни случилось ему быть истинно поэтом, и вот на что употребляет он вдохновение! Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и как пьяный дикарь пляшет около своего потешного огня. Он как римский палач (то есть подобно Пилату. — *Б. В.*) присовокупляет поругание к смертным мучениям девы. ...Заметим, что Вольтер, окруженный во Франции врагами и завистниками, на каждом своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порицаниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные враги его были обезоружены. Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества; и вызов доброго и честного Дюлиса ("свойственника Иоанны д 'Арк". —*Б. В.*), если бы стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона д Ольбаха

и M-me Jeoffrin, но и в старинных залах потомков Лагира и Латримулья. Жалкий век! жалкий народ!» [19]

В этом оригинальном по форме произведении Пушкин выразил свое убеждение в греховности и преступности кощунства в художественной литературе. Эта пьеса по времени ее написания — последняя в жизни поэта. 9 января он читал ее А. И. Тургеневу, а 21 января состоялась дуэль.

Как поразителен Промысл Божий в жизни Пушкина! В этой пьесе Пушкин принес покаяние в тяготившем его совесть грехе молодости — в написании кощунственной поэмы, о которой мы говорили выше. Он публично осудил не только «Орлеанскую девственницу» Вольтера, но и собственное свое произведение, которое противоречило его эстетическим, моральным и религиозным взглядам. Его поэма была написана под влиянием Вольтера. Поэтому отзыв Пушкина о Вольтере в пьесе «Последний из свойственников Иоанны д 'Арк» имеет явно автобиографическое звучание. Пушкин сожалел о соблазне, внесенном его собственной поэмой в души людей, осуждал ее и каялся в своем грехе. Не случайно он выписал из творений Георгия Конисского мысль о *грехе соблазна.*

Поразительно, что пьеса Пушкина «Последний из свойственников Иоанны д' Арк» была напечатана уже *после его смерти* в пятом номере «Современника». Она была завещанием Пушкина и предостережением против холодного дьявольского смеха Вольтера.

«Влияние Вольтера, — писал Пушкин в 1834 г., — было неимоверно» [20]. Это влияние проявляло себя как на родине писателя, так и в Англии и у нас в России. Пушкин считал это влияние резко отрицательным. Почему же он так высоко ценил французскую литературу? Каких писателей, какие произведения он имел в виду? На этот вопрос мы находим ответ в двух его работах: неопубликованный при жизни статье «Ничтожестве литературы русской» (1834) и в статье, заключающей в себе критический разбор доклада М. Е. Лобанова «О духе отечественной и иностранной словесности», напечатанной в «Современнике» в 1836 г.

18 января 1836 г. действительный член Российской Ака-

демии М. Е. Лобанов выступил на торжественном заседании Академии наук в присутствии принца Ольденбургского с легковесным сообщением: «О духе отечественной и иностранной литературы», в котором, под давлением политической реакции в России, обвинил французскую литературу в безнравственности, атеизме и других «разрушительных мыслях», а русскую — в зараженности веяниями французской революции. Пушкин, в 1834 г. единогласно избранный членом Академии наук, почел долгом откликнуться в своем журнале на это опасное для развития молодой русской литературы огульное обвинение. С чувством собственного достоинства, спокойно, академически вежливо и обстоятельно, без малейшего оттенка угодничества властям, Пушкин выступил в защиту истины, то есть ценных и здоровых явлений французской литературы. Объективность и научная глубина его статьи покоряют читателя. Она знакомит нас с подлинным философским, религиозными и литературными взглядами Пушкина, показывает нам писателя-гражданина.

«Спрашиваю: можно ли на целый народ изрекать такую страшную анафему? Народ, который произвел Фенелона, Расина, Боссюэта, Паскаля и Монтескье, — который и ныне гордится Шатобрианом и Балланшем; народ, который Ламартина признал первым из своих поэтов, который Нибуру и Галламу противопоставил Баранта, обоих Тьерри и Гизо; народ, который оказывает столь сильное религиозное стремление, который так торжественно отрекается от жалких скептических умствований минувшего столетия, — ужели весь сей народ должен ответствовать за произведения нескольких писателей, большею частию молодых людей, употребляющих во зло свои таланты и основывающих корыстные расчеты на любопытстве и нервной раздражительности читателей? Для удовлетворения публики, всегда требующей новизны и сильных впечатлений, многие писатели обратились к изображениям отвратительным, мало заботясь об изящном, об истине, о собственном убеждении» [21].

Об интенсивной религиозной жизни Франции и Италии Пушкин знал не только из журналов и литературы, но и непосредственно от А. И. Тургенева, подолгу жившего за

границей, и от Андрея Карамзина, письма которого из Парижа, насыщенные религиозно-богословской тематикой, Пушкин поместил в своем журнале.

Более развернутый и притом положительный отзыв о русской литературе, в частности московской, Пушкин дал в блестящем очерке «Путешествие из Москвы в Петербург». Пушкин воспользовался свободной формой путевого дневника не столько для критики Радищева — этого «истинного представителя полупросвещения»[22] и разделявшейся им «пошлой и бесплодной метафизики»[23], сколько для изложения собственных положительных взглядов по многим вопросам веры, философии и жизни.

«Путешествие из Москвы в Петербург» дает очень много для понимания миросозерцания Пушкина в последний период его жизни. В главе «О цензуре» Пушкин опять возвращается к важнейшей для всех времен теме свободы человеческой мысли.

«Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом»[24]. В той же главе Пушкин пишет о значении писателей в стране, о громадном их влиянии на формирование взглядов и будущность своего народа. «Писатели во всех странах мира суть класс самый малочисленный изо всего народонаселения. Очевидно, что аристократия самая мощная, самая опасная — есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда»[25].

Это суждение не только мудрого человека и писателя-журналиста, но и потенциального политического деятеля. Пушкин понимал значение печатного слова для политичес-

ких судеб народа. В наш век к «типографическому снаряду» прибавилось радиовещание и телевидение.

В заключение обратимся к библиографическому разделу «Современника» (№№ 1-4 за 1836 г.); он также отвечает общей направленности. Здесь названо много книг чисто духовного содержания и книг с религиозной тематикой. На некоторые из них Пушкин обращал внимание читателей, отмечая их в списке звездочкой. На ряд книг духовного содержания Пушкин написал развернутые рецензии, и прежде всего на сочинение Георгия Конисского и на книгу «Об обязанностях человека» Сильвио Пеллико. Содержание рецензий показывает, что Пушкина нельзя заподозрить в журнальном делячестве, в том, что он под давлением правительства нарочито подбирал «благонамеренную» библиографию и писал «благонамеренные» отзывы об этих книгах. Это может сказать только тот, кто не знает ни личности, ни творчества Пушкина. Журнал «Современник» — подлинное детище Пушкина, на страницах которого он изложил самые душевные, давно продуманные и выношенные мысли и чувства.

ГЛАВА IV

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ПУШКИНА ЧААДАЕВУ

Последнее письмо Чаадаеву было написано Пушкиным за три месяца до смерти. Оно настолько значительно, что следует прокомментировать не только его беловой текст, но и черновик. М. А. Гершензон правильно сказал, что если бы от всего творчества Пушкина сохранилось только одно это письмо, — «этих трех страниц было бы достаточно, чтобы признать его замечательным человеком тогдашней России: так много в них ума, так высоко и пламенно дышащее в них чувство» [1].

Два вопроса прежде всего волнуют нас в этом таинственном письме: во-первых, что оно добавляет к нашему пони-

манию взаимоотношений автора письма с его старым другом, во-вторых, каковы были в это время взгляды Пушкина на историю Русской Церкви, на духовенство и, главное, можно ли из этих рассуждений Пушкина о вопросах религии и христианства сделать какое-либо твердое заключение о его личном отношении к вере.

Из начала письма абсолютно бесспорно выясняется: во-первых, что с содержанием статьи Чаадаева Пушкин был знаком уже давно: «Я с удовольствием *перечел* ее» (читал он ее пять лет назад во французском подлиннике, а теперь *перечел* в переводе. — *Б. В.*); «Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника». Во-вторых, о затронутых в брошюре предметах они уже много раз беседовали и спорили. В-третьих, религиозные взгляды Пушкина за истекшее пятилетие укрепились, уточнились и углубились. В духовном отношении Пушкин успел *обогнать* своего друга.

Пушкин убедился, что христианство, которое нам было проповедано и преподано восточной, византийской Церковью, получено было нашими предками отнюдь не «в искаженном человеческой страстью виде» (как думал, во всяком случае, еще в 1829 г. Чаадаев). Пушкин решительно не соглашается с Чаадаевым, что источник, «откуда мы черпали христианство, был нечист». Евангелие и все другие книги Священного Писания (то есть Библия) были приняты нами вместе с неповрежденным «преданием», в свете которого только и может быть точно понято и воспринято Писание. Пушкин ясно видел глубокое качественное различие между политическими и общественными нравами Византии и христианским *преданием*, неповрежденно донесенным до нас восточной Церковью. Он не возлагает вины за разделение восточной и западной Церкви на один только Восток, как это делала католическая Церковь и с чем соглашался Чаадаев [2]. Он не питает того пиетета к католичеству и папству, который даже в 1836 г. был столь характерен для Чаадаева. Более того, Пушкин ясно выразил свое отрицательное отношение к папству как институту и к папству в его истории: «Наше духовенство... никогда не пятнало себя

низостями папизма». Пушкин изменил свое либеральное отношение к реформации и протестанству, которое он разделял в 1831 г. Он видел теперь в протестантизме отрицательное, а не равноправное, исторически обусловленное разделение христианства — раскол, отпадение от единства Церкви, и держится той точки зрения, что ответственность за реформацию несет высшее католическое духовенство во главе с папой.

О нашем древнерусском духовенстве Пушкин писал: «Наше духовенство, до Феофана (Прокоповича — креатуры и любимца Петра Великого), было достойно уважения».

Многие усматривают в дальнейших словах Пушкина о духовенстве якобы неуважительное отношение Пушкина к современному ему русскому духовенству. Но это глубоко ошибочное мнение. «Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало (но Чаадаев нигде в своих философических письмах об этом не говорит, Пушкин продолжает, очевидно, прерванный когда-то разговор с ним. — *Б. В.*). Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу». А в черновике есть еще следующие строки: «Его нигде не видно, ни в наших гостиных, ни в литературе, ни в... Оно не хочет быть народом [3]. Наши государи сочли удобным оставить его там, где они его нашли [4]. Точно у евнухов — у него одна только страсть к власти. Потому его боятся. И, я знаю, некто, несмотря на все свое упорство, согнулся перед ним в трудных обстоятельствах — что в свое время меня взбесило» [5].

Бесспорно, следует отличать суждения человека о тех или иных конкретных духовных лицах, об их поступках или поведении от отношения его к духовному лицу (священнику или епископу) как к носителю сана. Из писем Пушкина видно, что к целому ряду представителей духовенства он относился с сердечным вниманием. Несмотря на то, что требование об отставке Павского * показалось ему несправедливым, не следует забывать ни его послания Филарету (1830),

* Профессор Священного Писания, переводчик Библии, отставленный Филаретом. — *Б. В.*

ни того, что через Елизавету Михайловну Хитрово Пушкин находился с ним в живом общении (так же как и его друг Чаадаев). Так, например, Филарет в 1830 г., рассказывая Елизавете Михайловне о каком-то происшествии в Москве, наказал ей: «Передайте это Пушкину», что она и выполнила, не смея его ослушаться. Из писем к брату Льву (1825) мы знаем, что Пушкин проявлял внимание к слепому священнику, переводившему библейскую Книгу Премудрости Иисуса, сына Сирахова на русский язык: он велел брату купить у него несколько экземпляров.

В письме к Чаадаеву Пушкин высказывает свое суждение о духовенстве как об исторически сложившемся сословии, об отношении его к сословию дворянскому, о причинах, которые на русской почве привели к разрыву между духовенством и образованным дворянским обществом, однако все это не означает пренебрежения его к духовным лицам как носителям сана или к богослужению.

В черновике письма имеется французская фраза, которая вызвала досужие кривотолки и многих смутила. Эта фраза заслуживает внимательного разбора: «La religion est étrangère à nos pensées, à nos habitudes, à la bonne heure, mais il ne fallait pas le dire».

В десятитомном издании сочинений Пушкина Академии наук эта фраза переведена неточно, с нарушением ее смысла: «Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам, к счастью, но не следовало этого говорить». Какая находка для тех, кто утверждает, что Пушкин до конца своих дней отрицательно относился к религии! В интимном письме другу (предполагается, тоже материалисту!) он проговорился и выявил свое подлинное лицо: религия, *к счастью, чужда мыслям и привычкам нашего народа*! Такой перевод и такая интерпретация действительно вполне отвечают официальному воззрению на религию в нашей стране, но не соответствуют ни взгляду Пушкина, ни взгляду Чаадаева. Французская фраза, если ее не вырывать из контекста, должна быть переведена следующим образом: «Вы полагаете, что религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам, пусть так, но не следовало этого говорить». Иначе говоря: «Пускай вы,

мой друг, может быть, правы в оценке слабой религиозности русского народа и нашего образованного общества по сравнению с народами Западной Европы, но писать об этом в журнальной статье не следовало». Чаадаев говорил о серьезных недостатках русского религиозного воспитания и образования с горечью и слезами, а не в тоне одобрения или сочувствия. Между тем некоторые недобросовестные лица интерпретируют эту *мысль Чаадаева* в прямо противоположном смысле и, более того, приписывают ее Пушкину!

После всего сказанного в данной работе о Чаадаеве как мыслителе нет нужды доказывать легкомыслие такой интерпретации. Она рассыпается даже при беглом знакомстве с воззрениями Чаадаева. Что же касается Пушкина, то он в своем последнем письме к другу говорил с ним как человек, разделявший его религиозное мировоззрение, но расходившийся с ним по целому ряду исторических взглядов и не разделявший его католических симпатий.

Познакомимся теперь внимательно с тем местом Первого философического письма, которое Пушкин имел в виду, когда писал Чаадаеву: «...боюсь, как бы ваши религиозно-исторические воззрения вам не повредили». Пушкин имел все основания беспокоиться, так как Чаадаев открыто в печати высказывал чисто католические взгляды. Чаадаев писал, что в течение пятнадцати веков у них (то есть западноевропейских народов) был один язык (то есть латынь) для обращения к Богу (для молитвы), одна духовная власть (папа) и одно убеждение (католичество). В течение пятнадцати веков, каждый год, в один и тот же день, в один и тот же час (по Григорианскому календарю) они в одних и тех же словах возносили свой голос во время богослужения, посвященного рождению (Рождеству) на земле Иисуса Христа, к Верховному Существу (то есть Богу), прославляя Его за величайшее из Его благодеяний (ниспослание к падшему человечеству Спасителя мира). «Дивное созвучие в тысячу крат более величественное (Чаадаев мысленно слышал звуки органа и воодушевленное пение по молитвеннику верующих католиков. — *Б. В.*), чем все гармонии физического мира!» (Этим сравнением Чаадаев, согласно

основным положениям своей философской системы, хотел показать превосходство духовного мира и его событий над миром вещественно-природным.) Итак, эта (духовно-нравственная) сфера, в которой живут европейцы (в Западной Европе) и в которой в одной (и только в этой сфере) человеческий род может исполнить свое конечное предназначение (полное усвоение искупления, совершенного Сыном Божиим), которое в истории (то есть на земле) выразится в том, что «все сердца и умы сольются в одно чувство, в одну мысль, и тогда падут стены, разъединяющие народы и исповедания». (Чаадаев ждал наступления этого *единства* всех христианских народов в ближайшем историческом будущем.) Если все это есть результат влияния религии (Чаадаев мыслил — католичества) и если, с другой стороны (то есть в России), «*слабость нашей веры* или *несовершенство наших догматов*» (по сравнению с догматами, то есть с важнейшими определениями веры католической Церкви) до сих пор держали нас в стороне от общего движения, где развивалась и формулировалась социальная идея христианства (которая, как утверждал Чаадаев, у нас не получила развития), и низвели нас (русский народ) в сонм народов, коим суждено лишь косвенно и поздно воспользоваться всеми плодами христианства, то ясно, что «*нам следует прежде всего оживить свою веру всеми возможными способами и дать себе истинно христианский импульс*, так как на Западе все создано христианством» [6].

Итак, мы видим, что Пушкин имел все основания беспокоиться о судьбе своего друга. Как мог русский православный Синод, митрополит Московский Филарет и император не реагировать на такую дискриминацию православной Церкви в печати! Даже если Чаадаев руководствовался наилучшими намерениями «оживить всеми возможными способами веру» в своем отечестве, как мог он выпустить из своего кабинета если не всю статью, то по крайней мере абзац! Пушкин пишет ему: «Мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам».

Эта тирада Чаадаева была прямо направлена если не против Символа веры греко-российской Церкви, то против

других догматических ее определений. Она содержала также отрицательную оценку всей деятельности Церкви в течение веков в деле воспитания русского общества и народа. Еще раз обратим внимание на слова в письме Пушкина: «...боюсь, как бы ваши религиозно-исторические воззрения вам не повредили». Пушкин не разделял не только религиозной утопии Чаадаева, которая вытекала из его философии всемирной истории, но также и ошибочной оценки Чаадаевым культурного наследия, полученного нами через Византию. Пушкин знал, что мы получили от Византии через крещение новую духовную жизнь, которая приобщила нас к пяти другим христианским народам Европы канонически (то есть согласно церковным канонам — правилам); поставленную церковную иерархию (духовенство); великое духовное и художественное сокровище восточного богослужения; Священное Писание, переведенное с греческого на славянский язык (библейские книги, в том числе псалмы Давида, которые Пушкин так высоко ценил, Евангелие и Послания апостолов); устное и закрепленное письменно предание Восточной Церкви; богословско-догматические труды отцов Церкви; духовно-нравственные сочинения подвижников; уставы монашеской монастырско-аскетической жизни; патерики с описаниями жизни святых; Кормчую книгу и многое другое.

«*У греков*, — пишет Пушкин, — *мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева*» [7].

Так заканчивает Пушкин рассмотрение историческо-религиозных взглядов Чаадаева. Но самым важным местом его ответного письма является то, в котором он раскрывает другу свое интимное отношение к личности Христа: «Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? *Евангелие от этого разве менее изумительно?*» [8].

Известно, что не было страны, которую бы римляне так ненавидели и одновременно презирали, как Иудею, а взятие

неприступной ее столицы было торжеством не только римской армии, но и гордого своей культурой Рима — центра вселенной — над жалким, с их точки зрения, иудейским народом, осмелившимся отстаивать свою веру с оружием в руках. Весть о трагической судьбе Иерусалима, разрушенного войсками Тита Флавия, облетела все народы Римской империи. Этому способствовало и описание осады, обороны и гибели города, сделанное талантливой рукой ученого еврея Иосифа Флавия[9].

За четыре месяца до этого письма Чаадаеву, 5 июня 1836 г. Пушкин написал стихотворение «Мирская власть», в котором выразил свои чувства и мысли об уничтожении Христа властями своего народа и о казни Его представителем римской власти в Иудее — Пилатом. Таким образом, мысли его о крестном пути Христа, изложенные в письме к Чаадаеву, были к этому времени уже глубоко продуманы и прочувствованы. Пушкин твердо стоял на камне веры, притом он не только понимал, как это было в 1829 г., что «крест — это хоругвь Европы и просвещения», но и сам поклонялся этому кресту.

Мы не будем подробно комментировать историческую часть письма Пушкина. Это не наша задача. Скажем только, что Пушкин блестяще проявил себя как историк, искушенный в работе над летописями и документами в архивах. Его концепция русской истории диаметрально расходится с таковой Чаадаева. Пушкин совсем иначе представлял себе историю молодого славянского народа, принявшего христианство от высококультурной Византии, государства со столь древними традициями, уходившими корнями в греческую античность; ему была ясна культурная и религиозная роль русских монастырей, начиная с Киево-Печерского, ясно значение русских святых — носителей христианской благодатной жизни. Пушкин любил и понимал как мистическую, так и художественную сторону православного богослужения (христианской литургии), чего еще не понимал, по-видимому, Чаадаев.

Пушкин так и заканчивает исторический раздел своего ответа Чаадаеву: «Клянусь честью, что ни за что на свете я

не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Нужен ли к этим словам комментарий?

Что касается характеристики современного русского общества, данной Чаадаевым, то в этом пункте Пушкин соглашается с ним, и в словах его чувствуется та же горечь: «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. *Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние.* Вы хорошо сделали, что сказали это громко». Согласиться в этом с Чаадаевым было, несомненно, со стороны Пушкина делом гражданского мужества [10].

ГЛАВА V

ЗАВЕЩАНИЕ, ОСТАВЛЕННОЕ НАМ ПУШКИНЫМ

Я знал, что мне предстоял истинный подвиг...

В 1835 г. в России вышли из печати две книги итальянского автора Сильвио Пеллико (1789—1854) — «Мои темницы» и «Об обязанностях человека». Первая была переведена с французского и издана Евграфом Серчевским, вторая — переведена (но неудовлетворительно) Н. Хрусталевым. Пушкин во втором номере «Современника» обратил внимание читателей на появление книги «Мои темницы», а в третьем сообщил о скором выходе перевода второй книги Пеллико. Над этим переводом работал С. Н. Дирин — молодой человек, недавно (1832) окончивший бла-

городный пансион в Петербурге. Дирин был в родстве с Кюхельбекером, получал от него письма из сибирской ссылки. Он приносил их Пушкину, так как Кюхельбекер в своих письмах всегда о нем спрашивал. Так состоялось знакомство Пушкина с Дириным, и Пушкин, как сообщает в своих «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаев, «одобрил» намерение Дирина перевести книгу «Об обязанностях человека». Он обещал ему даже написать предисловие к его переводу. Если мы примем во внимание, что Пушкин все время интересовался продвижением работы по переводу книги, что еще до окончания перевода (или тотчас по окончанию), сообщая читателям «Современника» о скором ее выходе в свет, дал о ней блестящий отзыв, если учесть высокое качество перевода, обеспечившее книге пять изданий, то предположение, что перевод прошел через руки Пушкина, не покажется необоснованным. Пушкин знал итальянский язык, поэтому он мог легко редактировать перевод юноши, который относился к нему с благоговением. Панаев в воспоминаниях писал: «Пушкин... обнаружил к нему (т. е. Дирину) действительное участие, что доказывает и *предисловие к его переводу* Сильвио Пеллико» [1].

Здесь речь идет о предисловии, а не о рецензии Пушкина, напечатанной в третьем номере «Современника». Предисловие к книге вышло анонимно, автор перевода также не был указан: Дирин не хотел ставить свою подпись под работой, в которой Пушкин принимал столь деятельное участие, Пушкин же не хотел ставить своей фамилии по другим соображениям. Автор предисловия называет себя в тексте переводчиком книги, но действительно ли предисловие принадлежит переводчику? Действительно ли оно написано Дириным? Это вызывает сомнение не только потому, что Пушкин в своей журнальной практике нередко прибегал к анонимным высказываниям. Так, мы видели, что в 1825 г. он написал анонимную рецензию на свое стихотворение «Демон», в которой оспаривал соображения другого литературного критика, а о своем собственном замысле говорил в третьем лице: «Пушкин будто бы хотел

изобразить...», «Пушкин не хотел ли в своем "Демоне" олицетворить...» и т. д.

Прием высказывания литературных взглядов от чужого имени он применял затем в своем журнале в «Письме к издателю», написанном якобы неким А. Б. из Твери. Пушкин (от лица А. Б.) говорит в нем об анонимной статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы» и о ряде поднятых в ней вопросов журналистики. Автор «письма из Твери» высказывает в свободной форме письма целый ряд серьезных критических замечаний в адрес статьи Гоголя, но все в форме письма простодушного провинциала. К письму А. Б. Пушкин в качестве издателя «Современника» делает *свои* замечания за подписью «Издатель».

Тот же литературный прием Пушкин применил и в последней своей журнальной статье (1837) о поэме Вольтера «Орлеанская девственница». Эта статья в форме переписки с французским дворянином Дюлисом сопровождалась комментарием английского журналиста. Мы о ней уже говорили. Все три «лица» в этом замечательном памфлете Пушкина суть персонажи, созданные творческим вымыслом поэта.

Примерно такой же прием и в те же самые дни конца 1836 г. Пушкин применил в предисловии к переводу книги Пеллико. Предисловие написано от имени переводчика, то есть Дирина, но не подписано. В тексте автор ссылается на авторитет Пушкина, который не назван, но именуется «поэтом с сильным голосом, любимым публикой и владеющим ее доверенностью»; имеется также цитата из рецензии на книгу Пеллико, опубликованной в третьей книге журнала «Современник» (то есть цитата из рецензии Пушкина). Мы хорошо знаем, что Дирин не является вымыслом Пушкина, так же, как не был вымыслом и Вольтер, и все же предисловие к книге Пеллико написано не Дириным, а Пушкиным, также, как и «письмо Вольтера господину д' Арк Дюлису». Предисловие Пушкина к книге «Об обязанностях человека» написано писателем, умудренным жизнью, отнюдь не юношей. Неужели юноша мог написать: «Никогда голос христианского смирения не может производить сильнейшего действия, как в устах человека, с раскаянием при-

знающего свои заблуждения, и что в устах такого человека даже самые обыкновенные мысли получают особенный глубоко трогательный характер». Пушкин говорит о Сильвио Пеллико и его тяжелом жизненном пути, но пушкинский автобиографический подтекст звучит совершенно ясно.

Не Дирин, конечно, говорит и ниже: «Я знал, что мне предстоит истинный подвиг: доставить ей (то есть книге. — *Б. В.*) распространение сколь можно обширнейшее среди людей в моем отечестве, сделать ее настольной книгой каждого юноши, словом: доставить ей и то место и ту важность, которых она заслужила...» И ниже: «Но для этого надо найти сильный голос, любимый публикой и владеющий ее доверенностью, который бы бескорыстным приговором утвердил в нас достоинство писателя и защитил бы его от *нападений клеветы и невежества*».

Это ли слова юноши? Что знал юноша о клевете и мог ли он, только что кончивший пансион, так решительно судить о невежестве? А фраза, сказанная с таким спокойным достоинством: «Я знал, что мне *предстоял истинный подвиг*», — не принадлежит ли она автору, написавшему: «Поэма лауреата (то есть английского поэта Саути. — *Б. В.*) не стоит конечно поэмы Вольтера в отношении *силы вымысла*, но творение Саути есть *подвиг честного человека и плод благородного восторга*» [2].

Неужели юноша Дирин думал о подвиге жизни, когда переводил книгу? Об этом подвиге думал издатель его перевода, не указанный на титульном листе книги, хотя все последующие издания такие указания имеют. Думаю, что автором предисловия и издателем был Пушкин.

Таким образом, я предлагаю ввести новый текст в полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина: «*Предисловие к книге "Об обязанностях человека", наставление юноше». Сочинения Сильвио Пеллико. С итальянского. Санкт Петербург. 1836 г. В типографии Н. Греча. Цензор Петр Корсаков, 20 декабря 1836 г.*». Это предисловие не выпадает по своему духу из круга поэтических творений Пушкина последнего года жизни, исполненных «благородного восторга» [3].

Что же представляет собой книга Пеллико? К какому типу литературы она относится и какое место занимает в истории русской письменности? Книга «Об обязанностях человека» написана христианином-католиком. Она требует от человека жизненного подвига, хотя подвиг этот и трактуется автором, как простое соблюдение *долга* порядочным человеком. Но речь идет *о христианском* долге, то есть в конечном счете *о послушании*, и не только о свободном послушании по любви ко Христу, Который любящих Его называет Своими друзьями, но и по долгу верности предписаниям Церкви, которой, в лице апостола Петра, Христос дал право «вязать и решить».

Книга замечательна тем, что написана не для монахов, а для семейных людей, живущих в гуще общественной жизни. Крупный дореволюционный искусствовед назвал ее «бессодержательной ничтожной книжонкой». Пушкин был другого мнения. Его желание — «доставить ей распространение сколь можно обширнейшее в моем отечестве, сделать ее ручною книжкою каждого юноши» — исполнилось.

Итак, рассмотрев важнейшие литературные произведения Пушкина, можно твердо сказать, что чем ближе дата этих произведений к последним дням его жизни, тем все более в них прямых свидетельств о личном его отношении к вере и христианству.

Бесспорно, что Пушкин пришел собственной дорогой к живой вере. Переломным годом был 1828-ой, а начиная с 1830-го творчество и письма поэта свидетельствуют, что основные вопросы миросозерцания были им решены. Он встал на камень веры и не мыслил творчества вне христианства.



ПРИМЕЧАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Тексты А. С. Пушкина в части первой даются в основном по Полному собранию сочинений в 17-ти томах, изд-во АН СССР, 1937—1949, иногда по Собранию сочинений в 10-ти томах, издание 3-е, М., изд-во АН СССР, отмеченному особо (АН). В части второй тексты даются в основном по Полному собранию сочинений 10-ти томах, издание 2-е, изд-во АН СССР, 1957.

Лучшей биографией Пушкина, наиболее объективно отражающей духовный путь поэта, мне кажется, следует признать труд Георгия Ивановича Чулкова «Жизнь Пушкина», «Художественная литература», М., 1938, 340 с. Работа Г. Чулкова была напечатана первоначально в журнале «Новый мир» за 1936 г., №№ 7-9. В этой публикации имелось много ценного, опущенного при печатании произведения отдельным изданием в 1938 г. Исследование Г. Чулкова о Пушкине, использованное при работе над этой книгой, осталось в полном виде неопубликованным и хранится в архиве Государственного литературного музея (Москва).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I. МУЗА

1 Бабушка Пушкина Мария Алексеевна Ганнибал была замужем за Осипом Абрамовичем Ганнибал, сыном знаменитого «арапа» и крестника Петра Великого Ибрагима (Абрама) Петровича Ганнибала.

2 «Сон» (отрывок), 1816. I, 188-189. При жизни Пушкина не печаталось.

3 «Князю А. М. Горчакову», 1817. I, 255. При жизни Пушкина не печаталось.

4 «Послание к Юрьеву», 1815. I, 168.

5 «Наперсница волшебной старины», 1822. II, 172.

6 «Вновь я посетил», 1835. III, 995-996. Второй вариант черновой редакции. При жизни Пушкина не печаталось.

7 «Вновь я посетил», 1835. III, 996. Первый и второй варианты черновой редакции.

8 «Няне» («Подруга дней моих суровых»), 1826. III, 33. При жизни Пушкина не печаталось.

9 Арина Родионовна — Пушкину. XIII, №№ 320, 323.

10 С прямым влиянием няни и записанных от нее Пушкиным русских сказок на его поэтическое творчество соглашаются в настоящее время крупнейшие литературоведы. См., например: *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина. М., 1967. С. 535 и Примеч. С. 698.

11 «Вновь я посетил», 1835, III, 998. Первый черновой вариант.

Отрывок из второй черновой редакции (С. 1006):

> *Как песни давние* или страницы
> Любимой старой книги, в коих знаем,
> Какое слово где стоит.

12 Глава восьмая «Евгения Онегина». Пропущенные в печатном тексте строки. VI, 620.

13 «Муза» («В младенчестве моем она меня любила»), 1821. II, 164.

14 «Мечтатель», 1815. I, 123.

15 «Выздоровление» («Тебя ль я видел, милый друг»), 1818. II, 58.

[16] «Выздоровление». Черновой вариант. II, 533.

[17] «Когда сожмешь ты снова руку» (Кривцову Н. И.), 1818. I, 326.

[18] «И вдруг я чувствую твое дыханье, слезы
И влажный поцелуй на пламенном челе...»
«Выздоровление». II, 58.

[19] «И Пушкин, школьник неприлежный
Парнасских девственниц-богинь».
«Записка к Жуковскому», 1819. II, 108.

ГЛАВА II. В ЛИЦЕЕ

[1] «Мой портрет». Пер. с французского. 1814. I, 498.

[2] «Монах», 1813. I, 9. При жизни Пушкина не печаталось.

[3] «К другу стихотворцу», 1814, I, 26.

[4] «К Жуковскому», 1816. I, 194.

[5] Тот же стих в славянском переводе ближе к тексту Пушкина, чем русский перевод: «Внидите узкими враты: яко пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и мнози суть входящии им».

[6] *Томашевский Б. В.* Пушкин. Книга I (1813—1814). Изд-во АН СССР, 1956. С. 114.

[7] «Монах», 1813. I, 9.

[8] «Городок», 1815. I, 95.

[9] «Городок», 1815. I, 85.

[10] «К Пущину» (4 мая), 1815. I, 119.

[11] «Блаженство», 1814. I, 54.

[12] «Опытность» («Кто с минуту переможет»), 1814. I, 52.

[13] «Городок», 1815. I, 85.

[14] «Городок», 1815. I, 90.

[15] «Вновь я посетил», 1835. III, 399.

[16] «Городок», 1915. I, 91.

[17] «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», 1836. III, 424.

[18] «Пирующие студенты», 1814. АН, I, 64.

[19] «Послание Аиде», 1816. I, 226.

[20] Письмо А. А. Дельвигу от 2 марта 1827. XII, 317.

[21] «Послание Лиде», 1816, I, 226.

[22] Послание Лиде», 1816, I, 225.

[23] «К Батюшкову» («Философ резвый и пиит»), 1814, I, 72. В 1815 г. Батюшков пишет свои статьи «Нечто о морали, основанной на философии и религии» и «О лучших свойствах сердца» (*Батюшков К. И.* Соч. Т. I. СПб, 1885—1886).

[24] «К Батюшкову» («Философ резвый и пиит»), 1814. I, 72. В 1815 г. Пушкин еще раз с иронией вспоминает Батюшкова в стихотворении «Тень Фонвизина». I, 156. Так же, как и в послании, он жалеет о том, что Батюшков «забыл совсем, что он пиит».

[25] «Батюшкову» («В пещерах Геликона»), 1815. I, 114.

[26] «Гроб Анакреона», 1815. I, 165.

[27] «К Галичу», 1815. I, 121.

[28] Там же.

[29] Комментарий Б. В. Томашевского к стихотворению «Воспоминание» (К Пущину). I, 474.

[30] «Послание к Галичу», 1815. I, 134.

[31] «Сон» (Отрывок), 1816. I, 184.

[32] «Любовь одна — веселье жизни хладной», 1816. I, 214.

[33] «К Каверину», 1817. I, 237. Лицейская редакция.

[34] «К Каверину». I, 237. Редакция 1828 г.

[35] «Моему Аристарху», 1815. I, 152.

[36] «Моему Аристарху», 1815. I, 152.

[37] «Моему Аристарху», 1815. I, 149.

[38] «К Жуковскому», 1816. II, 194; «Жуковскому» («Когда к мечтательному миру»), 1818. I, 59; «К Чаадаеву», 1818. II, 72.

[39] «Безверие», 1817. I, 243.

ГЛАВА III. ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЭПИКУРЕЙСТВА

[1] «К Батюшкову», 1814. I, 72.

[2] «К Н. Г. Ломоносову», 1814. I, 76.

[3] «Мечтатель», 1815. I, 126.

[4] «Мое завещание. Друзьям», 1815. I, 126.

[5] «Моя эпитафия», 1815. I, 139.

[6] «Сраженный рыцарь», 1815. I, 139.

[7] «Наездники», 1816. I, 205.

[8] «Элегия» («Я видел смерть»), 1816. I, 216.

[9] «Желание» («Медлительно влекутся дни мои»), 1816. I, 218.

[10] «Элегия» («Опять я ваш, о юные друзья!»), 1817. I, 239.

[11] «В Альбом Илличевскому», 1817. I, 258.

ГЛАВА IV. БЕЗВЕРИЕ

[1] «Безверие», 1817. I, 243.

[2] Вильям Гутчинсон, доктор медицины, член медицинских и хирургических обществ Лондона и Парижа, с которым Пушкин встречался в Одессе, позднее обратился и был даже англиканским священником.

[3] Письмо П. А. Вяземскому. 1824, апрель — первая половина мая. XIII, № 82.

[4] Дневники. Запись от 9 апреля 1821 г. VIII, 17. Перевод — С. 574.

[5] Письмо П. А. Вяземскому. 1816, 27 марта. XIII, № 2.

ГЛАВА V. ПОСЛЕ ЛИЦЕЯ

[1] Дневники. Запись от 19 ноября 1824 г. VIII, 19.

[2] Так решает этот вопрос Б. В. Томашевский в своих комментариях к собранию стихотворений А. А. Дельвига («Библиотека поэта». Большая серия. 2-е изд. Л., 1959. С. 341).

[3] «Мечтатель», 1815. I, 123.

[4] «Еще одной высокой, важной песни», 1829. III, 192.

[5] «Домовому», 1819. II, 93.

[6] «Русалка», 1819. II, 96.

[7] «Орлову», 1819. II, 85.

[8] *Кюхельбекер В. К.* «К Богу», 1824. Избранные произведения. В 2-х т. («Библиотека поэта». Большая серия. 2-е изд. М.-Л., 1867. С. 191).

[9] См., например, послание «N. N. (В. В. Энгельгардту)», 1819. II, 83.

[10] «N. N. (В. В. Энгельгардту)», 1819. II, 83.

[11] Предисловие Пушкина ко второму изданию поэмы «Руслан и Людмила». IV, 280. Поэма была окончена 26 марта 1820 г., второе издание вышло в 1828 г.

[12] «В начале жизни школу помню я», 1830. III, 255.

[13] А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. I, С. 59.

[14] Там же. С. 219.

[15] Письмо В. Л. Пушкину и П. А. Вяземскому от 1 сентября 1817 г. XIII, 8.

[16] Письмо А. И. Тургеневу от 9 июля 1819 г. XIII, № 8.

[17] Письмо А. И. Тургеневу от 9 июля 1819 г. XIII, № 8.

[18] «Руслан и Людмила». Эпилог, 1829. IV, 86.

[19] Письмо П. А. Вяземскому ок. 21 апреля 1820. XIII, № 13.

[20] «Тургеневу», 1817. II, 40-41.

[21] «Руслан и Людмила». Песнь шестая. IV, 75.

[22] «И я слыхал, что Божий свет», 1818. II, 67.

[23] «Мечтателю», 1818. II, 64.

[24] «Юрьеву» («Здорово, Юрьев именинник!», 1819. II, 95; «О. Массон», 1819. II, 79; «Платонизм», 1819. II, 106.

[25] «Позволь душе моей открыться пред тобою», 1819. II, 81.

[26] «Юрьеву» («Любимец ветреных Лаис»), 1820. II, 139.

[27] «Опровержение на критики», 1830. X, 143.

[28] См. примечания Томашевского к I тому Полного собрания сочинений Пушкина в 10-ти томах — I, 501, примечание к пьесе «Платонизм» — II, 1061.

[29] Пушкин о них сказал: «стихи, преданные мною забвению или написанные не для печати» («Опровержение на критики», 1830. XI, 143).

[30] «Прелестнице», 1818. II, 71.

[31] Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 25 июня 1819 г.

[32] Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 5 августа 1819 г.

[33] «Евгений Онегин», глава восьмая, строфа 3. V, 166. Глава писалась с 24 декабря 1829 г. по 25 сентября 1830 г. Закончена в Болдине, кроме письма Онегина, написанного 5 октября 1831 г. в

Царском Селе. Сравни стихотворение «Подруги ветреной моей» с характеристикой, которую дает Пушкин самому себе в письме Вяземскому от 27 марта 1816 г. (XII, № 2). В этом письме он просит Вяземского обнять дядю Василия Львовича «*за ветреного* племянника».

[34] Письмо Л. С. Пушкину. Сентябрь — октябрь 1822 г. XIII, 42, перевод, 524.

[35] «И я слыхал, что Божий свет», 1818. II, 67.

[36] Иоанн Лествичник. Скрижали духовные. Слово 18, № 2. «О нечувствии, то есть об омертвении души и смерти ума, предваряющей смерть тела».

[37] «Кривцову» («Не пугай нас, милый друг»), 1817. II, 50.

[38] «Не угрожай ленивцу молодому», 1817. II, 49.

[39] «Могущий бог садов — паду перед тобой,
Приап, ты, коему все жертвует в природе...»

Б. В. Томашевский датирует эту пьесу второй половиной 1818 г. по положению ее в тетради. II, 62.

[40] Строфа X второй главы «Евгения Онегина» в беловой рукописи. Она была отброшена в печатном тексте и заменена другой строфой, но с тем же номером X. VI, 559.

[41] Отброшенные в печати XI и XII строфы беловой рукописи второй главы «Евгения Онегина». VI, 559.

[42] «Опровержение на критики», 1830. XI, 143.

[43] «Евгений Онегин». Отброшенные строфы беловой рукописи. Строфа XII, глава вторая. VI, 559.

[44] «Евгений Онегин», глава четвертая. Черновые наброски IX строфы. В окончательной редакции некоторые стихи этой строфы отнесены Пушкиным к Онегину: «Он в первой юности своей Был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей». IV, 342-343.

[45] Отброшенная строфа четвертой главы «Евгения Онегина». VI, 340.

[46] Письмо П. А. Вяземскому от 27 мая 1826 г. XIII, № 266.

[47] Эпиграф взят из книги г-жи де Сталь «Взгляд на французскую революцию», ч. II, гл. XX. Пушкин дал, однако, другое указание: «Из частного письма».

[48] «Элегия», 1830. III, 228.

[49] «Когда в объятия мои», 1830. III, 222. При жизни Пушкина не печаталось. Стихотворение, исходя из его содержания, бесспорно относится к Н. Н. Гончаровой. По этой причине Пушкин его не печатал.

[50] «Евгений Онегин». Глава восьмая. VI, 165, перевод, 662.

ГЛАВА VI. ПОЛУДЕННЫЙ БЕРЕГ

[1] «Опровержение на критики», 1830. XI, 145.

[2] Там же.

[3] Примечание Б. В. Томашевского к Полному собранию сочинений Пушкина в 10-ти томах. АН СССР, 1963. II, 397.

[4] «Евгений Онегин». Из ранних редакций. V, 509 (АН).

[5] См. справочный том к Полному собранию сочинений Пушкина в 16-ти томах. АН СССР, 1959, 99-100.

[6] «Гречанке», 1822. II, 262; «К морю», 1824. II, 331; письмо П. А. Вяземскому от 24—25 июня 1824 г. XIII, 99.

[7] «Полтава», примечания. В рукописи «Полтавы» было примечание со стихами Байрона о Наполеоне. V, 16, 524.

[8] «Гречанке», 1822. В этом стихотворении Пушкин посвящает Байрону 16 строк. II, 262.

[9] «К морю», 1824. II, 331. Байрон скончался 19 апреля 1824 г.

[10] Письмо Вяземскому от 24—25 июня 1824 г. XIII, № 89. Д. Д. Благой не отрицает «пламенного увлечения Пушкина Байроном, которое он преодолел ранее Мицкевича». См.: *Благой Д. Д.* «Творческий путь Пушкина», т. II. 1957. С. 77.

[11] Там же.

[12] Письмо Н. Н. Раевскому-сыну. Вторая половина июля 1825 г. XIII, № 193, перевод, 540.

[13] Письмо А. С. Пушкину от Жуковского. XIII, № 217.

[14] «Медок» («Медок в Уаллах»), 1829. III, 179.

[15] «Еще одной высокой, важной песни», 1829. III, 192.

[16] «Родрик», 1835. III, 445.

[17] «Последний из свойственников Иоанны д' Арк», 1837. VII, 509-512. АН СССР, 1963. Написано, вероятно, в первых числах января 1837 г. Напечатано в «Современнике» посмертно.

[18] Об интересе Пушкина к творчеству Саути свидетельствует стихотворение «На Испанию родную». III, 383. Написано в 1835 г. на тему легенды о последнем готском короле Родерике, разные версии которой были сведены воедино в поэме Саути «Родрик, последний из готов».

[19] Замечательно, что Пушкин знал эту дату и помнил ее. Байрон скончался 19 апреля нового стиля в первый день Пасхи (по старому стилю 7 апреля).

[20] Письмо П. А. Вяземскому от 7 апреля 1825 г. XIII, № 155.

[21] Письмо С. Л. Пушкину от 7 апреля 1825 г. XIII, № 156. Шкода — прозвище местного священника.

[22] Письмо Н. И. Гнедичу от 4 декабря 1820 г. X, № 15. АН СССР, 1966.

[23] «В. Л. Давыдову», 1821. II, 178-179. В 1821 г. 5 апреля — день написания стихотворения — приходилось на Великий вторник на страстной неделе.

[24] Письмо А. А. Дельвигу от 23 марта 1821 г. X, № 17. АН СССР, 1966.

[25] Благовещение в 1821 г. приходилось на пятницу пятой недели Великого поста.

[26] Письмо Н. И. Гнедичу от 24 марта 1821 г. X, № 18. АН СССР, 1966.

[27] Краткий план «Гавриилиады», написанный рукою Пушкина, сохранился. Томашевский датирует его 6 апреля 1821 г. (IV, 368), то есть следующим днем после написания «В. Л. Давыдову». Рукопись была Пушкиным уничтожена.

[28] Я не привожу этой кощунственной строки. Желающие познакомиться с ней благоволят обратиться к этому посланию.

[29] Письмо С. А. Соболевского М. Н. Лонгинову, 1855. Соболевский хвалит Анненкова, первого издателя Полного собрания сочинений А. С. Пушкина за то, что тот в своем первом издании не привел ни одного стиха из «Гавриилиады» и даже не упомянул о ней.

[30] «Пушкин и его современники». XXXI—XXXII. 1826. С. 39.

[31] Письмо А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 г. XIII, № 22.

[32] Письмо П. А. Вяземскому от 1 сентября 1822 г. XIII, № 38.

[33] Комментарий Б. В. Томашевского к письму П. А. Вяземского. XIII, № 38.

[34] Письмо А. И. Тургеневу от 9 июля 1819 г. XIII, № 8.

[35] Письмо А. А. Бестужеву от 13 июня 1823 г. XIII, № 53.

[36] Письмо А. И. Тургенева В. А. Жуковскому от 12 ноября 1817 г. (*Вересаев*, I, 100).

[37] «Последний из свойственников Иоанны д' Арк», 1837. VII, 510-514. АН СССР, 1964.

[38] Тургенев А. И. Дневник. VII, 713 (АН).

[39] Комментарии к поэме «Гавриилиада» Б. В. Томашевского. IV, 532.

[40] «Опровержение на критики», 1830. XI, 143.

[41] Исповеди я здесь, конечно, не имею в виду. Пушкин исповедался не только перед вступлением в брак и не только на смертном ложе после дуэли. Есть и другие достоверные сведения. См.: письмо П. В. Нащокину. Декабрь 1830. XIV, № 551.

[42] Николай Николаевич Раевский, впоследствии видный литературный критик. См. его письма к Пушкину. XIII, №№ 97, 169.

[43] Екатерина Николаевна Раевская (в замужестве Орлова).

[44] Письмо Л. С. Пушкину от 24 сентября 1820 г. XIII, № 16.

[45] Обращение пленника к черкешенке.

[46] «Кавказский пленник». Из ранних редакций. IV, 497.

[47] Письмо А. А. Бестужеву от 29 июня 1824 г. XIII, № 90.

[48] Письмо С. Г. Волконского А. С. Пушкину от 18 октября 1824 г. XIII, № 104.

[49] «Бахчисарайский фонтан», 1821—1823. IV, 182, 184 (АН).

[50] Письмо А. П. Вяземскому от 8 марта 1824 г. XIII, № 78.

[51] «Дочери Карагеоргия», 1820. II, 14 (АН).

[52] «Полтава». Посвящение. 1828. IV, 253 (АН).

[53] «На холмах Грузии лежит ночная мгла», 1829. III, 158.

[54] «Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла», 1829. III, 722-723.

[55] Письмо М. Н. Волконской своему отцу Н. Н. Раевскому от 11 мая 1829 г. из Нерчинска.

[56] «Манфред» Байрона вышел из печати 16 июня 1817 г. Следовательно, Пушкин был знаком с образом Манфреда, когда писал свою поэму «Кавказский пленник». Она была закончена (беловой текст) 23 февраля 1821 г. Пересылая рукопись своей поэмы Гнедичу в Петербург, Пушкин писал ему: «Местные краски верны, но

понравятся ли читателям, избалованным поэтическими панорамами Байрона и Вальтера Скотта — я боюсь и напомнить об них своими бледными рисунками — сравнение мне будет убийственно». Письмо Н. И. Гнедичу (черновик) от 29 апреля 1822 г. II, № 27.

[57] Письмо В. П. Горчакову. Октябрь — ноябрь 1822 г. XIII, № 44.

[58] Письмо П. А. Вяземскому от 6 февраля 1823 г. XIII, № 49.

[59] Письмо П. А. Плетневу. Ноябрь — декабрь 1822 г. XIII, № 45.

[60] Письмо Л. С. Пушкину от 25 августа 1823 г. XIII, № 58.

[61] Письмо П. А. Плетневу от 22 июля 1831 г. X, № 429 (АН).

[62] «В. Ф. Раевскому» («Ты прав, мой друг — напрасно я презрел»), 1922. II, 120 (АН).

[63] *Иоанн Лествичник.* Скрижали духовные. Слово 13, № 15. Об унынии. С. 142.

[64] «Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет»), 1821. II, 51 (АН).

[65] О стихотворении «Демон», 1825. XI, 30. Выделенное курсивом подчеркнуто А. С. Пушкиным. В третьей сцене «Фауста» Мефистофель определяет себя: «Я дух, который вечно отрицает».

[66] «В. Ф. Раевскому» («Ты прав, мой друг — напрасно я презрел»), 1822. II, 119 (АН).

[67] «Бывало в сладком ослепленье», 1823. II, 157 (АН).

[68] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1813—1826). М.-Л., 1950. С. 272.

[69] «Демон», 1823. II, 159 (АН). Объяснение «Демона» Пушкиным см. XI, 30.

[70] Письмо В. А. Жуковского А. С. Пушкину от 1 июня 1824 г. XIII, № 85. Б. В. Томашевский так комментирует его: «Конечно, Жуковский понял стихи в желательном для него смысле» (*Томашевский Б. В.* Пушкин. Т. I. 1956. С. 553). Кто лучше знал и понимал душу Пушкина? Жуковский или Томашевский? Зачем это «конечно»? Почему *в желательном для него*? Замечания Б. В. Томашевского свидетельствуют о необъективном подходе к биографии Пушкина.

[71] Письмо Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной от 4 декабря 1824 г. XIII, № 120. «Демон» был с ошибками напечатан В. К. Кюхельбекером в сборнике «Мнемозина» (1824, ч. III).

[72] Выделенное курсивом подчеркнуто Пушкиным. «*Те*» — итальянские карбонарии; «*та*» — политическая свобода в Неаполе. II, 178.

[73] «В. Л. Давыдову» («Меж тем как генерал Орлов»), 1821. II, 41-42 (АН).

[74] «Христос воскрес», 1821. II, 77 (АН).

[75] «В. Л. Давыдову» («Меж тем как генерал Орлов»), 1821. II, 41-42 (АН).

[76] «В. Ф. Раевскому» («Ты прав, мой друг — напрасно я презрел»), 1822. II, 119 (АН).

[77] «Бывало в сладком ослепленье», 1823. II, 157 (АН).

[78] «Наполеон», 1821. II, 213 (АН).

[79] Эпиграф взят Пушкиным из Евангелия от Матфея (глава 13, стих 3).

[80] «Свободы сеятель пустынный», 1823. II, 160 (АН).

[81] Так как положение в Европе в 1822—1823 гг. по сравнению с 1821 г. сильно изменилось. Письмо А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 г. XIII, № 70.

[82] Письмо П. А. Вяземскому от 24—25 июня 1824 г. XIII, № 89.

[83] Письмо В. Л. Давыдову. Июнь 1823 г. — июль 1824 г. Черновое. Перевод с французского. XIII, № 95.

[84] Пушкин, как видно из письма брату Льву от 25 августа 1823 г. из Одессы, закончил «Бахчисарайский фонтан» осенью этого года, может быть, именно в августе. XIII, № 58.

[85] Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 30 апреля 1823 г.

[86] Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 15 июня 1823 г.

[87] *Вигель* Ф. Ф. Записки. Ч. VI. С. 98-99.

[88] Письмо Ф. Ф. Вигеля А. С. Пушкину от 8 октября 1823 г. XIII, № 59.

[89] Письмо Ф. Ф. Вигелю от 22 октября — 4 ноября 1823 г. XIII, № 62. Поэтическая часть письма — «Проклятый город Кишинев» см. II, 29.

[90] Письмо П. А. Вяземскому от 14 октября 1823 г. XIII, № 60.

[91] *Стурдза* А. С. Беседа любителей русского слова и «Арзамас». «Москвитянин», 1851. Ч. 31. № 21. Ноябрь, кн. 1. С. 17-18.

[92] Письмо А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 г. Черновое. I, 385.

[93] Пушкин изучал Библию и Евангелие также и с чисто филологической и литературоведческой стороны. Так, в письме П. А. Вяземскому, может быть, от того же числа, что и письмо Тургеневу, он пишет: «...я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе». Письмо П. А. Вяземскому от 1—8 декабря 1823 г. XIII, № 71.

[94] Пушкин имеет в виду «Евгения Онегина». Первая глава была начата в Кишиневе 9 мая 1823 г. и закончена 22 октября в Одессе. Вторая глава начата в Одессе. К 3 ноября были написаны первые 17 строф. В 1824 г. Пушкин доработал эту главу. Третья глава также написана в Одессе в феврале 1824 г.

[95] Письмо П. А. Вяземскому. Апрель — первая половина мая 1824 г. Отрывок. XIII, № 82. Перевод с французского. Письмо в подлиннике до нас не дошло. Копия представляет собой выписку из письма Пушкина, сделанную жандармерией.

[96] «Ты обещал о романтизме» («К Родзянке»), 1825. II, 265 (АН).

ГЛАВА VII. МИХАЙЛОВСКИЙ ПУСТЫННИК

[1] Письмо В. А. Жуковского А. С. Пушкину. 15 — начало 20-х чисел апреля 1825 г. XIII, № 160.

[2] Письмо В. А. Жуковскому от 20—24 апреля 1825 г. XIII, № 164.

[3] Письмо В. А. Жуковскому. Конец октября 1824 г. XIII, № 105.

[4] Письмо А. С. Пушкину и О. С. Пушкиной от 4 декабря 1824 г. XIII, № 120.

[5] Письмо В. Ф. Вяземской. Конец октября 1824 г. XIII, № 107, перевод с французского.

[6] Письмо Б. А. Адеркасу. Конец октября 1824 г. XIII, № 109.

[7] Письмо В. А. Жуковскому от 31 октября 1824 г. XIII, № 110.

[8] Письмо А. С. Пушкину от 1—10 ноября 1824 г. XIII, № 112.

[9] Письмо В. А. Жуковского А. С. Пушкину. XIII, № 114.

[10] Письмо В. А. Жуковского А. С. Пушкину. 15 — начало 20-х чисел апреля 1825 г. XIII, № 160.

[11] Письмо В. А. Жуковского А. С. Пушкину от 5 августа 1825 г. XIII, № 199.

[12] Письмо Л. С. Пушкину. Первая половина мая 1825 г. XIII. № 171.

[13] Письмо П. А. Вяземскому от 10 августа 1825 г., XIII, № 200.

[14] Письмо В. А. Жуковскому от 17 августа 1825 г. X, № 159 (АН, 1958).

[15] Письмо Д. М. Шварцу. Около 9 декабря 1824 г. Черновое. XIII, № 122.

[16] Письмо Л. С. Пушкину. Первая половина ноября 1824 г. XIII, № 115.

[17] Письмо Арины Родионовны А. С. Пушкину от 6 марта 1827 г. XIII, № 320.

[18] Это была не экзотическая среда черкесов, крымских татар, молдаван, греков и цыган, а среда псковского крестьянства, сохранявшего крепкие народные традиции.

[19] «Евгений Онегин». Глава четвертая, строфа IX. VI, 76.

[20] «Евгений Онегин». Из ранних редакций. Глава четвертая. VI, 340.

[21] Письмо Л. С. Пушкину. Первая половина ноября 1824 г. XIII, В 115.

[22] Письмо Л. С. Пушкину. Начало 20-х чисел ноября 1824 г. XIII, № 117.

[23] Письмо А. С. Пушкину и О. С. Пушкиной от 4 декабря 1824 г. XIII, № 120.

[24] «Второй том "Истории русского народа" Полевого», 1829. XI, 125.

[25] «В пещере тайной, в день гоненья», 1825. II, 475.

[26] *Черняев Н. И.* «Пророк» Пушкина в связи с его «Подражаниями Корану». М., 1898.

[27] *Томашевский Б. В.* Пушкин. Книга II (1824—1837). М.-Л., 1961. С. 45.

[28] Там же. С. 40.

[29] Письмо В. А. Жуковскому от 7 марта 1826 г. XIII, № 250.

[30] Там же.

[31] Там же.

[32] Письмо В. Ф. Вяземской. Конец октября 1824 г. X, № 107 (АН). Перевод с французского.

[33] Письмо А. А. Дельвигу от 23 июля 1825 г. XIII, № 186.

[34] Письмо Александру I. Не позднее 24 апреля 1825 г. Черновое. XIII, 163. Перевод с французского.

[35] Письмо П. А. Вяземскому от 13 и 15 сентября 1825 г. XIII, № 214.

[36] Письма П. А. Вяземского А. С. Пушкину от 28 августа и 6 сентября 1825 г. XIII, № 212.

[37] Письмо П. А. Вяземскому от 13 и 15 сентября 1825 г. XIII, № 214.

[38] «19 октября», 1825. II, 424.

[39] «Надеждой сладостной младенчески дыша» Даты нет (1823?). II, 295.

[40] Письмо П. А. Вяземского А. С. Пушкину от 10 мая 1826 г. XIII, № 262.

[41] Письмо П. А. Вяземскому. Не позднее 24 мая 1826 г. XIII, № 265.

[42] Письмо Николаю I. 11 мая — первая половина июня 1826 г. XIII, № 270.

[43] Письмо В. А. Жуковскому от 7 марта 1826 г. XIII, № 250.

ГЛАВА VIII. «И БОГА ГЛАС КО МНЕ ВОЗЗВАЛ...»

[1] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1813—1826). М., 1950. С. 535.

[2] Письмо П. А. Вяземскому от 14 августа 1826 г. XIII, № 274: «Еще таки я все надеюсь на коронацию: повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна».

[3] Там же.

[4] «К Языкову», 1824 II, 186. «Муз возвышенный пророк» — так отзывается Пушкин о Дельвиге. Языков неоднократно также называет свой и Пушкина поэтический дар «даром пророческим» (*Языков А. М.* «Тригорское», 1826 (?). XIII, № 293). Получив известие о смерти Александра I, Пушкин писал Плетневу 4—6 декабря 1825 г.: «Душа! я пророк, ей-Богу пророк! Я Андрея Шенье

велю напечатать церковными буквами во имя Отца и Сына etc. — выписывайте меня, красавцы мои...» (Письмо П. А. Плетневу от 4—6 декабря 1825 г. X, № 179 (АН)). 3 марта 1826 г. он опять пишет Плетневу о том же: «Ты знаешь, что я пророк. Не будет вам "Бориса", прежде чем выпишите меня в Петербург...» (Письмо П. А. Плетневу от 3 марта 1826 г. X, № 188 (АН)).

5 Подобные слова, употребленные по отношению к античным языческим «богам и их изображениям» («кумиры», «идолы», «бесы», «демоны»), находим в стихотворении Пушкина 1830 г. «В начале жизни школу помню я», 1830. III, 254.

6 Письмо П. П. Каверину от 18 февраля 1827 г. X, № 219 (АН).

7 Письмо В. И. Туманскому. Не позднее 23 февраля 1827 г. X, № 220 (АН).

8 «Поэт», 1827. III, 65.

9 *Булгаков* С. Н. Философия имени. Париж, 1953.

10 «В начале жизни школу помню я», 1830. Л. С. 254.

11 Третий номер «Московского Вестника» имеет разрешение цензора Сергея Аксакова от 18 февраля 1828 г. Таким образом, «Пророк» стал достоянием России в феврале 1828 г.

12 Если верны предположения, что первоначальная редакция была иной.

13 2 мая 1828 г. провели у Пушкина вечер и ночь Мицкевич, Жуковский, Крылов, Плетнев, Ник. Муханов, Вяземский.

14 *Мицкевич Адам.* Биографическое и литературное известие о Пушкине. 25 мая 1837 г. Перевод кн. П. А. Вяземского. См. «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». М., 1974. Т. I. С. 142-143.

15 *Благой Д.Д.* Творческий путь Пушкина (1813—1826). 1950. С. 537.

16 Письмо Николаю I. 11 мая — первая половина июня 1826 г. XIII, № 270.

17 Письмо П. А. Вяземскому от 10 июля 1826 г. X, № 198 (АН).

ГЛАВА IX. «НА БЕРЕГ ВЫБРОШЕН ГРОЗОЮ»

1 Письмо В. П. Зубкову от 1 декабря 1826 г. X, № 214 (АН).

2 «Каков я прежде был, таков и ныне я», 1826. III, 143.

[3] Письмо В. Ф. Вяземской от 3 ноября 1826 г. X, № 206 (АН). Перевод с французского.

[4] Ангел, 1827. III, 59.

[5] Письма Анны Николаевны Вульф к Пушкину: XIII, №№ 252, 259, 267, 278, 281. Все они падают на промежуток времени между концом февраля и 16 сентября 1826 г. Анна Николаевна, которую Пушкин называл «очень осведомленной девицей» («осведомленной» она, надо думать, была благодаря брату — Алексею Николаевичу), страстно любила его. Чувство ее не было лишено самоотверженности: она искренне желала возвращения Пушкина из ссылки, хотя понимала, что отъезд его будет концом их краткого романа.

[6] «Воспоминание», 1828. III, 651. Из ранних редакций.

[7] «Евгений Онегин». Глава первая, строфа XLVI. VI, 24.

[8] Письмо П. А. Вяземскому от 27 мая 1826 г. X, № 195 (АН).

[9] Письмо А. А. Дельвигу от 2 марта 1827 г. X, № 222 (АН).

[10] Письмо А. П. Керн от 13—14 августа 1825 г. X, № 156 (АН). Перевод с французского.

[11] «Ангел», 1827, III, 59.

[12] Письмо П. А. Осиповой от 5 ноября 1830 г. X, № 367 (АН). Перевод с французского.

[13] *Цявловская Т. Г.* Пушкин в дневнике Франтишека Малевского. «Литературное наследство». Т. 58. 1952. С. 263-268. *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1813—1826). М., 1867. С. 106.

[14] «В еврейской хижине лампада», 1826. III, 44.

[15] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1813—1826). М., 1867. С. 109.

[16] «Стансы» («В надежде славы и добра»), 1826. III, 40.

[17] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1813—1826). М., 1967. С. 347.

[18] «И. И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный!..»), 1826. III, 39.

[19] «И. И. Пущину», 1825. III, 582-583. Из ранних редакций.

[20] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1813—1826). М., 1967. С. 153.

[21] «Три ключа» («В степи мирской, печальной и безбрежной»), 1827. III, 57.

[22] Письмо П. А. Осиповой. Не позднее 10 июня 1827 г. X, № 229 (АН). Перевод с французского.

[23] Письмо П. А. Осиповой от 24 января 1828 г. X, № 247 (АН). Перевод с французского.

[24] Примечание Пушкина № 40 к «Евгению Онегину»: «В первом издании шестая глава оканчивалась следующим образом:
«А ты, младое вдохновенье...» и т. д., кончая стихом:
«Купаюсь, милые друзья...»

[25] Наблюдения Пушкина над русским обществом были им использованы не только в его романе, но и в ряде неоконченных набросков романов в прозе, которые относятся к тому же времени, что и последние, седьмая — десятая главы «Евгения Онегина»: «Роман в письмах» (1829); «Гости съезжались на дачу» (1828—1830); «Русский Пелам» (1834—1835) и др.

[26] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967. С. 347.

[27] «Евгений Онегин». Глава четвертая, строфа VII. VI, 591.

[28] Письмо Е. М. Хитрово. Август — первая половина октября 1828 г. XIV, № 390. Перевод с французского.

[29] Письмо А. А. Дельвигу. Середина ноября 1828 г. XIV, № 395: «А все Софья Остафьевна виновата». Ему же 26 ноября из Малинников в Петербург: «...я ...прилепляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь сетей порока — скажи это нашим дамам; я приеду к ним омолодившийся и телом и душою...» XIV, № 396.

[30] Письмо П. А. Вяземскому от 1 сентября 1828 г. X, № 263.

[31] Письмо Е. М. Хитрово. Август — первая половина октября 1828 г. XIV, № 390. Перевод с французского.

[32] Характер отношений хорошо виден из писем Пушкина Собаньской, X, № 296-297 (АН), в дате которых, к сожалению, нет уверенности, и из письма его к Е. М. Хитрово (август — первая половина октября 1828 г.).

[33] «Евгений Онегин». Глава вторая (черновые рукописи), строфа XVII. V, 519 (АН, 1957).

[34] Письмо П. А. Вяземского А. С. Пушкину от 26 июля 1828 г. XIV, № 385. Вторично Вяземский выговаривает Пушкину в письме из Остафьева от 25 сентября. XIV, № 388.

[35] Письмо И. А. Яковлеву. Март — апрель 1829 (?). XIV, № 412.

[36] Погодин М. П. Дневник. См.: Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. II. Изд. 2-е С. 112.

[37] «Русский архив». 1899. Кн. II. С. 350.

[38] *Мицкевич Адам.* Биографическое и литературное известие о Пушкине. 25 мая 1837 г. Перевод кн. Вяземского. Полн. собр. соч. П. А. Вяземского. Т. VII. С. 315.

[39] Он остановился в Глинищевском переулке в гостинице «Север».

[40] Письмо Н. Н. Гончаровой от 5 апреля 1830 г. XIV, № 461. Перевод с французского.

[41] Д. Д. Благой с полным основанием называет это стихотворение Пушкина «трагедией».

[42] Письмо П. А. Плетневу от 4—6 декабря 1825 г. XIV, № 232.

[43] Показание по делу об элегии «Андрея Шенье». 29 июня 1827 г. X, 631 (АН).

ГЛАВА X. ВОЗРОЖДЕНИЕ

[1] «Невский альманах», 1828. С. 227. За подписью «А. Пушкин», без указания даты.

[2] «Возрождение». I, 377 (АН 1957). В собраниях сочинений Пушкина печатается с датой 1819 г. Впервые напечатано в «Невском альманахе» за 1828 г.

[3] *Майков А. Н.* «Пушкин, Биографические материалы и историко-литературный очерк». СПб., 1899.

[4] «И я слыхал, что Божий свет», 1818. II, 67.

[5] «Недоконченная картина» («Чья мысль с восторгом угадала»), 1819. Впервые опубликовано в 1828 г. I, 357.

[6] «Мечтателю», 1818. I, 339 (АН 1957).

[7] «Евгений Онегин». Беловая рукопись второй главы. Строфа X. VI, 559.

[8] «Евгений Онегин». Глава четвертая, строфа IX (первоначальный вариант от первого лица). V, 625 (АН 1957).

[9] Не напечатанная Пушкиным строфа четвертой главы «Евгения Онегина». V, 531 (АН 1962).

[10] *Варшавская М. Я.* Пушкин и картина Рафаэля. «Эрмитаж», М., 1949. Под ред. академика И. А. Орбели. Тираж 2000.

[11] Эрмитажная галерея, гравированная штрихами с лучших картин, оную составляющих, и сопровождаемая историческим описанием, сочиненным Камилем... Перевел С. Глинка. Издание Ф. И. Лабенского. Т. I. С. 1805.

[12] «Мадонна», 1830. III, 224.

[13] «Евгений Онегин». Глава шестая, строфа XLV. V, 138.

[14] Разрешение цензора на издание альманаха последовало 9 декабря 1827 г.

[15] «Воспоминание», 1828. III, 102.

[16] «Евгений Онегин». Исключенная Пушкиным из белового текста строфа четвертой главы. V, 531 (АН 1962).

[17] «Воспоминание», 1828. III, 651. Из ранних редакций.

[18] «Отцы пустынники и жены непорочны», 1836. III, 421. Вот церковнославянский текст молитвы Ефрема Сирина:

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и праздословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

[19] «Путешествие Онегина», 1830. VI, 474. Черновые рукописи.

[20] «Дар напрасный, дар случайный», 1828. III, 104.

[21] «Вновь я посетил», 1835. III, 996. Отрывок из второй черновой редакции.

[22] «Воспоминание в Царском Селе», 1829. III, 189.

[23] Письмо Н. И. Гончаровой от 5 апреля 1830 г. X, № 307 (АН). Перевод с французского.

[24] «Евгений Онегин». Часть первая. Изд. 1828 г. С. 47.

ГЛАВА XI. «В НАДЕЖДЕ СЛАВЫ И ДОБРА»

[1] «Заметки по русской истории XVIII века», 1822. XI, 14.

[2] Письмо П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г. X, 740 (АН). Перевод с французского.

[3] «Заметки по русской истории XVIII века», 1822. XI, 14.

[4] «Ек. Н. Ушаковой» («В отдалении от вас»), 1827. III, 56.

[5] «Во глубине сибирских руд», 1827, III, 7 (АН 1957).

[6] «Арион», 1827. III, 15 (АН 1957). Сравни «Андрей Шенье»: «Но лира юного певца О чем поет? Поет она свободу: Не изменилась до конца!»

[7] «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», 1836. III, 373 (АН 1957).

[8] «Анчар», 1828. К заголовку стихотворения сделана сноска: «Древо яда». III, 82 (АН 1957).

[9] Письма А. Х. Бенкендорфу. От 7 февраля 1832 г. X, № 480 (АН 1957). От 18—24 февраля 1832 г. Черновое. X, № 483 (АН 1957).

[10] В «Заметках по русской истории XVIII века» Пушкин писал о Петре: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон». XI, 14.

[11] Письмо М. П. Погодину от 31 августа 1827 г. X, № 238 (АН 1957).

[12] Письмо М. П. Погодину от 1 июля 1828 г. X, № 260 (АН 1957).

[13] Письмо М. П. Погодину от 31 августа 1827 г. X, № 238 (АН 1957).

[14] «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю»), 1828. III, 48 (АН 1957).

[15] «Стансы» («В надежде славы и добра»), 1826. II, 342 (АН 1957).

[16] «Полтава», 1828. Песнь третья. V, 15.

[17] «Пир Петра Первого», 1835. III, 408.

[18] Письмо А. Х. Бенкендорфа А. С. Пушкину от 20 апреля 1828 г. XIV, № 375.

[19] *Вересаев В. В.* Пушкин в жизни. М., 1936. Т. I. С. 393. Письмо великого князя Константина Павловича А. Х. Бенкендорфу от 27 апреля 1828 г.

[20] Письмо П. А. Вяземского В. Ф. Вяземской от 21—26 апреля 1828 г. XIV, № 377.

[21] Письмо А. Х. Бенкендорфу от 21 апреля 1828 г. XIV, № 376.

[22] Сотрудник III Отделения А. А. Ивановский доносил, что Пушкин впал в болезненное состояние и опасно занемог. (*Вересаев В. В.* Пушкин в жизни. М., 1936. Т. I. С. 391).

ГЛАВА XII. «ОБРАТИТЕСЬ С ПРИЗЫВОМ К НЕБУ — ОНО ОТКЛИКНЕТСЯ»

[1] В последних числах августа 1830 г., перед отъездом в Болдино, Пушкин писал Наталии Николаевне Гончаровой: «...Вы совершенно свободны; что же касается меня, то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам, или никогда не женюсь». X, № 352. Перевод с французского.

[2] Письмо Н. И. Гончаровой от 1 мая 1829 г. X, № 279 (АН): «Толстой передал мне ваш ответ: этот ответ — не отказ, вы позволяете мне *надеяться*».

[3] Ко времени возвращения Пушкина с Кавказа (осень 1829 г.) Чаадаев уже закончил «Первое философическое письмо», с которым тогда же познакомил своего друга.

[4] Письмо П. Я. Чаадаева А. С. Пушкину. Март — апрель 1829 г. XIV, № 411. Перевод с французского.

[5] Ф. Ансильон (1767—1837) — проповедник при французской общине в Берлине, член Прусской академии наук, королевский историограф, воспитатель кронпринца. Крупный теоретик умеренного либерализма, сторонник представительного образа правления. Им было написано много книг, в том числе мысли о человеке — о его деятельности и предметах его познания». Берлин, 1829. Эта книга имеется в библиотеке Московского Университета. Вот оглавление книги, которое даст достаточное представление о ее содержании:

Том 1

Мысли о религии — О науке — Об истине — О философии — О разуме и рассудке — О природе — О социальном строе — О правдивости — Суждения об истории

Том 2

О чувствительности — О добродетели — О долге и страстях — О прекрасном — О счастье — О литературе — О мужчинах — Об обществе — Суждения об истории — О силе характера — О женщинах — О славе — О бесконечном — Об ангелах — Мысли о страдании

[6] *Чаадаев П. Я.* Сочинения и письма. Под ред. М. Гершензона. М., 1914. Т. 2. С. 215. 1837. № 73.

[7] Если верить представленным датам, седьмое письмо было закончено ранее первого, так как имеет дату 16 февраля 1829 г.

[8] В 5-ом томе «Философской энциклопедии» (М., 1970) в большой статье З. А. Каменского о П. Я. Чаадаеве имя Пушкина

ни разу не упоминается, хотя Пушкин не только был близким другом Чаадаева, но и принимал непосредственное участие в хлопотах по изданию его писем, не говоря уже о том, что, может быть, был первым их читателем.

[9] «Еще одной высокой, важной песни», 1829. III, 192.

[10] «Евгений Онегин». Глава восьмая. Строфа III. VI, 166.

[11] Письмо П. Я. Чаадаева А. С. Пушкину. Март — апрель 1829 г. XIV, № 411. Перевод с французского.

ГЛАВА XIII. НОВЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ. 1829

[1] «Эпитафия младенцу», 1829. III, 95. Дата «Эпитафии» (не позднее 2 марта 1829 г.) установлена Т. Г. Цявловской.

[2] *Цявловская Т. Г.* Мария Волконская и Пушкин. Новые материалы. «Прометей», 1966. С. 55.

[3] Письмо М. Н. Волконской Н. Н. Раевскому от 11 мая 1829 г. III, № 493.

[4] Требник. Издан в Московской синодальной типографии (десятое тиснение). Индикта 12-го, месяца януария 1884. Листы 149 об. — 150 об.

[5] «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», 1829. VIII, 441.

[6] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967. С. 361.

[7] «Когда в объятия мои», 1830. III, 222. При жизни Пушкина не печаталось. Датируется предположительно маем 1830 г. В это время Пушкин был уже официально женихом; согласие на брак он получил в апреле 1830 г.

[8] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967. С. 345.

[9] Монастырь на Казбеке, 1829. III, 141 (АН 1957).

[10] Письмо Н. И. Гончаровой от 5 апреля 1830 г. XIX, 75. Перевод с французского.

[11] «Тазит», 1829—1830. V, 69.

[12] Примечания Б. В. Томашевского к поэме «Тазит». Второй план. VI, 538.

[13] *Лернер Н. О.* Пушкин. Собр. соч. под ред. С. А. Венгерова. Изд. Брокгауз и Эфрон. 1915. Т. VI. С. 458.

[14] Это убедительно показал Д. Д. Благой.

[15] Такую попытку мы увидим в статье: *Турчанинов Г.* К изучению поэмы Пушкина «Тазит». «Русская литература», 1962. № 1.

[16] Послесловие к «Долине Ажитугай», 1836. VII, 343 (АН 1962).

[17] *Чулков Г. И.* Жизнь Пушкина. М., 1938. С. 263.

[18] Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Статья «Веньяминов Иван»; там же литература о нем.

[19] Письмо Е. М. Хитрово. Январь 1830г. X, № 292 (АН 1957).

[20] «В часы забав иль праздной скуки», 1830. III, 212.

[21] «Юрьеву» («Здорово, Юрьев именинник!», 1819. II, 95.

[22] «В. Л. Давыдову» («Меж тем как генерал Орлов»), 1821. II, 178.

[23] «Собрание сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского», 1836. VII, 326: «По нашему мнению, приветствие, коим высокопреосвященный Филарет встретил Государя императора, приехавшего в Москву в конце 1830 года, в своей умилительной простоте заключает гораздо более истинного красноречия» (по сравнению с речью Георгия Кониского, произнесенной императрице Екатерине в 1787 г. в Мстиславле).

[24] Чтобы оценить путь, пройденный Пушкиным за сравнительно короткий срок, достаточно познакомиться с его стихами о митрополите Кишиневском в его послании «В. Л. Давыдову» («Меж тем как генерал Орлов»), 1821:

На этих днях, среди собора,
Митрополит, седой обжора... —

и т. д.

ГЛАВА XIV. «ПРЕЧИСТАЯ И НАШ БОЖЕСТВЕННЫЙ СПАСИТЕЛЬ»

[1] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967. С. 446.

[2] Письмо А. Н. Гончарову от 7 июня 1830 г. XIV, № 495.

[3] «Поэт и толпа», 1828. III, 141.

[4] «Мадонна», 1830. III, 224. Текст стихотворения дается здесь в орфографии первой его публикации в альманахе «Сиротка», 1831 г.

[5] Беловой автограф с поправками Пушкина, а также вариант белового автографа см.: *Пушкин*. Полн. соб. соч. III, 828-829 (АН). «Владычица» — читаем в беловом автографе, подписанном 8 июля, вместо «Пречистая», как напечатано в альманахе «Сиротка». III, 828 (АН); «Пречистая и с Ней играющий Спаситель» — находим в варианте белового автографа в альбоме Ю. Н. Бартенева. III, 829 (АН).

[6] «И. И. Пущину», 1825. Отброшенные при второй редакции (1826) стихи. III, 581.

[7] «Второй том "Истории русского народа Полевого"», 1829. xi, 127.

[8] *Благой Д. Д.* 1829. Творческий путь Пушкина (1826—1830) М., 1967. С. 446.

[9] Письмо Н. Н. Пушкиной от 21 августа 1833 г. XV, № 838.

[10] Академик В. В. Виноградов указал, что выражение «гений чистой красоты» было заимствовано Пушкиным у В. А. Жуковского, который употребил его при описании «Мадонны» Рафаэля в письме из Дрездена в Москву.

[11] «Сцены из рыцарских времен». «Замок Ротенфельда». Песнь Франца «Жил на свете рыцарь бедный», 1835, VII, 213.

[12] «Второй том "Истории русского народа" Полевого», 1829. XI, 125.

[13] *Анненков П. В.* Материалы для биографии Пушкина. 2-е изд. СПб, 1873: «Жуковский в IX томе посмертного собрания сочинений Пушкина 1841 года... сбил вместе три стихотворения, написанные терцинами... и дал им произвольное название "Подражание Данте"».

[14] Пушкин оставил в своей лирике свидетельство, что он читал Данте в 1829 г., во время своего путешествия в Арзрум (III,170):

«Зорю бьют... из рук моих
Ветхий Данте выпадает...»

[15] *Аемус В. В., Турова Е. А.* Город Пушкин. М., 1954 (Памятники русской художественной культуры). С. 71. Фотография фонтана «Молочница» в Царском Селе.

[16] «Царскосельская статуя», 1829. III, 231.

[17] «В начале жизни школу помню я», 1830. III, 254-255.

[18] Там же, с. 862. Отрывок чернового текста.

[19] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., 1936. Изд. «Академия», под ред. Ю. Г. Оксмана. Т. 1. С. 780. Варианты и комментарии.

[20] «Изобразительное искусство подчеркивает *женственность* образа Диониса...», — пишет Тренгени Вальдапфель Имре в книге «Мифология». М. -Л., 1959. С. 254.

[21] Сочинения А. С. Пушкина в одном томе. Под ред. М. А. Цявловского и С. М. Петрова, ОГИЗ, 1949. С. 876.

[22] *Яковкин Илья.* История села Царского. 1829—1831. Ч. 1-3. См. также: Сабуров Я. Царскосельский сад. «Московский Вестник», 1830. Ч. 5. № XVII—XX. С. 149.

[23] *Миллер П.* Встреча и знакомство с Пушкиным в Царском Селе. Из воспоминаний лицеиста за 1831 год. «Русский архив». Т. III. С. 232-234. Вопросы Пушкина: «Что ваш сад и ваши палисадники? А памятник в саду поддерживаете?» Об этом памятнике вспоминает также лицеист Белуха-Кахановский: «В собственно лицейском саду лежала скромная, в кустах сирени, мраморная доска с надписью». Воспоминания царскосельского лицеиста IV выпуска. «Русская старина», 1890. Март. С. 834.

[24] *Цвинев Иоанн.* Описание царскосельской иконы «Знамение». СПб., 1865.

[25] Имеется в виду черновик, написанный в 1825 г.

[26] Стихотворение «Воспоминание в Царском Селе» датировано поэтом 14 декабря и написано, можно сказать почти с полной достоверностью, к годовщине Лицея, но с опозданием.

[27] «Безверие», 1817. I, 243. Стихотворение было прочитано Пушкиным на выпускном экзамене по русской словесности 17 мая 1817 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I. ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ С ЧААДАЕВЫМ

[1] Примером может служить определение, данное Чаадаевым таинству Евхаристии: «Таинство причастия, это дивное изображение (?!) христианской мысли, которое, если можно так выразиться, материализует души, чтобы лучше соединить их...» Следует, правда, учесть, что это неудачный перевод с французского.

[2] *Чаадаев П. Я.* Сочинения и письма. Т. I-II. М., 1913—1914. Т. II. С. 232.

[3] *Там же.* Т. II. С. 118. Следуя католической традиции, Чаадаев вину за разделение Церквей возлагает на Византию, то есть на Восточную Церковь и персонально на патриарха Константинопольского Фотия (около 820 — около 891).

[4] *Там же.* Т. II. С. 119.

[5] *Там же.* Т. II. С. 120.

[6] *Там же.* Т. II. С. 139.

[7] *Там же.* Т. II. С. 120.

[8] *Там же.* Т. II. С. 120.

[9] *Там же.* Т. II. С. 105.

[10] Письмо П. Я. Чаадаева А. С. Пушкину от 17 июня 1831 г. XIX, № 613.

[11] *Чаадаев П. Я.* Сочинения и письма. Т. I-II. М., 1913—1914. Т. I, № 68. Перевод с французского.

[12] Письмо П. Я. Чаадаеву от 6 июля 1831 г. X, № 424 (АН).

[13] Письмо П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г. X, № 740 (АН).

[14] См. например: *Шкуринов П. С.* П. Я. Чаадаев. Изд-во МГУ, 1960. С. 146.

[15] Письмо П. А. Вяземского А. С. Пушкину от 14 июля 1831 г. XIV, № 629.

[16] Эта мысль Чаадаева предвосхищает теорию «первобытного монотеизма», развитую в наши дни католической школой.

[17] К этому выводу пришли и современное учение о прародине «разумного человека», и археология Двуречья и Египта.

[18] Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. Т. I-II. М., 1913—1914. Т. II. С. 137.

[19] «Человеческий ум, — с удовлетворением отмечает Чаадаев, — в настоящее время... стал бесконечно более строгим, трезвым, непреклонным и методичным, словом, более точным, чем когда бы то ни было прежде». Там же. Т. II. С. 152.

[20] Удивительное предвосхищение терминологии, вошедшей в употребление после 1917 г.

[21] Это замечание Чаадаева полностью сохраняет свою значительность и в наши дни.

[22] Как пророчески звучат слова о вторичном потопе и угрозе полной гибели нашего просвещения! Чаадаев был убежден, что материальные интересы не могут приниматься в качестве двигателя прогресса общества, потому что «как только материальный

интерес удовлетворен, человек более не прогрессирует». (*Там же.* Т. II. С. 140).

[23] Католические симпатии Чаадаева в начале 30-х годов не вызывают сомнения.

[24] Письмо П. Я. Чаадаеву от 6 июля 1831 г. X, № 424 (АН). Перевод с французского.

[25] Там же.

[26] Письмо П. А. Вяземскому от 3 августа 1831 г. X, № 436 (АН).

ГЛАВА II. ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП ПОЭТИЧЕСКГО ТВОРЧЕСТВА

[1] Письмо П. С. Санковскому от 3 января 1833 г. X, № 503 (АН). Перевод с французского.

[2] Письмо А. Н. Мордвинову от 30 июля 1833 г. X, № 521 (АН). Вторая черновая редакция.

[3] В июле 1831 г. Пушкин просил о допущении его в архивы с целью написать историю Петра Великого и его наследников. В марте 1831 г. Пушкин работал в Эрмитаже над документами о Петре из библиотеки Вольтера. Основной дошедший до нас материал написан в течение 1835 г.

[4] Пушкин начал работу над «Историей Пугачева» в январе 1833 г., исправлял и перерабатывал ее в течение 1833 г. и в начале 1834 г. В свет она вышла в декабре 1834 г. с разрешения императора Николая Павловича. Одновременно Пушкин работал над «Капитанской дочкой».

[5] Между 2—23 сентября 1833 Пушкин посещает Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Оренбург, Уральск, опрашивает стариков, роется в провинциальных архивах. См. его письма к жене, т. X, №№ 525, 527, 528, 529, 531-536 (АН).

[6] Письмо А. С. Норову от 10—15 ноября 1833 г. X, № 542 (АН). «Посылаю тебе, любезный Норов, Satyricon — а мистерии где-то у меня запрятаны. Отыщу — непременно».

[7] *Вересаев В. В.* Пушкин в жизни. М., 1936. Т. 2. С. 267.

[8] «Александр Радищев», 1836. VII, 356. Статья была подготовлена Пушкиным для «Современника» № 3, но была запрещена по распоряжению министра народного просвещения С. С. Уварова.

[9] Пушкин имеет в виду восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

[10] Письмо П. А. Осиповой от 26 декабря 1835 г. X, № 678 (АН). Перевод с французского.

[11] *Д. Д. Благой.* Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой. — Пушкин. Исследования и материалы. Т. IV. АН СССР, 1962.

[12] Заметим, что и Л. Н. Толстой бежал из Ясной Поляны не куда-либо, а в Шамординский монастырь к сестре и в знаменитую Оптину Пустынь, с которой, начиная с Ивана Киреевского, так тесно были духовно связаны многие представители русской интеллигенции и писатели, в том числе Достоевский. Неужели религиозные мотивы ухода Толстого 10 ноября 1910 г. — несущественная подробность, о которой можно не упоминать?

[13]. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор»), 1825. II, 273: «Друзья мои, прекрасен наш союз! Он *как душа неразделим* и вечен...»

[14] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967. С. 64.

[15] Там же. С. 58.

[16] Там же. С. 59.

[17] *Достоевский Ф. М.* Собр. соч. М., 1958. Т. 10. С. 455-456.

[18] «"Путешествие к св. местам" А. Н. Муравьева», 1832. VII, 262-263.

[19] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967.

[20] Критика Пушкиным николаевской действительности содержится в последнем его письме к Чаадаеву. X, № 740 (АН).

[21] «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», 1836. III, 373 (АН 1957).

[22] «"Об обязанностях человека". Сочинение Сильвио Пеллико», 1836. VII, 470 (АН 1957).

[23] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967. С. 58.

[24] Пушкин пишет: «Вольтер, во все течение долгой своей жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства... и в старости не привлекал уважения к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью... Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей». Вольтер, 1836. VII, С. 418-419 (АН 1957).

[25] «Александр Радищев», 1836. VII, 357 (АН 1957).

[26] Там же. С. 359.

[27] Там же. С. 360.

[28] Там же. С. 354.

[29] Примечание Б. В. Томашевского к статье Пушкина «Александр Радищев». VII, 707 (АН 1957).

[30] «Путешествие из Москвы в Петербург», 1833—1835. VII, 268-305 (АН 1957).

[31] *Анненков* П. В. Материалы для биографии Пушкина. СПб, 1873. 2-е изд. (первое — 1855).

[32] «Когда владыка ассирийский», 1835. III, 359 (АН 1957).

[33] «Как с древа сорвался предатель ученик», 1836. III, 367 (АН 1957).

[34] «Родрик», 1835. III, 355 (АН 1957).

[35] «Повесть из римской жизни», 1822—1835. VI, 610-614 (АН 1957).

[36] «Полководец», 1835. III, 330-332 (АН 1957).

[37] «Пир Петра Первого», 1836. III, 350 (АН 1957).

[38] «Мирская власть», 1836. III, 366 (АН 1957).

[39] «Отцы пустынники и жены непорочны», 1836. III, 370 (АН 1957).

[40] «Напрасно я бегу к Сионским высотам», 1836. III, 368 (АН 1957).

[41] «"Об обязанностях человека". Сочинение Сильвио Пеллико», 1836. VII, 470-472 (АН 1957).

[42] *Благой* Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967. С. 63.

[43] Там же. С. 63-64.

[44] Там же. С. 60-61.

[45] «Пора, мой друг! Покоя сердце просит», 1834. III, 278 (АН 1957).

[46] *Бартенев* П. И. Пушкин. I-II. Сбор. I. М., 1881. С. 192.

[47] *Вересаев* В. В. Пушкин в жизни. М., 1963. Т. 2. С. 300 (*П. И. Бартеньев*. Рассказы о Пушкине).

[48] План продолжения стихотворения «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит», 1834. III, 521 (АН 1957).

[49] Письмо Н. М. Языкову от 14 апреля 1836 г. X, № 704 (АН 1957).

[50] См., например, «Пролог» издания 1793 г.: «Пролог, или свойственные рещи Синаксарий за еже собратися в нем вкратце поведанием святых житей, страданий и чудотворений».

[51] *Анненков П. В.* Материалы для биографии Пушкина. 2-е изд. СПб., 1873. С. 379.

[52] «Странник», 1835. III, 343 (АН 1957).

[53] Письмо В. А. Жуковского А. С. Пушкину от 3 июля 1834 г. XV, № 969.

[54] Письмо В. А. Жуковского А. С. Пушкину от 6 июля 1834 г. XV, № 973.

[55] С библейской и евангельской точек зрения, вся земная жизнь человека — «поле битвы».

[56] «Родрик», 1835. III, 470 (АН 1957). Исключенная строфа (из ранних редакций).

[57] Библия. Книга Иудифь, глава 9, стихи 4-6; 12-14.

[58] «Когда владыка ассирийский», 1835. III, 359 (АН 1957). Продолжение см. «Неизданный Пушкин». Собрание А. Ф. Онегина. Труды Пушкинского дома. Пб., «Атеней», 1922. То же: М.-Пг., ГИЗ, 1923.

[59] Монастырь на Казбеке, 1829. III, 141 (АН 1957).

[60] «Гнедичу», 1832. III, 238 (АН 1957).

[61] «Словарь о святых, прославленных в российской Церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местно-чтимых», 1836. VII, 475 (АН 1957). Одним из составителей словаря был лицейский товарищ Пушкина М. Л. Яковлев; Я. К. Грот, очень осведомленный биограф Пушкина, сообщает, что есть основания думать, что Пушкин принимал *непосредственное* участие в его издании. См. *Грот Я. К.* Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е. СПб., 1899. Отзыв о словаре в журнале «Современник», № 3 за 1836 г. Пушкин поместил без своей подписи.

[62] Пушкинский план продолжения «Повести из римской жизни», 1833. VI, 801-802 (АН 1957).

[63] «Тазит», 1829—1830. IV, 313-322 (АН 1957).

[64] Пушкинские планы поэмы «Тазит». План II: «1 Похороны. 2 Тризна. Черкес-*християнин.* 3 Купец. 4 Раб. 5 Убийца. 6 Изгнание. 7 Любовь. 8 Сватовство. 9 Отказ. 10 Миссионер. 11 Война. 12 Сраженье. 13 Смерть. 14 Эпилог». IV, 566 (АН 1957).

[65] Список драматических замыслов, составленный, вероятно, в 1827 г.:

«Скупой. Ромул и Рем. Моцарт и Сальери. Дон Жуан. Иисус» и др., всего в списке десять сюжетов. V, 613 (АН 1957).

ГЛАВА III. «СОВРЕМЕННИК»

[1] «Письмо к издателю», 1836. VII, 476 (АН 1957). Это «Письмо» за вымышленной подписью некоего А. Б., датированное 23 апреля 1836 г., было на самом деле изложением взглядов Пушкина на задачи своего журнала. Чтобы лучше скрыть свое авторство, Пушкин снабдил «Письмо» примечанием за подписью «Изд.».

[2] «Исповедь бедного стихотворца», I, 427-431 (АН 1957). Стихотворения, приписываемые Пушкину.

[3] «Александр Радищев», VII, 359 (АН 1957). Статья Пушкина вскрывала органическую слабость как религиозно-философских, так и общественно-политических взглядов Радищева. Однако она не была пропущена в печать графом С. С. Уваровым, возглавлявшим цензурный комитет.

[4] *Вяземский П. П.* Собр. соч. СПб. 1893. С. 53.

[5] «Table-talk» («Застольные разговоры», 1832. VIII, 92-93 (АН 1957).

[6] *Вяземский П. П.* Собр. соч. СПб, 1893. С. 49.

[7] *Там же.* С. 60-61.

[8] *Там же.* С. 61.

[9] «Жизнь, стихотворения и мысли Иосифа Делорма», 1831. VII, 244 (АН 1957).

[10] Там же. С. 244.

[11] «Мнение М. Е. Лобанова о духе и словесности, как иностранной, так и отечественной», 1836. VII, 404 (АН 1957).

[12] Там же. С. 404.

[13] «Жизнь, стихотворения и мысли Иосифа Делорма», 1831. VII, 244-245 (АН 1957).

[14] «Вольтер», 1836. VII, 418 (АН 1957).

[15] Там же. С. 419.

[16] «О ничтожестве литературы русской», 1834. VII, 313 (АН 1957).

[17] Там же. С. 312.

[18] А. И. Тургенев назвал его «подделкой на Вольтера». Дневник А. И. Тургенева. 9 января 1837 г. VII, 715 (АН 1957).

[19] «Последний из свойственников Иоанны д' Арк», 1837. VII, 512 (АН 1957). Замечания английского журналиста по поводу переписки д 'Арк Дюлиса с Вольтером. Сравни с отзывом Пушкина: «Жалкий народ!» — о французских писателях XVII в. (VII, 644, АН).

[20] «О ничтожестве литературы русской», 1834. VII, 313 (АН 1957).

[21] «Мнение М. Е. Лобанова о духе и словесности, как иностранной, так и отечественной», VII, 402 (АН 1957).

[22] «Александр Радищев», 1836. VII, 359 (АН 1957).

[23] Там же. С. 351.

[24] «Путешествие из Москвы в Петербург», 1833—1835. VII, 301 (АН 1957).

ГЛАВА IV. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ЧААДАЕВУ

[1] *Гершензон* М.А. П. Я. Чаадаев. СПб., 1908. С. 144.

[2] После второго Ватиканского собора, в наши дни, католическая и константинопольская Церкви взаимно сняли друг с друга отлучение, наложенное в 1054 г., и признали этот факт прошлого прискорбной исторической ошибкой.

[3] То есть представляет собой замкнутую касту, отделенное от народа сословие.

[4] Если дворянское сословие претерпело при императорах значительные изменения в своем составе, в своих отношениях к государю, в своих имущественных привилегиях и т. д., то в духовном сословии серьезных изменений не произошло.

[5] Пушкин имеет в виду императора Николая Павловича, который принужден был отстранить священника-профессора Павского, воспитателя наследника престола, от его обязанностей по требованию митрополита Филарета Московского. В дневнике Пушкин писал: «Филарет сделал донос на Павского, будто бы он лютеранин. — Павский отставлен от великого князя. Митрополит (Петербургский Евсей. — *В. В.*) и Синод подтвердили мнение Филарета. Государь сказал, что в делах духовных он не судия; но ласково простился с Павским. Жаль умного, ученого и доброго

священника!» Дневники, 1835. VIII, 63 (АН 1957). Филарет, как пишет Флоровский, имел все основания поставить на вид Павскому склонность к протестантизму.

[6] *Чаадаев П. Я.* Сочинения и письма. Т. I-II. М., 1923—1914. Т. II. С. 121.

[7] Письмо П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г. X, № 740 (АН 1957).

[8] Там же.

[9] *Мещерский Н. А.* История иудейской войны И. Флавия в древнерусском переводе. М.-Л., 1958. С. 167-467.

[10] Эта оценка Чаадаевым русского общества его времени показалась опасной даже в наши дни. Сочинения Чаадаева выдают в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина только после разговора с читателем, который должен объяснить дирекции свой интерес к Чаадаеву. Письма Пушкина, в том числе № 740, выдаются беспрепятственно.

ГЛАВА V. ЗАВЕЩАНИЕ, ОСТАВЛЕННОЕ НАМ ПУШКИНЫМ

[1] *Панаев И. И.* «Литературные воспоминания». М., 1950. И. И. Панаев привлек С. Н. Дирина к переводу книги «Об обязанностях человека».

[2] «Последний из свойственников Иоанны д'Арк», 1837. VII, 512 (АН 1957).

[3] Вот эти произведения: «Мирская власть», «Подражание итальянскому», «Напрасно я бегу к Сионским высотам», «Не дорого ценю я громкие права», «Отцы пустынники и жены непорочны», «Когда за городом задумчив я брожу», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Была пора: наш праздник молодой». Все они написаны в 1836 г. и были опубликованы только после смерти поэта.

[4] *Пеллико Сильвио.* Об обязанностях человека. М., 1845. Перевел с итальянского и издал Ев. Серчевский; СПб. 1857. Изд. 3-е. Перевел Ев. Серчевский. Предисловие А. И. Высшенского; СПб., 1904. Изд. 5-е. Перевел Ев. Серчевский. Предисловие А. И. Высшенского.

Перевод переиздавался, притом без всяких изменений, после 1837 г. еще четыре раза: в 1845, 1857, 1903 и 1904 гг.



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ПУШКИН ГЛАЗАМИ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯЩЕННИКА

После краха коммунистической идеологии нам предстоит переосмыслить многие положения отечественного литературоведения. Культурология как наука находится до сих пор в России в зачаточном состоянии. Многие десятилетия, изучая творчество того или иного писателя, отечественные литературоведы принимали во внимание лишь материальные факторы, влиявшие на творчество, но совершенно игнорировали духовную жизнь художника и духовную проблематику его творчества. Английский культуролог Кристофер Даусон писал еще в 1929 году: «...хотя культура существенно обусловлена материальными факторами, ими дело не исчерпывается. Культура формируется умственными и духовными элементами, для которых не существует расовых и географических границ. Религия и наука не умирают с культурой, часть которой они составляли. Они передаются от народа к народу и присутствуют как творческая сила в образовании новых культурных организмов» [1].

Корни культуры уходят в религии тех или иных народов. Можно говорить об индуистской, мусульманской, конфуцианской или буддийской культурах. Им присущи специфические черты, позволяющие определить их принадлежность к той или иной религии. И только христианская культура не имеет тех специфически отличительных черт, по которым можно было бы сразу определить ее принадлежность к христианству. Может быть, поэтому все чаще слышатся утверждения, что христианство еще не создало своей культуры. Но утверждать подобное, все равно, что говорить — вокруг нас нет воздуха! Мы его не замечаем, но им дышим. Суть, по-видимому, в другом: христианство настолько глубинно и универсально, что никогда не создаст одну единственную специфическую культуру.

Православие одухотворило архитектуру, живопись и литературу Древней Руси. Свой облик имеет католическая культура Европы. Протестанство дало мощный импульс германской культуре. Мы наблюдаем, как в странах Африки, Азии и Америки христианство

---

[1] *Dawson* C. Progress and Religion, N. Y., 1960, p. 45.

рождает новые культурные формы. Христианство получило от иудаизма добрые навыки — не замыкаясь, вбирать все истинно ценное, что накоплено другими культурами. Процесс усвоения не был пассивным — христианство преображало лучшие достижения человеческой мысли. Профессор-протоиерей Георгий Флоровский отмечает: «...христиане доказали, что возможно переориентировать культурный процесс, не впадая при этом в докультурное состояние, преобразовать культуру, вдохнув в нее новый дух. Тот самый процесс, который многими описывается как "эллинизация христианства", скорее может быть определен как "христианизация эллинизма". Эллинизм был рассечен духовным мечом, поляризован и разделен, в результате чего возник "христианский эллинизм".

Подобно тому, как воздух омывает наши легкие, постоянно насыщая кровь кислородом, так и христианство неприметно питает современные культуры. Ценности, которые сегодня называют "общечеловеческими", выработаны христианством. Многие идеи, воспринимающиеся сегодня как нечто само собой разумеющееся, рождены христианством: "Круговое время греков разорвано", — радостно восклицал блаженный Августин. Впервые история стала рассматриваться как осмысленный и целенаправленный процесс, ведущий к какой-то цели, а не вечное движение по кругу, не ведущее никуда. Само понятие прогресса было выработано христианами. Христианство не было пассивным во взаимодействии с унаследованной культурой, но активно наполняло ее новым содержанием. Не будет преувеличением, если скажем, что в школе христианской веры человеческий разум переродился и переустроился, не потеряв при этом ни остроты, ни пытливости»[2].

Средневековье как в Европе, так и на Руси, ставило перед человеком вполне определенную цель — воцерковить, христианизировать все сферы жизни. Художник-христианин отказывался от авторства и славы ради Царства Небесного. Именно поэтому иконописцы не подписывали икон, а зодчие предпочитали оставаться анонимными. Этот величайший порыв человеческого духа начал истощаться к концу XIII века. В этот период началось пробуждение национальных чувств народов, населявших Европу. Когда было разрушено теократическое единство Европы, начался расцвет отдельных национальных культур, достигший апогея в эпоху Ренессанса и

---

[2] *Florovsky* G. Christianity and Culture. Belmont, Mass., 1974, p. 25-26.

Реформации. В эпоху Ренессанса формируется новый подход к жизни, который можно было бы определить как эстетический: «Жизнь перестала быть паломничеством к вечности, она превратилась в утонченное искусство, в котором надлежало изведать и осуществить все возможности познания и наслаждения» [3]. Не ученый и не философ, а именно художник стал выразителем духа новой культуры. В эту эпоху человек потерял центральное место, он перестал быть связующим звеном между Богом и землей. Зарождается идеология, которая впоследствии получила название гуманистической. Сущность ее заключалась в утверждении, что когда-нибудь наступит такое время, когда на земле установится реальное братство, воцарится реальная и творческая свобода.

Христианство постепенно подменялось гуманистическими мечтами. «Деизм XVIII века был лишь тенью христианства... Он сохранял ряд основных христианских положений: веру в благого Творца, идею всемогущего Провидения, устрояющего все в наилучшем виде, основные заповеди христианской морали, но все это было лишено тайны, сверхъестественного содержания... Например, нравственный закон, лишенный аскетического и духовного элементов, выродился в практическую филантропию, божественное Провидение — в механический закон природы. Над всем этим реяла теория прогресса...» [4].

Основные понятия эстетического гуманизма были развиты Шиллером в его «Письмах об эстетическом воспитании». В них особенно ярко выступает безрелигиозное истолкование человека. По Шиллеру и сфера познания, и моральная сфера зависят от эстетической среды, а ее первичность дает новое понимание духовной жизни человека, его творческой активности. Для Шиллера характерно учение о внутреннем единстве эстетических и моральных движений в человеке. И философы и художники нового времени утверждали, что эстетическим переживаниям сопутствует особая свобода — все определяется и оправдывается вдохновением, «которое не знает само в себе ни моральных, ни рациональных ограничений и поэтому легко может отрывать нас и от моральности и от разумности» [5]. Эстетический гуманизм сближает моральную и эстетическую сферы, но постепенно происходит потускнение моральной стороны. Он постепенно превращается в чи-

[3] *Dawson C.* Op. cit., p. 148.

[4] Ibid., p. 153-154.

[5] *Зеньковский В.* Наша эпоха. Париж, 1952, с. 31.

стый эстетизм, а затем — в эстетический аморализм. Под покровом изящности часто скрывается ужасающее моральное опустошение. В творчестве Вольтера — особенно в «Орлеанской деве», а позднее у немецких и английских романтиков — в «Разбойниках» Шиллера, «Чайлд Гарольде» Байрона, моральная сфера отодвигается на задворки.

Эти эстетические воззрения были впитаны А. С. Пушкиным в лицейские годы. Эпикуреизм, поверхностное вольтерианство — характерные черты петербургского высшего общества. Ссылка на юг оказалась спасительной для поэта. Постепенно происходит переосмысление и развенчивание романтических воззрений. Завершая «Евгения Онегина», Пушкин развенчивает романтическую и эстетическую идеологии:

Мы метим все в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно,
Нам чувство дико и смешно...[6]

* * *

Переосмысление Пушкиным романтических воззрений эстетического гуманизма впервые прослеживается на огромном биографическом материале в книге Бориса Александровича Васильева «Духовный путь Пушкина». Исследование, предпринятое ученым-этнографом уже на склоне жизни, создавалось в душные шестидесятые годы. Уже появилась возможность обсуждать и даже выступать с докладами в небольших кружках, но все понимали, что ни одна из написанных глав не может быть опубликована. Само упоминание христианства, его роли в творчестве А. С. Пушкина накладывало вето на работу Б. А. Васильева. И тем не менее ученый продолжал трудиться, вполне отдавая себе отчет, что при жизни книга вряд ли может быть опубликована. Доклады Б. А. Васильева несколько раз прозвучали в Московском музее А. С. Пушкина, отважная газета «Московский комсомолец» в 1971 году сумела опубликовать отрывок из главы «Пушкин и Сильвио Пеллико». Это была единственная прижизненная публикация.

Исследование Б. А. Васильева остается пока единственным, в котором пристально рассматривается духовное развитие личности великого поэта. Религиозное видение мира, впитанное в детстве и

---

[6] *Пушкин* А.С. Евгений Онегин // Собр. соч., т. IV, 1981, с. 34.

безрелигиозный гуманизм, усвоенный в лицейские годы, постоянно боролись в сердце Пушкина. Обретение веры было долгим и отнюдь не легким процессом. Обращаясь к Библии, перечитывая ее, поэт приходит к осуждению вольтерианства. В 1834 году он пишет об «Орлеанской деве»: «...наконец и он (Вольтер. — С. *Б.*), однажды в своей жизни, становится поэтом, когда весь его разрушительный гений со всею свободой излился в цинической поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих Заветов обругана...» [7]. Вспомним стихотворение Пушкина 1814 года, в котором он призывает Вольтера стать его музой. После михайловской ссылки происходит переосмысление поэтом многих воззрений юности.

Сегодня нас удивляет, что А. С. Пушкин и преподобный Серафим Саровский были современниками, однако поэт никогда не упоминает об этом великом святом земли Российской. Но не будем забывать, что в преобладающем большинстве друзья и современники поэта из высшего общества были абсолютно индеферентны, если не враждебны к христианству. Лишь немногие, подобные П. Чаадаеву или И. Киреевскому, внимательно изучали Библию, историю христианства. Пушкин спорил с Чаадаевым, обнаруживая не меньшее знание отечественной истории, чем он. Поэт находил смысл в отечественной истории — особенно глубоко он излагал свои взгляды после изучения Пугачевского бунта. Полемизируя с А.Н. Радищевым, создавая собственное «Путешествие из Москвы в Петербург», поэт замечает: «Конечно, должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...» [8].

Можно спорить о том, был ли Пушкин церковным человеком, но неоспоримо одно — в 30-е годы он был христианином. Последние часы перед смертью, когда он исповедовался и причастился, примирившись со всеми, лучше всего свидетельствуют о настроении его сердца. Именно в этом пафос книги Б. А. Васильева, скрупулезно, год за годом рассматривающего творческий путь поэта,

---

[7] *Пушкин* А.С. О ничтожестве литературы русской // Собр. соч., т. VI, 1981, с. 210.

[8] *Пушкин* А.С. Путешествие из Москвы в Петербург // Собр. соч., т. VI, 1981, с. 196.

обнаруживая часто то, что оставалось незамеченным его предшественниками. Основная часть исследования была завершена в начале семидесятых годов. Печально, что его постигла участь многих достойных книг, пролежавших под спудом десятки лет. Но тем отраднее, что сегодня книга становится доступной отечественному читателю. Исследователь призывает к размышлению, радует своими находками, напоминает об актуальных проблемах, которые волнуют каждого.

Одна из таких проблем — высокое назначение художника и его место в обществе. Пушкин неоднократно на протяжении всей жизни возвращался к этой теме:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он [9].

Но позже поэт утверждал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Б. А. Васильев рассматривает духовный поиск поэта, выявляя нравственные мотивы. Вслед за Владимиром Соловьевым, говорившим: «Утверждать, что гениальность совсем ни к чему не обязывает, что гению все позволено, что он может без вреда для своего высшего призвания всю жизнь оставаться в болоте низменных страстей, это — грубое идолопоклонство, фетишизм, который ничего не объясняет, и сам объясняется лишь духовною немощью своих проповедников» [10], — исследователь убедительно показывает, как отступление от нравственных норм губительно действует на талант. Не опускаясь до грубого морализаторства, Б. А. Васильев любовно исследует творчество поэта, говоря о высоком призвании художника.

---

[9] *Пушкин* А.С. Поэт // Собр. соч., т. II, 1981, с. 104.
[10] *Соловьев* В.С. Судьба поэта // Собр. соч., т. IX, с. 37.

Примечательно, что исследование Б. А. Васильева создавалось в то же самое время, когда французский философ-христианин Жак Маритен создавал свою книгу «Ответственность художника». Рассматривая проблемы взаимоотношения искусства и морали, философ писал: «...Искусство и Мораль образуют два автономных мира, каждый из которых суверенен в пределах своей сферы, но они не могут игнорировать друг друга, ибо человек присутствует в обоих этих мирах одновременно, как интеллектуальный творец и как моральный действователь, субъект актов, в которых решается его судьба. И поскольку художник есть человек, прежде чем он стал художником, автономный мир Морали безусловно выше и обширнее, чем автономный мир Искусства. Иначе говоря, Искусство косвенным образом подчиняется Морали»[11].

В числе предшественников Б. А. Васильева необходимо вспомнить и профессора-протоиерея Василия Зеньковского, выпустившего в 1952 году в Париже брошюру «Наша эпоха», в которой также рассматриваются проблемы взаимоотношения искусства и религии. Трагизм исследования Б. А. Васильева отчасти заключается в том, что он был оторван, в силу закрытости нашего общества, от современных мыслителей и от их книг. Василий Зеньковский отмечал: «Эстетическая сфера, действительно, не только имеет свои провалы, извращения, она не только легко засоряется аморальными движениями, — но она вообще не имеет сама в себе никакого сдерживающего, контролирующего начала, кроме непосредственного "чутья". Именно эта слепота чисто эстетического движения говорит за то, что ни одна сфера духовной жизни так не нуждается в постоянном освящении и просветлении, как именно сфера эстетической жизни»[12].

И все-таки истоки мыслителя священника Василия Зеньковского и священника Бориса Васильева, одни и те же, поэтому столь родственны их изыскания. Оба они восходят к философским построениям Владимира Соловьева, оба творчески развивают их. Рассматривая судьбу Пушкина, Б. А. Васильев более объективен и не столь ригористичен, как Владимир Соловьев в своей статье «Судьба Пушкина». Б. А. Васильев показывает, как поэт верно постигал разумность мира, осознавая, что над нами есть «Божия ру-

---

[11] *Маритен Ж.* Ответственность художника // Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX в., вып. 2, ИНИОН АН СССР, Москва, 1980, с. 36.

[12] *Зеньковский В.В.* Наша эпоха, с. 32.

ка». Позднее Александр Блок, который всегда подчеркивал свое поэтическое родство с Пушкиным, отлил это мироощущение в чеканные строки:

...Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен [13].

Это редкостное ясновидение художника, постижение высшего смысла жизни, понимание ее как божественного дара — одно из основных достоинств книги Б. А. Васильева. Это не означает, что она свободна от недостатков. Профессиональные пушкинисты безусловно отметят их. Но важно учитывать, в каких тяжелых условиях создавалась эта книга. Молодому поколению трудно сегодня понять, что такое информационный голод, или недостаток общения. Редкие люди, выжив в страшные сталинские годы, не потерпели интеллектуального ущерба. Нормальный рост личности всегда требует широкого общения — не только с людьми, но и с необходимыми книгами. Всего этого долгие годы был лишен Борис Александрович. И эти лишения безусловно сказались при написании книги. И все же ее создание — это подвиг, впрочем как и вся жизнь этого подвижника. Поразительна его отвага — его умение выходить со своими изысканиями к той немногочисленной аудитории, которая с наслаждением слушала его, к профессиональным литературоведам и просто любителям поэзии.

* * *

Необходимо более подробно рассказать об авторе этой книги — Борисе Александровиче Васильеве (1899-1976), этнографе, историке и антропологе. Он родился в Москве, в семье врача. Учился в частной гимназии Адольфа на Арбате. В совершенстве владел несколькими иностранными языками. В гимназии подружился с племянником известного русского философа Н.А. Бердяева. Часто бывал в доме Николая Александровича. После окончания гимназии в 1919 году поступил в Московский университет и

[13] *Блок* А.А. Возмездие. Л., 1955, с. 528.

окончил биологическое отделение физико-математического факультета в 1925 году по специальности «народоведение». В университетские годы близко сошелся с кругом молодежи, которая объединилась в своеобразное содружество, о котором рассказывает в своих воспоминаниях жена Бориса Александровича — Татьяна Ивановна Куприянова, тогда студентка философского факультета: «В конце 21 года у нас организовался студенческий кружок. Душой его и главным двигателем был Володя Чертков. Мы хотели заниматься русской культурой, русской религиозной философией, русской литературой и искусством. Среди нас были и студенты философского отделения и словесники... Люди все молодые, живые, только что пережившие революцию и заново, самостоятельно вырабатывавшие свое мировоззрение» [14].

Еще преподавал в университете философ И.А. Ильин, семинар которого посещали кружковцы, еще работала Вольная академия духовной культуры, организованная Н. Бердяевым и С. Франком. Для знакомства с православной традицией кружковцы пригласили священника Сергия Мечева, сына широко известного священника Алексея Мечева, служившего на Маросейке. В храме на Маросейке, кроме простого люда, всегда собирались представители интеллигенции. Их привлекала не столько красота богослужения, сколько высокая атмосфера духовности, унаследованная о. Алексеем от оптинских старцев. Т.И. Куприянова так вспоминала маросейский храм: «...одной из самых существенных сторон для всех собравшихся вокруг о. Алексея духовных его детей было устроение своей души, уподобление ее первообразу, стяжание Духа Святого... Мне казалось тогда, что человек, работающий над своей душой, ощущает нечто подобное ваятелю, создавшему прекрасное произведение искусства. И казалось мне — почему же эта форма красоты — красоты поведения, отношения к людям, чистоты мысли, добрых чувств — не увлекает людей, почему они ее не чувствуют?» [15].

После окончания университета Борис Александрович поступил в этнографический отдел Румянцевского музея, который в 1925 году был преобразован в Центральный музей Народоведения. В должности старшего помощника хранителя Сибирского отдела трудился под руководством профессора Б. А. Куфтина до 1929 года. За это время он принял участие в двух экспедициях — восточно-финской

[14] Воспоминания Т.И. Куприяновой, архив автора. Воспоминания были собраны Б.А.Васильевым после смерти супруги.

[15] Там же.

1925 года и Тунгусской 1927-1928 годов. Материалы Б. А. Васильева, накопленные им во время этих экспедиций, хранятся ныне в Русском музее в г. Санкт-Петербурге.

Общение с семьей Мечевых не было лишь эпизодом в жизни кружковцев. Многие из них пронесли веру и дружбу через всю жизнь, через все испытания, выпавшие на их долю. В конце двадцатых годов община на Маросейке подверглась преследованиям, отец Сергий Мечев был арестован [16]. Татьяна Ивановна Куприянова переписывалась с ним, пока это было возможно. Продолжил его пастырскую деятельность в общине Борис Александрович [17]. Он принадлежал к катакомбной Церкви, однако в 1945 г., следуя совету епископа Афанасия (Сахарова), признал каноничность избрания патриарха Алексия I. Жизненные обстоятельства и научная деятельность не позволяли Борису Александровичу открыто продолжать пастырское служение. Но до конца своих дней он сохранил духовное общение с пастырями Московской Патриархии. Его напутствовал и причащал перед смертью свящ. Александр Куликов, ныне настоятель храма свят. Николая на Маросейке. Ему дочь Бориса Александровича Мария Борисовна после смерти отца передала икону святителя Николая (работы М. Н. Соколовой), на обороте которой был вырезан тайник, где хранился антиминс [18].

Подвергся аресту в 1929 году и Б. А. Васильев. Его выслали в Архангельскую область, в город Шенкурск, где он работал перевозчиком на реке Ваге. В Шенкурск приехала к нему Татьяна Ивановна, его невеста. Здесь же они получили письмо от отца Сергия, в котором он благословлял их брак. Спустя три года Б. А. Васильев перебрался в Вятку. Ему удалось устроиться в областной краеведческий музей. В 1936 году Б. А. Васильев был приглашен М. С. Плисецким в музей антропологии Московского университета, где до начала войны заведовал отделом хранения коллекций. Одновременно преподавал географию в средней школе. Преподавательская работа помогала ему делать то, что предписывалось долгом, — он не прекращал проповеди добра и любви. Причем не столько словом, сколько образом жизни.

---

[16] А в ноябре 1941 года расстрелян в тюрьме г. Ярославля.

[17] Точное время и место рукоположения Б. А. Васильева установить не удалось, известно лишь, что он принял священнический сан в 40-е годы.

[18] Ныне эта икона находится в верхнем храме свят. Николая на Маросейке, справа от диаконских врат.

Сразу же после начала войны его высылают в Кировскую область. Но и в эти годы он не оставлял научных занятий. Итогом его работы явилось исследование культа орочей — небольшого народа Дальнего Востока, ныне почти исчезнувшего. Принимая участие в Тунгусской экспедиции 1927-1928 годов, он сумел заслужить доверие орочей и стал единственным человеком, допущенным к ритуальным медвежьим праздникам. Защитив в 1946 году кандидатскую диссертацию по теме «Медвежий праздник у орочей», он получил возможность в течение года работать при институте этнографии АН СССР, одновременно сотрудничая в издательстве «Советская энциклопедия» и готовя к печати Сибирский том издания «Народы мира». Но московскую прописку ему не возобновляли, поэтому в 1947 году он устраивается в Калининский педагогический институт и преподает историю Древнего мира, а также читает курс лекций — введение в археологию и этнографию. После Калинина — Рязань, также педагогический институт. Все эти годы Васильев активно занимается краеведением, постоянно приезжая в Москву.

Священническое служение Бориса Александровича продолжало лучшие традиции Маросейской общины. Он совершал служение в невыносимо тяжелых условиях. Над ним постоянно висела угроза ареста и расправы. Те регулярные занятия, которые он проводил с детьми, требовали не только высокого интеллектуального и духовного уровня, но и навыков конспирации. Борис Александрович был продолжателем оптинских традиций, которые он воспринял через священническое служение отца Алексея и Сергия Мечевых. С каждым своим прихожанином он работал индивидуально, зная его беды и печали.

Бориса Александровича знали и ценили не только в научных кругах Москвы и Ленинграда. Когда возникла возможность уже после войны занять должность доцента в Томском университете, доктор исторических наук П. И. Кушнер писал ректору университета: «По поручению Музея Народов СССР Б. А. Васильев в 1938 году составил большое научное описание этнографических коллекций по орочам, хранящихся в музее — работа эта была очень высоко оценена руководством музея. В московских научных кругах Б. А. Васильев с тех пор стал известен как прекрасный знаток этнографии Дальнего Востока, опытный собиратель этнографического материала, ученый с большой эрудицией.

Эту установившуюся еще до Отечественной войны репутацию Б. А. Васильев подтвердил своей кандидатской диссертацией на

тему “Медвежий праздник орочей” (опыт анализа обряда и мифологии), которую он написал в 1940 и защитил в 1946 году. Эта работа, далеко выходящая по своему научному уровню за пределы обычной кандидатской диссертации, показала большую эрудицию автора, его уменье использовать разнообразный исторический материал для объяснения этнографических явлений, широту его обобщений»[19].

Вынужденный постоянно кочевать из города в город, лишенный московской прописки, Борис Александрович не оставлял занятий и русской литературой. Еще до войны он совмещал работу в Кировском областном музее с преподаванием в школе. В течение трех военных лет высланный из Москвы, он преподает в Спасской средней школе Кировской области. В отзыве с места работы директор отмечает его прекрасную эрудицию и педагогический талант. Смерть Сталина позволила, наконец, ему обосноваться в Москве и занять место заведующего антропологическим музеем МГУ.

Ученик Васильева протоиерей Александр Мень вспоминал о нем: «Борис Александрович — старинный друг нашей семьи, оказал на меня большое влияние. Его приход был всегда своего рода праздником. Хорошо помню его высокую фигуру, внушительные интонации, спокойную логику его рассуждений. Трудно было поверить, что над ним постоянно висит дамоклов меч. Это был не только человек глубокой веры, но и подлинный ученый. Все интересующие его проблемы он исследовал обстоятельно, неторопливо, придерживаясь строго выверенных методов и фактов. Он не изменял своим установкам, о чем бы ни шла речь: о Древнем Востоке, этнографии или литературоведении. Великолепно знал культуру Египта и Вавилона и часто рассказывал мне, тогда еще школьнику, о связи между Востоком и Библией. Помню, как однажды он читал мне древнеегипетский текст и объяснял, чем он отличается от Священного Писания и что у них общего. На суд Борису Александровичу я приносил и свои первые юношеские “опусы”. Будучи антропологом, Васильев признавал обоснованность эволюционной теории происхождения человеческого тела и психики; но как богослов, он был убежден в особом высшем происхождении духа в человеке. Для него не существовало противоречия между наукой и религией, которые с его точки зрения лишь дополняют друг друга. Духовную жизнь, которую Васильев

[19] Архив автора.

обрел в маросейской общине, он считал важнейшей школой, которую не могут заменить никакие знания.

Борис Александрович высоко ценил наследие русских религиозных мыслителей. Именно он привил мне любовь к Вл. Соловьеву, С. Булгакову и Н. Бердяеву в те далекие годы, когда о них у нас почти никто не знал.

Васильева и его жену, тонкую одухотворенную женщину, всегда окружали друзья из маросейской общины. Эта община не распалась даже десятилетия спустя после смерти отца и сына Мечевых. В конце 40-х и начале 50-х годов у Бориса Александровича в старинном доме на Молчановке близ Арбата систематически устраивались чтения и семинары по вопросам духовной культуры, занятия для детей. Вспоминаются вечера, посвященные Пушкину, Чехову, раннему христианству, уроки Закона Божия, которые вела Татьяна Ивановна. А ведь все это происходило в зловещие сталинские годы! Однако Васильев и его близкие слишком ясно сознавали свой долг — донести эстафету до новых поколений, — чтобы отступить под давлением страха. Пережив многие невзгоды, всегда ожидая новых репрессий, они, не колеблясь, шли по выбранному пути. И мы — младшие — обязаны им больше, чем это можно выразить...»[20].

До 1960 года Васильев продолжал работать в МГУ как этнограф и заведующий антропологическим музеем. В этом же году он вышел на пенсию и посвятил себя давно задуманному труду об А. С. Пушкине. До последних дней трудился над книгой «Духовный путь Пушкина». Итогом изучения пушкинского наследия должна была стать его книга об эволюции творческого мировоззрения великого поэта. Васильев в процессе работы сделал ряд открытий, его доклады в Москве и Ленинграде были высоко оценены пушкинистами. Чтобы представить полнее облик Б. А. Васильева в последние годы жизни, обратимся к воспоминаниям Анны Федоровны Можанской (праправнучки К. А. Тона), хорошо знавшей его: «Борис Александрович имел замечательную внешность. Особенно красив он стал к старости, когда побелела его борода и волосы — и еще ярче стали черные глаза и брови. Удивлял здоровый цвет лица. Весь его облик дышал благородством и одухотворенностью — его стройная высокая фигура тотчас привлекала

[20] Этот небольшой этюд о. Александр написал летом 1990 г. по моей просьбе специально для подготовленного издания книги Б.А. Васильева. Архив автора.

внимание. Голос у него был негромкий, а выговор мягкий, московский. Он несомненно обладал даром слова и был прирожденный миссионер. Он умел и любил говорить с каждым, для него не было неинтересных собеседников. Обладал даром поднять и развить интересующую его тему (в последние годы это был Пушкин). Б. А. не только проповедовал, но умел вовлечь в разговор собеседника...» [21]. Болезнь и смерть прервали работу над вторым вариантом труда, в котором изложение завершается 1830 годом. Исследование Васильева, хотя и оставалось незавершённым, представляет огромный интерес. Оно уникально, поскольку до сих пор не появлялось серьезных работ о мировоззрении А. С. Пушкина.

Умер Борис Александрович 17 ноября 1976 года. Он похоронен на Введенском кладбище в Москве. Перед смертью просил друзей завершить начатый труд. За последующие годы была проделана значительная работа по редактированию, реконструкции разрозненных авторских материалов второй части, а также частичной доработке текста с максимальным сохранением авторской мысли и выверке обширного справочного аппарата. Много сил к завершению труда приложили протоиерей Александр Мень и прихожане Сретенского храма, что в Новой Деревне. Всем, принявшим деятельное участие в этой непростой работе, приносится глубокая благодарность.

Сергей Бычков
кандидат филологических наук

[21] Архив автора.

СОДЕРЖАНИЕ

II ЧАСТЬ

Редактор И.М.Геника

Художник Ф.Емельянов

Оригинал-макет изготовлен в издательстве «Мартис»:
117334, Москва, Андреевская наб., 2.
ЛР № 062366 от 4.03.93

Подписано в печать 14.06.95. Формат 84x108/32. Тираж 10 000 экз.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Заказ № 1211.

Отпечатано в типографии издательства Красная Звезда
г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38.

Книги, выпущенные издательством «Sam & Sam»

1. Детский молитвослов. М., 1979 (с цветными иллюстрациями детей). — 1 000 экз.

2. *Бердяев Н.А.* Афоризмы. Лондон, 1985. — 500 экз.

3. *Куломзина С.С.* Наша Церковь и наши дети. М., 1993 (совместно с издательством «Мартис»). — 20 000 экз.

4. *Куломзина С.С.* Наша Церковь и наши дети. 2-е изд., испр. и доп. М., 1994 (совместно с издательством «Мартис»). — 30 000 экз.

5. «Пою Богу моему» (три музыкальных постановки). М., 1993. — 1 000 экз. Для школ, ПТУ и музыкальных училищ.

5. *Протоиерей Всеволод Рошко.* Преподобный Серафим: Саров и Дивеево. М., 1994. — 3 000 экз.

6. Оставаться детьми перед Богом. М., 1995. — 1 000 экз.

Готовятся к печати:

Воспоминания женщин-христианок. — (Серия «Катакомбы XX века»).

В сборник вошли книги В.Я.Василевской «В катакомбах XX века», Н.В.Тропани «Воспоминания о владыке Афанасии Сахарове», В.А.Корнеевой «Воспоминания о маросейском храме святителя Николая». Эти воспоминания женщин-христианок повествуют о духовном горении русской интеллигенции в годы ленинского и сталинского террора, когда среди арестов и доносов продолжалась духовная жизнь, но тайно — в катакомбах XX века.